

№ 1(25). 2018

Берега



Калининград

Берега

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

НАШИ НАГРАДЫ



**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
"ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ"**



Серебряное перо – 2015 г., Золотое перо -2016 г.
Национальной литературной премии «Золотое перо Руси»

Февраль 2018 № 1 (25)
Калининград

Главный редактор: Лидия Владимировна Довыденко
Телефон: +7 9118630467
E-mail: dovidenko_L@mail.ru, <http://www.dovydenko.ru>

Редакционный совет:

Григорий Блехман — член Союза писателей России
Елена Груцкая — поэт
Игорь Ерофеев — член Союза писателей России
Евгений Журавли — поэт, прозаик, публицист
Николай Иванов — член Союза писателей России, сопредседатель Правления
Союза писателей России
Александр Казинцев — член Союза писателей России, заместитель
главного редактора журнала «Наш современник»
Сергей Кириллов — писатель, поэт, публицист
Валентин Курбатов — член Союза писателей России, член Совета
по культуре при Президенте РФ
Александр Новосельцев — член Союза писателей России
Сергей Пылёв — член Союза писателей России
Андрей Растворцев — член Союза писателей России
Геннадий Сазонов — член Союза писателей России
Валерий Старжинский — доктор философских наук, профессор кафедры
философских учений БНТУ
Дмитрий Филиппов — прозаик, публицист

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 39-00302 от 24 сентября 2014
Дата выхода номера в свет: 19 февраля 2018 года
Тираж: 1000 экз.
Адрес редакции, издателя: 236010, Калининград, ул. Белинского, 44-58
Учредитель: Довыденко Лидия Владимировна, адрес:
236010, Калининград, ул. Белинского, д. 44, кв. 58
Цена свободная
Издание предназначено для лиц от 12 +
Дизайн обложки — Анна Степанова
Фото на обложке Валентины Архиповской
Вёрстка — Елена Балантаева
Отпечатано в типографии ООО «График Артс»
г. Калининград, проспект Мира, 5, тел. 92-14-90, e-mail: 921490@mail.ru
При перепечатке материалов, в том числе использовании их в электронных СМИ,
ссылка на журнал «Берега» обязательна.
Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов,
может не разделять точку зрения опубликованных авторов.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Правила подачи материалов в журнал «Берега»

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. Присылаемые рукописи должны быть сохранены документом Word (шрифт — Roman, кегль 14, межстрочный интервал — 1). Текст не форматировать, не подчеркивать, разрешается части текста выделять курсивом. Файл называть своей фамилией, в начале текста — краткие сведения об авторе — *курсивом*. Решение о публикации принимается редакционным советом журнала.

СОДЕРЖАНИЕ

Приглашение к дискуссии

Станислав Куняев. Дневник третьего тысячелетия	4
--	---

Проза

Александр Проханов. Гость. Роман	28
Сергей Пылев. Никишин сад. Повесть	60
Алексей Новгородов. Серый. Повесть	85

Поэзия

Геннадий Иванов. Стихи	112
Владимир Фёдоров. Стихи	115
Владимир Скиф. Стихи	120

Берега наследия

Юрий Кузнецов. Женственное начало в поэзии. Комментарии Марины Гах	123
--	-----

Берега культуры и искусства

Борис Попов. Лебедь	126
---------------------------	-----

Берега памяти

Леонид Вересов. Архивные смальты поэтической мозаики Николая Рубцова. Статья вторая	129
Александр Ломтев. Шарф Шульгина. Очерк	136

Череповецкие берега

Николай Кузнецов. Стихи	142
Игорь Ваганов. «Парашютист». Рассказ	145

Берега Новороссии

Андрей Чернов. Бескорыстное счастье Иосифа Курлата. Очерк	152
Ната Игнатова. Качели. Рассказы	156

Русский мир без границ

Минские берега

Валерий Бестолков. Стихи	161
Маргарита Богданович. Стихи	165

Рижские берега

Анатолий Маханёк. Стихи	168
-------------------------------	-----

Критика

Лидия Довыденко. «Спас-на-любви». О знаменосной прозе Николая Иванова	171
Геннадий Сазонов. Притяжение «Небесных тетрадей». О поэтическом мире Владимира Фёдорова	175

Бережок

Альбина Королёва. Сестрички. Сказка	178
---	-----

Лауреаты

Лауреаты журналы «БЕРЕГА» за 2017 год	179
---	-----

Наши друзья

Советуем почитать. Подписка и приобретение журнала	180
--	-----

Приглашение к дискуссии

Станислав Куняев



Родился 27 ноября 1932 года в Калуге. Главный редактор журнала «Наш современник», Сопредседатель Международного Шолоховского комитета Автор около 20 книг стихов, прозы, публицистики, наиболее известные: «Вечная спутница», «Свиток», «Рукопись». «Глубокий день», «Избранное», «Жрецы и жертвы холокоста», «У бездны мрачной на краю», «Любовь, исполненная зла». Автор множества переводов из украинской, грузинской, абхазской и других народов поэзии. Его произведения переведены на болгарский, чешский и словацкий языки. За последние годы опубликовал трехтомник воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия», ставший несомненным литературным событием начала третьего тысячелетия

Дневник третьего тысячелетия

* * *

Помню, как в один из послевоенных дней, когда мне исполнилось уже лет тринадцать-четырнадцать, я вдруг услышал впервые песню на слова Михаила Исаковского «Летят перелётные птицы»... Она поразила меня, я запомнил её сразу, уходя в школу – а дорога тянулась чуть ли не через всю Калугу – пел её про себя, повторял, бормотал. Отчётливо помню, как в один из осенних вечеров, глядя в холодное небо над Окой, в котором кружились перед отлётом на юг грачиные стаи, я вдруг выдохнул в осеннее пространство: *«Желанья свои и надежды // Связал я навеки с тобой, // С твоею суровой и ясной, // С твоею завидной судьбой»*. Да с таким чувством выдохнул, что горло перехватило и слёзы на глаза навернулись.

Наверное, моё неприятие «ихней» эмиграции по сравнению с бунинской заключалось в том, что ничего великого за душой у них не было: ни «Тёмных аллея», ни «Деревни», ни «Жизни Арсеньева», а только шумные акции в защиту прав человека да забытые ныне романы-однодневки, выходившие из-под перьев гладилиных, аксёновых, синявских. И всё-таки я старался понять этих людей тоже, но всё закончилось стихотворением разрыва:

И вас без нас и нас без вас убудет,
но, отвергая всех сомнений рать,
я так скажу: что быть должно – да будет.
Вам есть где жить,
а нам – где умирать.

Как писала Ахматова в стихотворении «Родная земля»: «Но ложимся в неё и становимся ею, оттого и зовём так свободно – своею».

* * *

В «застойные» времена я, в отличие от диссидентствующих шестидесятников, рвавшихся на Запад, частенько «иммигрировал» в свою страну, в СССР. Подружился с геологами и несколько сезонов прожил среди хребтов Тянь-Шаня и долин Гиссара, среди вечных льдов и альпийских лугов, среди громокипящих голубых рек, рычащих бурных селевых потоков, среди бедных, но полных достоинства и трогательных в своём гостеприимстве жителей высокогорных кишлаков, среди орущей, мускулистой, загорелой, не жалеющей себя ни в работе, ни в гульбе геологической, студенческой, шофёрской вольницы...

А иногда я месяцами пропадал в эвенкийской тайге, добираясь до крайних северов на «аннушках», на «вертушках», разглядывая в иллюминаторы дикие просторы – сопки, усеянные редколесной тайгой, распадки, чёрные реки, медленными змеями впадающие в Угрюм-реку – Нижнюю Тунгуску, на берегу которой стояло зимовье рядом с двумя берёзами и овальным калтусом, затянутым в октябре сверкающим льдом.

Меня встречал дед – Роман Иванович Фарков, два кобеля – Рыжий и Музгар. Мы обнимались, от деда терпко пахло ондатровыми шкурами, рыбой, солью... Он тащил меня в зимовьюшку, где на столе уже дымились уха, поплёскивали в миске мороженые сижки да хариусы. И начинались наши бесконечные разговоры о жизни, об охоте, о детях и внуках.

Каждый день с утра мы бороздили тайгу по аргишам и путикам, задыхаясь, мчались на лыжах к далёким листовницам, куда наши кобели с лаем загоняли царственных соболей. А в иные дни красными, словно варёные раки, руками трясли на озёрах сетки, вытряхивали на лёд серебряных карасей и снова опускали снасти в лунки, заполненные тёмной, тяжёлой водой.

А вечерами – долгими зимними вечерами при патриархальном свете керосиновой лампы – в зимовье текли нескончаемые наши разговоры о крестьянской жизни в 20–30-е годы, о раскулачивании, о репрессиях, о войне, о плене, в котором побывал дед... Обо всей громадной нашей жизни мы толковали в стареньком зимовье с раскалённой печуркой, сваренной из железной бочки, под звонкие разрывы древесных стволов – от пятидесятиградусного мороза лопались на берегу калтуса берёзы.

...А в другие времена я уезжал на чёрную ледниковую реку Мегру, шумно впадающую в Белое море, подымался с местными ребятами на карбасе к её истокам, ловил сёмгу, жил в палатках либо под исполинскими шатровыми, не промокающими во время дождей елями, слушал и запоминал бесконечные рассказы о том, как их предки добирались сюда по Мезени и Пинеге, как ставили в устьях рек поморские деревушки, рубили из листовья церкви, как через их деревни бежали беглые мужики, которыми были тогда наводнены архангельские пристани, – их отправляли на Соловки. Но кто смел да удал – уходил из-под вохровских взглядов навстречь солнцу, на Восток, добредал до деревень Майда, Мегра, Ручьи, где поморы советовали скитальцам: идите по рекам на юг, в старушечьи скиты. Но и там их находили энкавэдешники, а скиты рушили огнём, как во времена Аввакума опричники Алексея Михайловича.

Сидим на берегу Мегры, толкуем... А гуси, прорезая полосу северного сияния, летят с Канина Носа. Их рыдающий крик стелется над болотами и озёрами. А самих птиц не видно в тёмном сентябрьском пространстве, пока извилистый клин не попадёт в струю дрожащего зеленовато-лилового сполоха... Чёрные трёхметровые обетные кресты, поставленные на краю обрыва, под которым шумит река, словно врезаны в тусклое северное небо...

* * *

В начале третьего тысячелетия я участвовал в избирательной кампании Сергея Глазьева. Борьба шла за должность губернатора Красноярского края. Приехали мы в штатный городок Лесосибирск. Выступили несколько раз, а вечером хозяева повезли нас поужинать в лучшую, как они сказали, закусочную города. Накормили по-русски – местной рыбой, борщом, пельменями. Но когда мы выходили из этой закусочной, я оглянулся, прочитал горящее неоновыми буквами её название: «Оклахома» – и обалдел. Вот тогда я понял, что Глазьев, который, выступая, часто говорил о современном геноциде русского народа, выборы не выиграет.

С той поры «Оклахома» стала для меня символом нашего самооплевания, нашего лакейства и холуйства. Приедешь в любой древний русский город – Калугу, Рязань, Воронеж, – идёшь по центральной улице, магазины, рестораны, фирмы и читаешь: «Клондайк», «Эльдорадо», «Аляска», «Миссисипи»... Словом, сплошная *Оклахома*. И «Москва-Сити» – тоже Оклахома, и «кофе-хаус» вместо тёплого слова «кофейня» – тоже Оклахома... А недавно, проезжая Рязань, я увидел совершенно запредельную алую неоновую надпись: «Секс-хаус». На фоне такой «оклахомы» точный перевод «секс-хауса» как «публичного дома» воспринимается даже как нечто своё, родное, отечественное.

* * *

В настоящее время практика писать диктанты у нас сохранилась. Правда, это один диктант на всю страну и называется он «тотальным». Видимо, потому, что произведения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Бунина и других классиков «тотально» изгнаны из употребления.

В сентябре месяце 2016 года жители Ульяновска переизбрали на второй срок губернатора Морозова, того самого, который запретил 3 или 4 года тому назад в своей области использовать для диктанта текст из произведения русскоязычной писательницы Дины Рубиной, живущей в Израиле. Как возмутились тогда журналисты из «Новой газеты», из «Эха Москвы»: «Вы за это заплатите!» – взывал один из них (кажется, Ганопольский), обращаясь к Морозову.

А всё дело заключалось в том, что Дина Рубина в своих творениях часто балуется «матерком»; «Я отношусь к мату, как литератор», – пишет она и подкрепляет свою мысль такими «детскими» стихами:

– Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты.
Ты подарки нам принёс, ... проклятый?
– Я подарки не принёс, денег не хватило.
Что же ты сюда приполз, ватное ...?

Это самые «щадящие» наш слух примеры из «эпохального» романа Дины Рубиной «Вот идёт мессия!»

Рубина получила три премии «Большая книга», во многих интервью признавала себя еврейским писателем, но зачем нам, обладателям прозы Распутина, Астафьева, Белова, Личутина, Лихоносова, выбирать тексты для тотального диктанта из романов вульгарной еврейской матершинницы?

Об убийце Пушкина Лермонтов писал: «Смеясь, он дерзко презирал // Земли чужой язык и нравы...». «Нравы» – это обычаи, это вера, это традиции, это совесть. И всё это выражается в языке. Вот почему русский язык – одна из самых необходимых скреп русского мира.

Я помню наши диктанты и наши изложения (была такая форма учёбы – учитель читал текст, а ученики, каждый по-своему, излагали его на бумаге). Тексты диктантов и страницы изложений обязательно брались из нашей великой классики – из «Капитанской дочки», из «Тараса Бульбы», из «Записок охотника», из «Обломова». Это одновременно было изучением и русского языка, и русской литературы, и русской истории, и русского Православия, и вообще русской жизни.

Послевоенное радио добавляло к этим знаниям русские народные песни («Степь да степь кругом», «Раскинулось море широко», «Коробейники», «Есть на Волге утёс»), добавляло русскую музыкальную классику – арии из опер («Князь Игорь», «Евгений Онегин», «Садко»). А сколько мировой классики вливалось в наши души из чёрных репродукторов! Верди, Бизе, Бетховен, Гуно, Штраус... Какой там «железный занавес»!

Всё великое, талантливое, доброе, человеческое входило в наш русский мир. Ворота были открыты. Неаполитанские песни, украинские песни, французские песни, южноамериканские песни – всё было нашим общим достоянием. Да, русская элита XIX века увлекалась французским языком, но Пушкин одновременно учился русскому языку у народа, у Арины Родионовны, у дворовых крестьян, иначе он не написал бы: «Что за прелесть наши песни и сказки!» Элита была, конечно, «офранцузена». Пушкин это понимал, когда писал о своей любимой героине Татьяне: *«Она по-русски плохо знала, // Журналов наших не читала, // И выражалась с трудом // На языке своём родном».*

Но! *«Татьяна, русская душою, // Сама не зная, почему, // С её холодною красотою // Любила русскую зиму».* Душа важнее языка. Татьяна, в сущности, родная сестра Наташи Ростовской, русскость которой Толстой гениально выразил в её пляске под дядюшкину гитару. Пушкин шутил, любя: *«Как уст румяных без улыбки, // Без грамматической ошибки // Я русской речи не люблю».* Но это другое дело!

Литературный язык в пушкинское время ещё не устоялся. К тому же гениям позволено гораздо больше, нежели русскоязычным наглым ремесленникам: *«Не ругайтесь! Такое дело! Не торговец я на слова», «Словно кто-то к родине отвык».* Так писал Есенин – хозяин русского языка. А кто такая Рубина? Мелкая полуграмотная пакостница...

* * *

Когда наши «витии» из «пятой колонны» негодуют, что советская власть во время войны отправила в ссылку множество народов – крымских татар, калмыков, чеченцев, ингушей, турок-месхетинцев, – я вспоминаю о том, что Борис Раушенбах, великий учёный в сфере космонавтики, вспомнил в одном из интервью, как американцы, на землю которых не ступила ни одна нога иноземного захватчика, устроили на своей территории концлагерь для искони живущих в Америке японцев; что Черчилль

организовал лагерные поселения для евреев, сбежавших в Англию от Гитлера с европейского континента, не без оснований думая, что среди них могут быть лазутчики, работающие на фашистскую Германию; что американцы в 1938 году не разрешили немецким евреям, приплывшим в Америку на пароходе «Сент-Луис», сойти на берег США, и несчастным пришлось возвратиться в Европу, где их ждали Освенцим и Дахау. Когда же корреспондентка спросила Бориса Раушенбаха:

– *Меня всегда удивляло, что Вы были противником распада Советского Союза. Вы же так много претерпели от этой системы, провели много лет в лагерях. Но потом нашли силы в себе, чтобы простить,* – Раушенбах ответил:

– А чего прощать-то? Я никогда не чувствовал себя обиженным, считая, что посадили меня совершенно правильно. Это был всё-таки не 37-й год, причины которого совершенно иные. Шла война с Германией. Я был немцем. Потом в лагерях оказались крымские татары, чеченцы... Правда, те же татары во время оккупации Крыма всё-таки работали на фашистов. Это некрасиво. Среди же немцев если и были предатели, то полпроцента или даже меньше. Но попробуй их выявить в условиях войны, проще всех отправить в лагерь: колючая проволока, нас плохо кормили, люди умирали десятками в день... Тогда в Москве спохватились: дескать, если так дело пойдёт, то кто же будет строить дамбу? Стали кормить лучше. Что говорить, было очень плохо, но в условиях войны власть приняла совершенно правильное решение».

* * *

В декабрьском номере журнала «Знамя» № 3 за 2010 год вышли «Записки из-под полы» бывшего министра культуры России Е.Сидорова (он же побывал и депутатом Госдумы, и послом России при ЮНЕСКО, и ректором Литинститута). Словом, матёрый бюрократ от культуры. О кровавом государственном перевороте 4 октября 1993 года он пишет, как о каком-то пустяке: *«Всё нормально, немного постреляли, немножко поубивали»*. О своей жене – дочери главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Вере Индурской – пишет с восхищением: *«Моя жена рвалась на баррикады к Гайдари. Мы находились в пансионате под Майкопом. Стоял душный вечер 3 октября 1993 года. Долететь до Егора у Моссовета можно было только на крыльях...»*

«Я знал его отца, Тимура Аркадьевича», спецкора «Правды» в Белграде, дух ревизионизма исподволь накапливался в этой семье».

Восхваляя демократов ельцинской эпохи – В.Шумейко, Е.Гайдара, В.Евтушенкова, Ю.Карякина, А.Битова и многих других персонажей «Великой криминальной революции» (по словам Говорухина), – Сидоров в качестве главного «контрреволюционера» выставляет меня, вспомнив о моём участии в дискуссии «Классика и мы» и письме в ЦК КПСС по поводу «Метрополия»: *«Время как бы поворачивалось вспять, в эпоху борьбы с космополитизмом», «Я не верю в истовость Куняева; в его русофильские экстазы», «Я принадлежу к тихо любящим Россию», «Еврейский вопрос погубил русского поэта Станислава Куняева»* и т.д.

Придётся послать Евгению Сидорову мою книгу «Жрецы и жертвы Холокоста» которая за 5 лет выдержала уже 3 издания. Авось прочтает, разберётся в русско-еврейском вопросе и кое-что поймёт.

Я узнал о сидоровских «Записках из-под полы», получив письмо от читателя Валерия Скрипко из далёкого Минусинска. Своё письмо, отправленное в «Наш современник», Скрипко назвал «Синдром Фарисея». Вот отрывок этого письма: *«Автор «мемуаров» не так давно был министром культуры России, уж ему ли не знать, что сейчас времена гораздо хуже времён нашествия Мамая! Пострашнее польской интервенции. Стоит только почитать обзоры «периодики» в журнале «Новый мир», чтобы убедиться: авторы, близкие «мемуаристу» по своим взглядам, прямо говорят о кризисе в российском обществе. Вот отрывок из интервью с Павлом Крусановым: «Лев Гумилёв в восьмидесятые утешительно обещал России, исполнившей, по его представлению, провиденциальную задачу, двести лет Золотой осени. Однако реальность предлагает нам нечто куда менее поэтичное – пепелище, зноище, деградацию притязаний во всех областях жизни, разобщение, апатию, девальвацию, простите за пафос, нравственных и культурных ценностей, торжество корысти и тугое, неодолимое неприятие идеи бескорыстного служения»*.

Скажите, уважаемый бывший министр, как из всего этого выйти, если молчком носить «у сердца» любовь к России? Да ладно бы Вы ограничивались только тайной любовью. Так хуже другое:

стоит кому-то взволнованно и открыто заявить о русской теме, как у «тихо любящих Россию» вдруг появляется и «истовость», и «космополитический экстаз». И у Вас, у Вас, по определению государственного человека, он проявился... тоже!»

Проявился этот «космополитический экстаз» и у Сергея Чуприна, в чьём журнале «Знамя» были опубликованы мемуары Е.Сидорова.

В июне 2011 года Чупринин приехал в город Пермь на книжную выставку. Читатели окружили его и стали расспрашивать про «Журнальный зал» – электронную версию русской журналистики.

Поэт Юрий Беликов спросил Чуприна, почему в «Журнальном зале» есть «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» и нету «Нашего современника».

– Мы могли бы принять в «Журнальный зал» «Наш современник», если его главный редактор Станислав Куняев даст честное слово не употреблять на страницах своего издания слово «жид».

После этого я был вынужден послать Сергею Чуприну (когда-то написавшему весьма вдохновенное предисловие к книге моих «Избранных стихотворений») следующее послание:

Сергей Иванович!

Вы несправедливо обвинили меня в том, что я на страницах «НС» употребляю слово «жид», о чём Вы сообщили пермской газете. На самом деле, если это слово и присутствует в публикациях журнала, то лишь в цитатах из Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Блока, Есенина и прочих великих людей мира сего. Я же, грешный, ни в коей мере не осмеливаюсь подражать им, о чём свидетельствует и моя новая книга, которую я Вам дарю с искренним простодушием и надеждой на понимание.

*Ваш Ст. Куняев.
1.11.2011*

* * *

В молодые годы, когда я, словно очарованный странник, бродяжничал по необозримым просторам великой страны, меня занесло на несколько полевых сезонов в горы Тянь-Шаня в составе геологоразведочной партии, которой руководил мой друг Эрнст Портнягин. Мы уходили с ним в маршруты, иногда пешие, иногда на лошадях, пробирались по канатным тропам и прижимаем вдоль извилистых, кипящих водопадами вспененных рек, выламывали геологическими молотками образцы нужной нам породы, а во время передышек кипятили в железных кружках крепкий чай. Жарили на ивовых ветках золотистых форелей, пойманных мною в голубых струях Варзоба или Кафирнигана, а к вечеру возвращались в палаточный лагерь, обременённые рюкзаками с горной породой, с её загадочной флорой и фауной.

Однажды после одного такого маршрута я при свете свечи в нашей тёмно-синей командирской палатке написал стихотворение, посвящённое Эрнсту, которое заканчивалось так:

Послушай! В мире высоты
немного проку исподлобья
глядеть, как будто ищешь ты
хороший камень для надгробья.

Нам надо жить и понимать,
что в мир вступают наши дети,
и нищим надо подавать,
покамест есть они на свете.

К сожалению, стихотворение действительно стало пророческим, потому что через два года после этого полевого сезона Эрнст трагически погиб во время одного из таких маршрутов. А меня в этот раз рядом с ним не было. Но стихотворение стало пророческим ещё и потому, что с той поры я не мог равнодушно проходить мимо нищих, просящих милостыню. Как бы я ни уверял себя, что в наше время нищие – это особая каста, что у них есть свои надсмотрщики и своя иерархия, что женщины, сидящие на тротуаре, могут держать на руках не своего, а чужого ребёнка, чтобы разжалобить прохожих, что безногие и безрукие инвалиды на досках с колёсиками работают не просто на себя, но

обогащают «авторитетов» нищенской мафии... Ничего не помогало. Я вспоминал свою строчку, как некий религиозный обет, как некую клятву, данную мной покойному другу: «и нищим надо подавать», – и моя рука невольно тянулась к карману в поисках подаяния.

А если мелочи не было под рукой, только бумажки – ну, не самые крупные, – я подавал их в ладонь просящего, опуская в кружку или в шапку, лежащую на асфальте, рядом с которой сидел безногий афганец.

Вот так... Не стихи служат нам, а мы служим стихам, и прав, конечно, мой покойный друг Николай Рубцов, написавший о сверхъестественной силе поэзии: *«И не она от нас зависит, // А мы зависим от неё»*. Да, *«нищим надо подавать, // покамест есть они на свете»*. А они на свете будут вечно... Слово не воробей, вылетит – не поймаешь... Написано пером – не вырубишь топором...

* * *

Есть у меня три заветные книги, которые я взял бы с собой хоть в полёт на Марс, хоть на необитаемый остров: «Капитанская дочка», «Тарас Бульба» и «Записки охотника». А в «Записках охотника» самый волнующий рассказ – «Певцы». О том, как две русские музыкальные стихи: одна – лихая, плясовая, забубённая, а другая – печальная, горестная, трагическая – пытаются овладеть душами молодых, подпивших зелена вина крестьян. И совсем уже, было, праздновала победу плясовая, исполненная то ли коробейником, то ли рядчиком, но когда худой, болезненный, до сих пор молчавший его соперник вдруг выдохнул *«Не одна во поле дороженька пролегла»*, то защемили сердца у всех только что плясавших и аплодировавших, потупились взоры, навернулись слёзы на глаза, как будто вспомнили они самих себя и всю судьбу свою несуразную...

А вечером, когда Иван Тургенев уходил по траве-мураве из села, он услышал ребячий крик, долетевший с угора, где стояло село, до лесной болотистой низины: – Антропка! – а! – а! А снизу голос неведомого Антропки лениво ответил из тумана: – Чего надо!

– Иди домой! – радостно взметнулся голос с угора. – Зачем? – полетел к угору голос Антропки. И тут голос антропкиного собеседника зазвучал с особым торжеством:

– Тебя тятка высечь хочит!

Вот она, вся история человечества! Блудный сын Антропка, сбежавший от тяжёлой отцовской длани, и его брат, готовый помогать отцу в экзекуции над согрешившим сыном. Каин и Авель...

Словно два певца: один – ухарь-купец, другой – с надтреснутым глухим тенором. Один хочет воли, другой – справедливой отцовской выволочки над согрешившим братом...

* * *

31 марта 2014 года ведущая канала «Россия-24» Эвелина Закамская в беседе с Александром Прохановым обронила фразу, что Холокост приближали сами евреи. Журналистку с канала уволили, а злополучная цитата из эфира разошлась по всему интернету. Редакция «Россия-24» обратилась ко мне с вопросом, что же такое «религия Холокоста» и почему эта тема табуирована. Я так ответил на этот вопрос:

– *Понятие «религия Холокоста» сложилось в середине 60-х. Израилю был нужен культ явления, которое было названо «Холокостом». Континенты стали покрываться музеями Холокоста, на экраны вышли десятки кинокартин, посвящённых этой теме. Заработала громадная пропагандистская машина, смысл которой содержался в афоризме: «Увенчается ли наше стремление к новому миропорядку успехом, зависит от того, выучим ли мы уроки Холокоста».*

Возможность нового мирового порядка ставили в зависимость от того, будет ли воспринят культ Холокоста. И это произошло: в Америке нет ни одного штата, в котором не существовало бы музея Холокоста. Постепенно Холокост обрёл религиозные черты. Подкладкой стала идея, что христианство в кризисе, Голгофская жертва Христа бессмысленна. Её место в современном мире заняла шестимиллионная жертва еврейского народа. Поэтому музеи Холокоста – это храмы новой религии.

Для того чтобы создать государство Израиль, нужно было большое число иммигрантов, однако евреи-сефарды после Первой мировой войны не желали покидать насиженные места. Идея возврата на прародину терпела полный крах. И тогда будущий президент Израиля Бен-Гурион предложил создавать отряды, которые будут терроризировать евреев и вынуждать их ехать в Палестину, а

один из деятелей сионизма Хаим Вейцман произнёс страшные слова: «Я задаю вопрос: «Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину?» Я отвечаю: «Нет». Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... Они – пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить».

Старые – это ветви еврейского народа, которые недостойны жить в Израиле и не нужны Израилю, настолько они испорчены европейской жизнью. К тому времени Гитлер пришёл к власти, и взгляды сионистов обратились к нему. Сопратник Вейцмана Хаим Арлазоров подготовил договор с Гитлером, так называемое «Соглашение Хаавара». Целью соглашения было оказание содействия в эмиграции евреев Германии в Палестину. Договор был подписан в августе 1933 года, но Арлазорова к тому времени уже убили, потому что его планы пришлись не по душе всем лидерам еврейства. Например, Владимир Жаботинский всячески клеймил такие планы о переселении на Восток. Однако памятники Арлазорову стоят чуть ли не на всех площадях крупных городов Израиля. В хааварском соглашении сплелись воедино замыслы нацистов, идеология Вейцмана и Бен-Гуриона. Потом выяснится, что полмиллиона венгерских евреев фактически при помощи своих вождей были отправлены в лагерь смерти, только «элитная» часть была спасена и отправлена в Швейцарию. Вот такой ценой целенаправленно создавалось государство Израиль. Об этом писали многие честные еврейские авторы: автор книги «Индустрия холокоста» Норман Финкельштейн; Ханна Арендт, заметившая, что все места, откуда отправлялись евреи на уничтожение, координировались представителями «еврейской улицы».

Считается, что тема Холокоста сегодня неприкосновенна, как некая «священная корова». Нельзя сомневаться в истории Холокоста о количестве жертв. Многие историки за это получали уголовные сроки, подвергались преследованию, изгонялись из профессиональной среды.

Нельзя не вспомнить Аллу Гербер, которая в конце перестройки раздувала слухи о том, что в СССР на евреев готовятся гонения. Говорят, потом она приехала в Израиль и заявила, что достойна самой высшей награды, так как благодаря её деятельности на Ближний Восток переехало около одного миллиона евреев. В девяностые появилась масса статей, в которых, наоборот, писали, что нигде евреям не живётся так хорошо, как в России. Все слухи о погромах и гонениях утихли, как будто их никогда и не было.

* * *

Любопытно проанализировать, как в мировом сообществе изменяется отношение к неграм. Проблема «нетолерантная», но не всегда она была такой.

Пушкин писал о своём происхождении: «потомок негров безобразный».

В 90-е годы Маяковский увидел в неграх некий человеческий революционный потенциал:

Да будь я негром преклонных годов,
и то б без унынья и лени
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин.

Чуть позже на советский экран вышел кинофильм «Цирк», где одну из главных идеологических ролей играл негритянский ребёнок, над судьбой которого рыдали сентиментальные советские кинозрители. В годы перестройки этот ребёнок, ставший довольно известным советским поэтом Джимом Патерсоном, вернулся на родину предков. А Маяковский после посещения США не унимался:

Белый ест ананас спелый,
Чёрный – гнилью мочённый;
белую работу делает белый,
чёрную работу – чёрный...

В 60-м году ку-клукс-клан переживал предсмертные конвульсии. На арену борьбы чёрных за «права человека» вышли Мартин Лютер Кинг, Анджела Девис, Поль Робсон. И наконец-то дело освобождения рабов завершилось восхождением в Капитолий Обамы. Но это было последним успехом чёрной массы. Обама разочаровал всех.

А на фоне этого разочарования темнокожие студенты в подземных переходах Москвы стали, подрабатывая, раздавать прохожим различные рекламки, и мой сталинградский студент Василий Струж написал стихи:

Россия наша обмелела.
Нас негры переходят вброд...

А в Иркутске негр поёт в ресторане свои блюзы. И ничего в том удивительного нет, коли Путин дал какому-то негритянскому боксёру российское гражданство.

И всё-таки не будем забывать, что Есенин, приехав в Нью-Йорк и обалдев от одиночества, нашёл на задворках своей гостиницы какого-то негритянского бомжа, привёл его в свой номер, и два одиноких человека, каждый из которых был по-своему гоним на родине, устроили в гостинице небывалую для американских нравов пьянку.

Но изменились нравы не только в России. Кто бы мог подумать, что во время «революции Трампа» статуи отцов-создателей Соединённых Штатов и рабовладельцев по совместительству будут снесены в американских городах, подобно тому, как у нас «демократическая чернь» в 90-х годах сносила статуи Сталина и Дзержинского.

* * *

Разгром церковной жизни в 20-е годы, осуществлённый Лениным и его сообщниками, был подготовлен интеллигенцией. Это и есть «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Это тот же самый есенинский безумный крик: *«Тело, Христово тело // Выплёвываю изо рта»*; – это и рёв Маяковского, обращённый ко Всевышнему: *«Я Тебя, пропахшего ладаном, // раскрою отсюда до Аляски»*; это сокровенное сатанинское ахматовское *«поэтам вообще не пристали грехи»*; это цветаевское проклятие душе: *«христианская немочь бледная! // Пар! Припарками обложить! // Да её никогда и не было! // Было тело, хотело жить...»* Но, отдав должное бунту, Цветаева склоняется не перед часовой, а перед символом «русскости» – рябиной:

«Мне всё – равно, мне всё – едино. // Но, если по дороге – куст // Встаёт – особенно рябина...»
И в этих строках её покаяние перед *«христианскою немощью бледною»*.

Есенин тоже принёс покаяние за свой бунт: *«Чтоб за все за грехи мои тяжкие, // За неверие в благодать // Положили меня в русской рубашке // Под иконами умирать»*... Выдох жизни спасает веру. У Бродского подобных выдохов нет. Рождественские стихи Бродского – это всего лишь навсего умелые, но декоративные картинки, обрамляющие его религиозный скепсис. Стихи о «кровопийце» и «ворюге» – это всего лишь навсего отрицание высокого стиля, «величия замысла», потому что большинство великих людей истории были, по Бродскому, «кровопийцами».

Да и сам он, в отличие от Мандельштама, не очень хотел быть русским. Не потому ли в Америке он даже пытался писать стихи на английском языке?

* * *

Сегодня в России есть «Столыпинское общество», и памятник ему поставлен, есть культ Столыпина, есть историки, убеждённые в том, что если бы Столыпин не был убит еврейским киллером, то он завершил бы свои реформы и никаких революций в 1917 году не было бы... А у меня перед глазами картина художника дореволюционной эпохи – забытого передвижника Сергея Иванова: хмурое небо, степная дорога, на дороге стоит телега, возле неё на земле лежит умерший мужик, на его груди икона, а вокруг него безутешная жена и малые дети. Название картины – «Смерть переселенца»...

Крестьяне центральной России не хотели переселяться в Сибирь, куда Макар телят не гонял. Они чувствовали, что, приехав в Сибирь за даровой землёй, в одиночку, став хуторянином или фермером, в одиночестве, в бездорожье не выживешь. Им нужна была земля в центральной России, но без выкупа. Крестьяне моей родной Калужской губернии рассуждали так: *«Спокон веков у нас заведён обычай, что на новое место идёт старший брат, а младший остаётся на корню. Так пускай в Сибирь или на Алтай поедут наши старшие братья, господа помещики, дворяне и богатейшие земледельцы, а мы, младшие, хотим остаться на корню, здесь, в России»*.

Костромские крестьяне обращались к дворянам-землевладельцам с таким предложением: *«Если вы очень уж хвалите Сибирь, то переселяйтесь туда сами. Вас меньше, а землю оставьте нам»*.

Им вторили орловские мужики: *«Переселяться на казённые свободные земли в среднеазиатские степи мы не желаем. Пусть переселяются туда помещики и заводят там образцовые хозяйства»* (тексты писем взяты из книги А. Бушкова «Красный монарх»).

Но лучше и глубже всех об этом историческом споре писал митрополит Вениамин Федченков, во время гражданской войны – главный духовник армии Врангеля, сам происходивший из крестьянской семьи:

«Столыпину приписывалась будто бы гениальная спасительная идея так называемого хуторского хозяйства – это, по его мнению, должно было укрепить собственнические чувства у крестьян-хуторян и пресечь таким образом революционное брожение... Тогда я жил в селе и отчётливо видел, что народ против. Хутора в народе проваливались».

В нашей округе едва нашлось три-четыре семьи, выселившиеся на хутора. Дело замерло, оно было искусственное и ненормальное».

Вспомним о том, как крестьяне села Константиново летом 1917 года готовятся к разговору с помещицей Анной Снегиной:

Эй, вы!
Тараканье отродье!
Все к Снегиной!..
Р-раз и квас!
Даёшь, мол, твои угодя
Без всякого выкупа с нас!

А когда вожак константиновских мужиков Оглоблин Прон вместе с Есениным ворвались в снегинский дом, то:

Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов.
И Прон мой ей брякнул прямо
Про землю, без всяких слов.
«Отдай!.. –
Повторял он глухо. –
Не ноги ж тебе целовать!»

Есенину, свидетелю революции, я верю больше, нежели функционерам из «Столыпинского общества», недавно поставившим в Кремле памятник незадачливому автору крестьянской реформы.

* * *

Демагоги, радующиеся распаду Советского Союза, часто сравнивают этот распад с распадом Британской империи: вот она, мол, распалась, освободилась от заморских колоний и зажила на славу. Ну, во-первых, Англия распалась после того, как несколько веков вытягивала из этих колоний все соки. А во-вторых, это сравнение было бы убедительным, если бы не просто Британская империя распалась на Индию, Австралию, Новую Зеландию и множество азиатских и африканских государств, а именно Британские острова «развалились» на Уэльс, Ирландию, Шотландию и просто Англию. Вот тогда бы мы и посмотрели, как она, эта Англия, – зажила бы самостоятельной жизнью или постепенно превратилась бы в островную Швейцарию?

* * *

Поляки, проливая слёзы о Катюши, забывают о том, что многие советские красноармейцы, выжившие в польском плену после 1921 года (а выжило их только тысяч двадцать из восьмидесяти), стали кадровыми военнослужащими Красной армии и частей НКВД и узнали в 1939 году среди польских военнопленных офицеров и жандармов тех «осадников», кто в 20-м году замучил и умирал в концлагерях несколько десятков тысяч их сотоварищей.

Не этого ли боялся великий польский поэт и лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош, когда писал:

Не трогайте катынские могилы,
а то зашевелится пепел Едвабне и Освенцима,
закачаются еврейские надгробья Парчева,
Люблина и Кельцев,
и под ветром разгорятся угли Варшавского гетто!

Для незнающих читателей напомним, что в местечке Едвабне в июле 1941 года поляки, пользуясь тем, что советские войска оставили городок, загнали в громадный сарай около двух тысяч местных евреев и сожгли их заживо, а в городах Парчев, Люблин и Кельцы еврейские погромы произошли в Польше уже после войны – в 1946–1947 годах.

«Признание – царица доказательств», – говорил генеральный прокурор СССР Вышинский во время политических процессов 30-х годов... В эпоху перестройки демократы не раз высмеивали эту фразу Вышинского. Но в то же время Яковлев, Горбачёв, Ельцин и Шеварднадзе без доказательств «признали», что польских военных в 1940 году расстреляло советское НКВД, и даже Путин, посещая Польшу, дважды извинился перед поляками. Нет бы сначала прочитать записи из дневника Йозефа Геббельса, занимавшегося весной 1943 года изготовлением чудовищной провокации мирового масштаба.

Из дневника Йозефа Геббельса:

«17 апреля 1943 года.

Драма в Катыни приобретает размеры гигантского политического события. И мы его используем по всем правилам искусства. Во всяком случае, эти десять или двенадцать тысяч убитых поляков, может быть, и заслужили это, поскольку были подстрекателями войны, тем не менее, теперь следует использовать их, чтобы ознакомить европейские народы с тем, что представляет большевизм».

«8 мая 1943 года. К сожалению, в делах Катыни найдены немецкие боеприпасы. В любом случае, необходимо держать эту находку в строгом секрете; если она станет известна нашим врагам, то катынское дело будет провалено».

«Наши люди должны быть в Катыни раньше, чтобы во время прибытия Красного Креста всё было подготовлено и чтобы при раскопках не натолкнулись бы на вещи, которые не соответствуют нашей линии».

«29 сентября 1943 года. К сожалению, мы должны были оставить также и Катынь. Нельзя сомневаться, что большевики вскоре «откроют», что это мы расстреляли двенадцать тысяч польских офицеров. Эта история, несомненно, позднее нам ещё доставит хлопот. Советы сделают так, чтобы раскопать определённое число могил и возложить впоследствии ответственность за это на нас».

Об этих дневниках Геббельса польские историки молчат до сих пор и будут молчать вечно.

* * *

Эхо Москвы. Передача «Цена победы». Размышляет шестидесятник, историк Андрей Зубов:

«Никакого единства партии и народа не было». «Сталин отказался эвакуировать население Сталинграда». <...> «При взятии Берлина можно было избежать 9/10 потерь. Советская власть лишила людей нормальной жизни и счастья». «На вопрос, какой из двух тоталитаризмов хуже – ленинский или сталинский, – один ответ: оба хуже».

Ну, каким орудием прихлопнуть эту научную моль – стихами Твардовского или Симонова? Нет, этих «государственников и сталинистов» существа из 5-й колонны не признают. Придётся обратиться к Высшему авторитету.

Вот как ответил бы «якобы историку» А.Зубову русский поэт и лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак:

«Победил весь народ сверху донизу, от маршала Сталина до рядовых тружеников и простых бойцов, победил весь народ всеми своими силами, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями».

* * *

Да, у Бродского имперское мировоззрение, у него, судя по стихам о Шевченко и Жукове, сильный саркастический ум, да, у него, говоря словами Мандельштама, тяга к «крупнозернистой жизни», к «великим замыслам». Он почти «государственник», но это всё ещё не есть доказательства того, что он «русский национальный поэт».

Да, он почти понял, что такое «русская жизнь», когда попал в архангельскую ссылку, но Заболоцкий, или Павел Васильев, или Виктор Боков, или Твардовский знали, что такое «русская жизнь», до всяких ссылок, потому что у них это знание было заложено в генах, а Бродскому для освоения подобного знания нужны были особенные, «искусственные» обстоятельства.

Бродскому, как и Мандельштаму, только в ссылке, только в неестественном и дополнительном общении с простонародьем удалось получить прививку русскости. Бродский в стихах о деревне лишь декларирует своё понимание русскости, но при этом не живёт ею. Иначе он продолжал бы жить ею в Америке.

У Бродского имперская, но не русская душа, и с этим ничего невозможно сделать. Сравните его стихотворение «Пилигримы» и рубцовское «Старая дорога», и всё станет ясно, как Божий день. Душа Агасфера у него обнаружилась не тогда, когда он уехал в Америку, а гораздо раньше, во время жизни в Питере в «полтора комнатах». «На Васильевский остров // Я приду умирать...» Но Васильевский остров – это не Россия, это часть протестантского пространства.

В молодые годы (1960 или 1961) во время единственной встречи с Бродским я подарил поэту свою книжку «Метель заходит в город», которая сейчас выставлена на стенде, посвящённом Бродскому, в питерском музее Анны Ахматовой, подарил с неслучайной, существенной надписью: «*Иосифу Бродскому с нежностью и отчаянием. Книгу, совершенно чуждую ему*». Видимо, я тогда угадал, что «русскость» моей книги будет чужда ему. Странно, что за годы эмиграции и скитаний по белу свету он сохранил мою книжицу и она вернулась в Россию, не затерялась в мировом пространстве и ныне находится в музее Ахматовой на Фонтанке, где есть уголок, посвящённый, по словам Ахматовой, «Рыжему». Ахматова знала цену своим словам, когда говорила, что всяческими судебными преследованиями власть делает Рыжему биографию. С тех пор прошло более полувека, но сегодня всё высветилось: биография «Рыжему» была сделана, но сделать его «национальным русским поэтом» ни за что бы не смогла никакая власть. Но «пятиколонники» не утихают.

На днях я прочитал в журнале «Сибирские огни» статью сибирского литератора Евгения Антипова «*Дума о Бродском или Письмо с фронта*». Цитирую:

«Всякий уважающий себя поэт испытал благотворное влияние (воздействие, яркое впечатление) от поэзии Бродского. Всё это испытал в своё время и я. Моё «своё время» было в начале 80-х, когда за одно только имя Бродского, нечаянно произнесённое вслух, можно было получить пулю в затылок и даже «без права переписки». Тем не менее, ещё свеженький сборник «Часть речи», как П. Корчагин, я носил под своим прекрасным сердцем, маскируя его, сборник, под материалы не то 17-го, не то 19-го исторического пленума партии. Благодаря далеко продвинутому другу держал я в руках и самиздатовский трёхтомник, из-за которого, между прочим, сотни тысяч были расстреляны, а миллионы заживо сожжены в лагерях. Одним пальцем, чтобы не оставлять лишних отпечатков, что-то и сам из Бродского перечитывал. Вот такие дела» («Сибирские огни», 2008 г. № 5). Ложь, как говорил Геббельс, чтобы ей поверили, «должна быть чудовищной».

Впрочем, зачем разбираться в этом, если никто в России не знает поэта Антипова?..

* * *

Русские былины VI–VIII веков замешаны на противоборстве двух сил – язычества и христианства.

Вспомним былинку об Илье Муромце, который, недовольный приёмом, устроенным ему князем Владимиром Красное Солнышко, в гневе покидает Киев и, обернувшись, сбивает калёными стрелами церковные маковки.

А былина о Ваське Буслаеве, который «не верил ни в сон, ни в чох, а только лишь в червлёный вяз»...

Да и гибель его – попытался прыгнуть через череп Адама, но поскользнулся и разбился на смерть – случилась от молодого кощунства.

Дерзость, молодость, бахвальство молодого русского этноса – чем восхищался Пушкин и о чём размышлял Чаадаев! Пушкинский Вещий Олег погибает той же смертью от избытка воли и своеволия, что и Васька Буслаев, только Васька наступил на череп Адама, а Вещий Олег – на «благородные кости» своего коня. И тот, и другой погибли согласно русской пословице, утверждающей, что «на миру и смерть красна».

А смерть «сверхбогатыря» Святогора? Он в ошущении своего могущества и в припадке гордыни лёг в гроб и приказал Илье Муромцу закрыть его крышкой, которая тут же приросла к гробу. А когда Илья стал рубить крышку мечом, при каждом ударе домовина «опоясывалась стальной полосой».

Так русский ещё языческий народ, ещё до принятия христианства понимал, что гордыня – это смертный грех и что Высшая воля сильнее любой человеческой силы.

* * *

Идеал и жизнь, как правило, не совпадают друг с другом. Иногда случается, что самый прекрасный идеал рядом с жизнью выглядит смешным, а то и просто враждебным ей. В книге одного критика мне запомнилось одно интересное размышление: *«В Цетинье сохранились и турецкие мечети, и православные церкви, и католические костёлы, и синагоги. Несмотря на кровавую борьбу с турками, черногорцы не мстительны, с пониманием и широтой относятся к иноверцам, к иностранцам вообще...»*

Вроде бы и похвалил черногорцев, но вот что вышло потом. Вскоре и я побывал в Черногории. Однажды на каком-то дружеском вечере черногорские поэты разоткровенничались и спросили меня:

– А ты читал «Югославский дневник» Владимира Огнева?

– Читал. Даже с собой в дорогу взял.

– Так передай, пожалуйста, автору, что мы, черногорцы, всю нашу историю – несколько столетий – воевали. Торговать нам было некогда. Поэтому еврейские купцы у нас не жили, а значит, ни одной синагоги в Цетинье нет. А какие мечети могли у нас построить турки, когда они ни одного дня не владели городом? Когда лишь турецкие головы, которые наши предки привозили с полей сражений и ставили на крепостные стены, могли в упор разглядывать нашу столицу? Так что в Цетинье стояли только православные церкви! Не надо приукрашивать нас. Пусть уж останемся, какие есть...

Вспомним стихотворение Пушкина о черногорцах, не сдающихся наполеоновским псам войны.

Черногорцы? что такое? –

Бонапарте спросил. –

Правда ль: это племя злое

Не боится наших сил?

Однако со временем даже самые сильные, самые гордые народы и племена слабеют, соблазняются «европейскими ценностями», теряют настоящую волю к жизни. Вот так сербы после натовских бомбёжек 1999 года и обещаний взять балканских славян в европейскую семью сдали в Гаагский трибунал своих национальных героев генерала Радко Младича, последнего президента Югославии Слободана Милошевича, вождя краинских сербов Радована Караджича.

А черногорцы купились на посулы и соблазны европейской жизни, сначала выбрали своим президентом некоего функционера Джукановича, своеобразного черногорского Ельцина, а потом побежали, как овцы на бойню, в НАТО.

В финале документального фильма об этой балканской трагедии старик-черногорец стоит над могилой своего внука, убитого при натовской бомбёжке, и бормочет: «НАТО – убийцы». А рядом с кладбищем – разбитые крестьянские дома и старухи, сидящие среди развалин.

И черногорцы, и сербы получили в результате ту историю, о которой Черчилль сказал применительно к британцам, сдавшим в 1938 году Чехословакию Гитлеру:

– *Мы хотели, заключив позорный договор с Гитлером, избежать войны, а получили и позор, и войну одновременно.*

* * *

Русские – молодой народ, у которого ещё остались патриархальные родственные связи, позволяющие обратиться к незнакомому человеку со словами «отец» или «мать», если эти люди старше тебя, со словами «сынок» и «дочка», если они младше, со словами «брат», «браток» – к ровесникам или «сестра», «сестричка» – к ровеснице. Да и к незнакомой старенькой женщине обращение «бабуся» будет звучать у нас естественно, так же как слова «дед», «дедок»... Правда, оттенки при такого рода обращениях могут быть разными:

– Да пошёл бы ты, отец (или «батя»), куда подальше!

Находясь в подобном настроении, я как-то написал, проходя осенней сырой ночью через всю мою Калугу:

И довелось родиться мне
В такой стране великой...
Поляны пахли по весне
Смолой и земляникой.
Но эта ночь и этот дождь –
Не вскрикнешь, не ответишь,
Во тьме полгорода пройдёшь
И никого не встретишь.
А если кто и подошёл –
Ощупай трезвым взглядом:
Что хочет он – пырнуть ножом
Или назваться братом?..

* * *

Наш калужский двор на стыке улиц Пушкинской и Циолковского состоял из двух домов. Один загибался буквой «Г» в обе улицы, а другой замыкал продолжение двора по улице Циолковского; нижний этаж у обоих домов был каменным, а верхний – деревянным. И в тот, и в другой дом на второй этаж вели внешние деревянные скрипучие лестницы. Ещё одной стороной двора был длинный общественный сарай, в котором жильцы держали дрова, каменный уголь и всяческую ненужную хурду-мурду, которую было жалко выкинуть на помойку.

Сарай был сколочен из тёмного горбыля, каждый его отсек закрывался тяжёлыми воротами с подтёками жёлтой смолы, а в углу двора стоял обширный деревянный сортир, куда бегали жильцы обоих домов.

На дворе стояли столбы, на которых были натянуты верёвки, а на верёвках всегда сушилось разноцветное бельё, придававшее нашему двору какой-то праздничный вид.

Несмотря на все сложности быта, двор не унывал и по вечерам оглашался песнями, вылетавшими из открытых настежь окон и с первых, и со вторых этажей.

Из окон первого этажа, почти вросшего в землю, где жили два брата Женька и Володька, всегда несло что-то блатное: *«Три гудочка прогудело, // все на работу бегут, // а лежавые в то время // на облаву идут».* Или *«Есть в саду ресторанчик приличный, // только Ляльке там скучно одной, // подошёл паренёк симпатичный – // кепка набок и зуб золотой».*

Из квартиры, где жила тётя Нюра с двумя детьми-подростками Авой и Толиком, доносились песни другого, НЭПовского репертуара – «Рио-Рита» или песня креолки (*«А обманешь, так знай: у креолки // ногти острые, словно иголки, // и расправа моя будет краткой – // пусть креолку целует другой!»*). Ну, конечно не обходилось и без Утёсова: *«С тобою встретился на школьной вечериночке, // картину ставили тогда «Багдадский вор», // глазёнки карие и жёлтые ботиночки // зажгли в душе моей пылающий костёр»*... А в застольях пели и «Катюшу», и «Синий платочек», и «Тёмную ночь»...

За общественным сараем, который был одной из неприступных сторон нашего двора, простирался громадный общественный огород соток на 50, где на каждую семью отводились две-три грядки. В дальнем углу огорода был вырыт пруд, в котором скапливались вешние и летние дождевые воды, необходимые для полива грядок. В этом пруду мы пускали игрушечные кораблики с парусами, которые, подгоняемые ветром, пересекали пространство пруда. К огороду примыкала соседняя усадьба

крепких хозяев Купчиковых, сбежавших в город после раскулачивания, – мать, два сына и дочь. В их саду росли сортовые яблони, на которые мы смотрели с вожделением, но что делать, если их охраняли две лохматых громадных собаки! Да и Колька Купчиков зорко следил за своим садом, ночуя в шалаше посреди яблонь.

Особое место в мире нашего двора занимала голубятня, возвышающаяся над сараем. Голубятней владела семья Жуковых – два брата и чахоточная их сестра Валентина. Третий брат – старший – был легендарным вором и сидел где-то в Сибири. О нём не принято было вспоминать. О нём лишь шептались. Да и песни, которые вылетали иногда из низеньких окон жуковской квартиры, были как бы о нём:

Вот он идёт
В прохарях и в тельняшке морской,
В кепке набок и зуб золотой –
Всем известный Серёжа.

Но жуковские голуби-сизари были украшением и гордостью нашей неприглядной жизни. Они, подчиняясь воле хозяина, открывавшего решётчатую дверцу голубятни, вылетали в мир, в солнечную высь, кружились над нашим двором, соблазняли голубок из голубятен, находившихся в соседних кварталах, и в сопровождении этих добровольных пленниц возвращались к своей голубятне, в хозяйские руки братьев Жуковых.

* * *

Бабка пила чай с баранками, которые я привозил ей из Москвы, и с постным сахаром вприкуску только из самовара, для которого я собирал в бору сосновые шишки. Несмотря на свои 60 с лишним лет, она тащила на ремне через плечо к Оке корзину с бельём – полоскать. На колонках возиться с бельём было неудобно, да и не разрешалось. Ручей от воды, льющейся из колонки, сбегал по неглубоким канавам вниз к Оке, и зелёная полоска молодой травы показывала бег этого искусственного ручейка с самого начала улицы Циолковского до речного берега.

По этому склону, называемому Балашовкой, зимой мы со свистом скатывались кто на санках, кто на самокатах, сооружённых из досок с тремя коньками: два – сзади, крепко привинченных к доске, и один – впереди, прикреплённый к подвижному рулю. Склон дороги был всегда обледеневшим от воды, бегущей вниз из колонки. Я не был в оккупации, но когда в 1943 году мы вернулись из костромского села Пыщуг в Калугу, то ребята рассказывали мне, что в декабре 1941 года, когда наши войска выбили немцев из города, мои 10-летние сверстники подтаскивали убитых немцев к колонке, обливали их водой на 40-градусном морозе и, когда трупы обледеневали, их связывали по двое или по трое и садились на них, кто как умел, разгоняли этот страшный кортеж, прыгали на него на ходу и со свистом мчались по крутой улице имени Циолковского чуть ли не до самой Оки. Впоследствии я написал об этом такие стихи:

Немцы уходят из города,
Стынет декабрьское солнце,
И вот уже звонко от хохота
И под гору мы несёмся
На санках, на самокатах,
А тот, кто из самых смелых, –
На немецких солдатах,
Как дерево, заледенелых.

Я написал эти стихи в 1959 году, и так случилось, что пришёл в гости к Борису Слуцкому, когда у него был драматург Александр Володин. Слуцкий попросил меня прочитать несколько стихотворений, я прочитал, и среди них – стихотворение о том, как мои калужские друзья катались с горы на немецких трупах. Слуцкий был чрезвычайно доволен, ликовал, а Володину стало плохо.

Знаменитая колонка, откуда я таскал ведра воды домой, стояла возле дома, где жили мои приятели Чахловы – Александр и Валентин, по-уличному – Валет. Это была крестьянская семья, после коллективизации сбежавшая в Калугу. Каким-то образом они срубили себе деревенскую избу, к которой

примыкал довольно большой огород – соток 20. Отца у них мобилизовали в первые дни войны, осталось их четверо – два подростка, их мать тётя Варя и её сестра. Жили своим огородом да коровой, которую успели завести перед войной. А тётя Варя подрабатывала тем, что возила с хлебозавода в магазины хлеб в громадной корзине, прикрепленной к основе с двумя колёсами.

Когда она поздно вечером приезжала домой, мы сразу бросались к корзине, в которой всегда находили несколько корочек, отломившихся от горячих хлебных буханок.

За её сестрой Машей ухаживал демобилизованный по тяжёлому ранению молодой моряк с наколкой на груди:

Любовь – это бурное море,
Любовь – это злой ураган,
Любовь – это вечное горе,
Любовь – это ложь и обман.

Моряк иногда уводил тётю Машу на танцы в парк культуры или на танцплощадку Центрального кинотеатра, где танцевали и в кирзовых сапогах, и даже в валенках.

* * *

Утром в больничной столовой рядом со мной за обеденный пластмассовый столик сел крепко сбитый, почти квадратный человек, плечи и грудь которого были покрыты седой жёсткой, как будто бы кабаньей, шерстью. Схожесть с кабаном ему придавали маленькие глазки и могучие предплечья, на них были изображены искусным татуировщиком то ли букеты цветов, то ли заросли неведомых мне растений, из которых высовывались полуптичьи, полужверинные, получеловечьи морды существ, подобных химерам, украшающим Собор Парижской Богоматери. Короткая седая стрижка, чуть-чуть свалывшаяся на загривке, усугубляла родство этого человека со зверем.

Отстояв свою очередь к кухонному окну, мы взяли у поварихи Нины по тарелке овсяной каши, по кружке чая, по пластмассовой баночке йогурта и сели друг против друга за тесный столик. И тут с близкого расстояния я разглядел на его могучих бицепсах какие-то слова, которые от постоянного движения рук шевелились, что мешало мне быстро и незаметно прочесть их. А спрашивать у этого кентавра, что у него там выколото, было неудобно. Да и, честно говоря, я не особенно верил, что он ответит мне на человеческом языке. Хрюкнет что-нибудь – и все дела.

Однако, когда его кто-то из толпящихся в столовой бедолаг окликнул, и мой человекообразный сосед повернулся на окрик вполоборота, я успел схватить глазами три слова на его предплечье и с удивлением понял, что эти слова немецкие и к тому же известные всему цивилизованному миру – «Jedem das Seine», – что означает в переводе на русский «Каждому своё», и возникли они как заповедь для всех несчастных, попавших в годы Второй мировой войны в Дахау или Освенцим... Открыв от изумления рот, я попытался было спросить у вепря, знает ли он смысл этой надписи, но язык мой присох к нёбу. А мой Вепрь опрокинул за один раз кружку кефира в глотку, встал и коренастой раскачивающейся походкой на двух ногах пошёл к выходу. На нём были шорты, которые чуть было не лопались по швам от этой походки, а на мясистых икрах я вдруг увидел ещё какие-то слова, тоже изображённые чуть ли не готическими буквами. Я рванулся за ним и догнал его в коридоре:

– Скажите, пожалуйста, – заикаясь от волнения, произнёс я. – А что у Вас написано на ногах?

Он повернулся ко мне всем торсом, поскольку у него не было шеи, а голова сидела прямо на плечах, и бесстрастно по слогам произнёс:

– Арбайт демахтен фрахт!

– Работа освобождает! – образованно произнёс я.

– Вот именно! – холодно ответил он и ускорил шаг, явно показывая, что нам с ним больше говорить не о чем, и захлопнул дверь в свою палату прямо перед моим носом.

* * *

Больница. Толпы старух в разноцветных халатах, в пижамах и даже в ночных рубашках.

Старуха, похожая на старика, – курчавая шапка седых волос, круглое скуластое лицо, нос, словно неочищенная картофелина, короткие крепкие руки, хриплый голос, коренастая, как медведица, ставшая на задние лапы.

– Да зачем Вы врачам букеты цветов покупаете? Всё равно они их завтра на помойку выбросят. Я вот своей врачихе, если сама захочу, сниму с руки кольцо с бриллиантом и подарю. Ох, как моя родня, сын и дочь, раскричатся, если увидят, что нет кольца! Они только и ждут, чтобы я померла и оставила им квартиру да эти кольца! Они завтра за мной приедут домой забирать, мне ведь 91 год! А я им говорю: «Не приезжайте, я сама выйду из больницы и на автобусе до дома доеду. С работы отпрашиваются, чтобы продемонстрировать, как они заботятся обо мне».

Её тихая собеседница и соседка по палате увещевает лихую старуху:

– А ты думай о позитиве. Всё тогда будет хорошо. Аура должна быть положительной. – Но Медведица не понимает:

– Я зарядку сегодня ночью делала. Проснулась – спать не могу. Я мостик стала делать на кровати.

Но тихая собеседница гнёт своё:

– А ты думай о позитиве!

Однако девяностолетнюю бунтовщицу унять невозможно:

– Мне они хотели какой-то прибор поставить, чтобы со мной разговаривать из своей квартиры! А если я не хочу разговаривать, зачем они ко мне лезут?

– Да ты думай о позитиве! – на что следует неожиданный вопрос:

– А ты замужем была?

– Была.

– А муж у тебя был хороший?

Тихая собеседница молчит, улыбается.

– А у меня был избалованный ребёнок, а не муж!

– А ты думай о позитиве!

Слушаю и невольно вспоминаю стихотворение Бориса Слуцкого о харьковской коммунальной жизни в 30-е годы:

Старух было много, стариков было мало:
то, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм выходной, суконный,
покупали гроб дорогой, дубовый,
и глядели в последний, как лежит их законный,
прижимая лацкан рукой пудовой.

Рядом с моей палатой была палата для женщин, у нас была одна прихожая и один туалет, куда мне нужно было заглянуть после обеда. Открыв дверь туалета, я увидел старушку, сидящую на унитазе. Она ничуть не смутилась, закрыла дверь и вскоре заглянула в мою палату со словами: «Ну, иди, дедушка».

А моя 90-летняя с головой, на которой словно бы надета седая барашковая шапка мехом наружу, несёт из кухни на свой стол тарелку с кашей, пальцы толстые, бицепсы по-мужски крепкие, на плечах – ни одной морщинки, ни одной старушечьей складки... Смотрю на пальцы, крепко схватившие кружку с кефиром, и вижу, действительно, на пальцах несколько колец, а одно – с бриллиантом. Господь, видимо, лепил из этого куса глины мужчину, но в последнее мгновение отвлёкся. Идёт, переваливаясь, медвежьей походкой, без палочки, в мужских штанах и матроска полосатая на торсе. Словом, похожа на какого-нибудь каторжника Айртонна из жюльверновского романа «Пятнадцатилетний капитан».

Среди «божьих одуванчиков»,двигающихся, как толпа пингвинов с кружками, тарелками, ложками, моя 90-летняя выделяется, словно крепкий белый гриб-боровик; кричит, командует, распоряжается:

– Девочки! В очередь! – и девочки, одни – как мешки с арбузами, другие – как полупрозрачные шуршащие целлофановые пакеты, послушно выстраиваются к кухонному окну. Большинство в застиранных ситцевых или фланелевых халатах, но есть и в шёлковых с поясами. А две старушонки вообще пришли в ночных рубашках, светящихся насквозь. Все выстраиваются в очередь с круж-

ками, а мне всё кажется, что каждая из них держит драхму, чтобы передать Харону; многие – с наклеенными наискосок на один глаз белыми полосками марли, а кто-то и на инвалидных колясках, и все – с лицами, измождёнными страхом вечной слепоты.

Поглядишь на них и поймёшь, что в древнем мире таких убогих, особенно слепых, было гораздо больше. Христос не мог пройти мимо них, и большинство рассказов из Евангелия – это сцены, где он встречается с немощными, расслабленными (то есть с парализованными), бесноватыми, увечными и слепыми.

– Пралик тебя разбери! – кричала моя бабка Дарья Захарьевна, и с детских лет я знал, что «пралик» – это паралич. Бабка была глухой и запомнила слово «паралич» на слух, как «пралик», отчего оно стало ещё более страшным, как будто «пралик» – это какое-нибудь существо из мира нечистой силы.

Христос знал, что именно здоровым людям надо понять, что больные и страждущие – тоже люди, и чудеса его по исцелению недужных он вершил, чтобы слух о такого рода чудесах расходился по земле, чтобы физически здоровые люди знали, что и они когда-нибудь впадут в немощь и будут мечтать о чудесах, совершённых Спасителем. Вспоминаю поразительный тургеневский рассказ «Живые мощи» – о бывшей красавице Лукерье, впавшей в немощь, или о старике из рассказа Льва Толстого, который ест дома из чашки, ест неопрятно и раздражает этим своих родных. Вспоминаю властную старуху из пушкинской «Пиковой дамы», говорящую: «Я сама!»

* * *

Прочитал в больнице роман Прилепина «Обитель» – о жизни его героев в Соловецком лагере, о скудных пайках, о ночных встречах близких по духу людей, собиравшихся потихоньку от надсмотрщиков и уголовников всласть закусить из посылки едой, полученной от родных.

Прочитал и обнаружил днём, что не доел больничную похлёбку, и понял, что это нехорошо. И как-то само собой получилось, что чуть ли не стал хлебной корочкой вылизывать остатки еды с тарелки. В Соловках недоедков в мисках не оставляли и дорожили каждым кусочком хлеба, и смаковали его, и делились им с близкими друзьями, как чем-то заветным.

Кроме того, я так вжился в главного героя Артёма, который каким-то врождённым инстинктом мог ладить с самыми разными людьми и понимать их: и чеченцев, и уголовников, и священников, и голь перекатную, и аристократов, – и к своему удивлению понял, что я веду себя точно так же и приспособливаюсь и к врачам совершенно разным, и к медсёстрам, и к санитаркам, и к уборщицам, и к сестре-хозяйке, которая до положенного срока меняет нам постельное бельё, и поварахи могу так улыбнуться, что кладёт мне лишние полповарёшки разваристой гречки.

Вот что значит прочитать произведение писателя, хорошо знающего жизнь.

* * *

Фёдор Михайлович Достоевский в романе «Подросток» вспоминал о «священных камнях Европы» и о «золотых потускневших» людях Запада. Это было в середине XIX века. Юрий Кузнецов в одном из своих хрестоматийных стихотворений до конца раскрутил мысль Достоевского о привязанности русской интеллигенции к Европе:

Нам чужая душа – не потёмки
И не блеск Елисейских полей.
Нам едино, что скажут потомки
Золотых потускневших людей.
Только русская память легка мне
И полна, как водой решето.
Но чужие священные камни,
Кроме нас, не оплачет никто.

Арнольд Шпенглер в начале XX века сочинил знаменитую книгу «Закат Европы», в которой поставил западному миру роковой диагноз, что он при смерти.

Однако пассионарии Запада не согласились со Шпенглером и дважды встряхнули мировую историю, пытаясь восстановить своё средневековое величие: устроили Первую, а потом и Вторую мировую войну.

Но после этих двух преступлений мирового масштаба дети Европы выдохлись и, окунувшись в общество потребления, начали с наслаждением разлагаться и духовно, и телесно, дойдя до крайних степеней вырождения. 14 октября 2014 года центральное телевидение России сообщило о том, что министр сельского хозяйства Дании обратился в парламент с просьбой принять закон, запрещающий скотоложество, ибо у животного невозможно получить согласие на половой акт со стороны человека. В телеинформации было добавлено, что в Данию гурьбой едут туристы и туристки, соблазненные сексуальной тягой к парно- и непарнокопытным. К XXI веку Европа перепробовала всё: и педерастию, и однополые браки, и педофилию, и кровосмешение, не хватало только блуда с коровами, козами, собаками и жеребцами. Такого даже в Содоме не было. Слава Богу, что Юрий Кузнецов не дожидаясь этих игрищ.

* * *

В 1984 году я опубликовал в «Нашем современнике» статью «Что тебе поют?», где убедительно доказал, что фанатичные поклонники Высоцкого, устраивая сборища возле его могилы, затоптали находившуюся рядом могилу майора Петрова. У меня были фотографии затоптанной могилы и во время её существования, и фотография этого места после её исчезновения. Тем не менее, журнал «Юность» обвинил меня в клевете, в зависти к Высоцкому, и даже в том, что чуть ли не я сам устроил инсценировку с могилой майора Петрова. История эта имела весьма драматическое продолжение. Мой сокурсник по филфаку и соперник по литературной жизни критик Станислав Рассадин глумливо повторил в той же «Юности», что я выдумал могилу майора Петрова. Шёл 1992 год, когда мы, патриоты, уже были отрезаны от самых многотиражных газет, от телевидения, и надо было искать эффективные и необычные формы сопротивления. Я написал в газету «Московский литератор» письмо, в котором потребовал от Рассадина извинений, в противном случае пообещал смыть оскорбление пощёчиной. Он не извинился...

Через полгода я встретил клеветника у писательской поликлиники. Он шёл мне навстречу. С упавшим сердцем я понял, что нужно исполнять обещанное, что другого случая не представится, и, когда мы поравнялись, моя ладонь звучно легла на его ланиту. Он отпрыгнул, как толстый кот, заверещал, зашипел на всю улицу нечто нечленораздельное, но было уже поздно. Возмездие совершилось. Я, чтобы поделиться опытом, как надо наказывать клеветников (а в то время оскорбления сыпались на нас с разных сторон), опубликовал информацию о приговоре, приведённом в исполнение, в газете «День» и вскоре получил из Ясной Поляны от читателя Сергея Романова письмо: *«Я не поклонник Вашего поэтического таланта, но я в восторге от Вашей гусарской пощёчины. Желаю Вам здоровья и мужества»*. А ведь когда-то на филологическом факультете МГУ мы бегали со Станиславом Рассадиным в одной легкоатлетической эстафете четыре по сто метров.

Александр Проханов, со свойственным ему остроумием придумал для моего материала заголовок: «Стас уполномочен заявить».

Так я и назвал свою новую книгу, которая вышла в свет к моему 70-летию.

* * *

Чуть ли не сорок лет тому назад судьба свела меня с выпускником ВГИКа, ставшим послушником Псково-Печорского монастыря Георгием Шевкуновым – ныне архимандритом Сретенского монастыря отцом Тихоном и епископом Егорьевским.

Потом многие годы подряд мы встречались с ним в кругу наших близких единомышленников-художников Искры Бочковой и Алексея Артемьева, во время великого праздника – переноса мощей святого Серафима в Дивеево, а потом были встречи на единственной православной телестудии «Русский Дом» у Александра Крутова...

Он и крестил меня, и венчал с моей женой Галиной, надеюсь и верю, что и грехи мои отпустит мне, когда Господу это станет угодно... Отец Тихон открыл мне и многим русским людям тайны величия и падения Византии, после фильма о судьбе которой ненависть к нему, если судить по воплям либералов, выступающих на «Эхе Москвы», стала беспредельной. Достигнув необходимой духовной зрелости, он написал изумительную книгу «Несвятые святые», многие главы которой публиковались в журнале «Наш современник».

Трудны и непостижимы пути Православия в России XX века! Но когда я читаю главы этой книги о Великом наместнике, об отце Гаврииле, об отце Иоанне и других столпах Печорского монастыря, душа замирает от постижения страданий и гонений, которые они пережили, и одновременно восхищается величием подвига многих подвижников Печорской обители.

* * *

Что такое объявленная властью «десталинизация» жизни? Это не просто лживый доклад Хрущёва на XX съезде, не просто вынос праха из мавзолея и переименования Сталинграда в Волгоград. Это разрушение, осмеяние, опощление всего, что было создано народом в сталинскую эпоху. Это развал государства, разорение сталинской индустрии, уничтожение сталинской коллективизации. Сорок процентов пахотных земель уничтожено, заросло кустарником и лесом. Это уничтожение лесозащитных полос – великого проекта конца 40-х годов прошлого века.

Это разрушение не просто ГУЛага, а почти всех основных отраслей жизни, в которую был вложен труд нескольких поколений, это ликвидация всех городских благ на селе – библиотек, больниц, детских садов, домов культуры и клубов, почтовых отделений, машинно-тракторных станций, сети торговых предприятий, закрытие многих школ и так далее.

...Это разрушение всего, что «нерентабельно». Но ведь нерентабельна и жизнь человеческая, поскольку она кончается смертью. И потому «нерентабельны» судьбы Ельцина, Гайдара, Грачёва – временщиков истории.

Нынешние российские историки еврейского происхождения часто негодуют по поводу того, что во время войны советская пропаганда хранила молчание о еврейских потерях: «*Советские авторы постоянно скрывали, что евреев убивали только за то, что они евреи*» (энциклопедия «Холокост», М., «Росспэн». 2005. С. 450).

Но это негодование является циничной спекуляцией нового времени. Население Советского Союза во время войны состояло из более чем двадцати крупных этносов, не говоря уж о сотне малых народностей и племён. Дети всех этих национальных образований проливали кровь на полях сражений. И пока шла война, выделять чьи-либо жертвы как имеющие особую цену было самоубийственным делом. Единственно возможным залогом нашей победы было сплочение всех племён и народов в одно понятие «советский народ». И это суровое условие не позволяло выделить жертвы и потери «избранного народа».

Вспомним, что лишь после победы Иосиф Сталин смог позволить себе произнести тост «за здоровье русского народа», внесшего наибольший вклад в нашу общую победу. Да и то вспоминается, как Александр Чаковский выговаривал мне, что вот, мол, Сталин поблагодарил «русского Ивана», а «еврейскому Абраму» подобная благодарность не досталась. Однако Чаковский забыл, что через 3 года после знаменитого тоста за русский народ по воле того же Сталина весь восточно-европейский советский блок проголосовал за создание государства Израиль. Это был поистине царский или даже императорский подарок «несчастному Абраму»: ему подарили не хвалебные слова, а государство, и по сравнению с этим подарком всемирно-исторического масштаба всяческие проходившие в ту же эпоху кампании против «космополитизма» или «дело врачей» были мелкими, ничтожными событиями внутриполитической жизни.

И недаром даже после этих «антисемитских кампаний» портреты «усатого тирана», как главного отца-основателя государства Израиль, многие десятилетия висели в израильских кибуцах...

Так что крики о необходимости полной десталинизации нашей жизни одновременно есть посягательство на легитимность Израиля, созданного по воле Сталина.

* * *

В начале шестидесятых годов в московских либеральных кругах ходила по рукам и пользовалась большой популярностью рукописная книга историка Роя Медведева «К суду истории» – о Сталине и сталинизме. Она до сих пор стоит в моей библиотеке – толстый том с пожелтевшими машинописными страницами в кустарной дерматиновой обложке. Книга не выделялась ни глубиной анализа эпохи, ни объективностью, ни фактологическим материалом – она была обычным диссидентским антисталинским сочинением, весьма поверхностным, а порой и просто искажавшим историю. По-

добных сочинений в те годы было написано немало, особенно людьми, которых так или иначе коснулись репрессии 30-х годов. Вспомним хотя бы книги Антонова-Евсеенко, Аксёнова, Икрамова, Юрия Трифонова... Жажда взять у тени великого вождя реванш, хотя бы задним числом, толкала «детей XX съезда» в объятия антисталинской хрущёвской пропаганды, к вольной или невольной подтасовке фактов, к опоре на слухи, мифы и всяческие недобросовестные источники. Большинство этих сочинений были столь же исторически некорректны и даже абсурдны, как и доклад Хрущёва на XX съезде КПСС. Но вот прошло с той поры более 40 лет, и братья Медведевы издали в 2001 году книгу «Неизвестный Сталин»...

Читаю ее – и глазам своим не верю... «Действительно, глубокое понимание эпохи Сталина и его роли в мировой истории только начинается».

«Сталин был не только вождём, диктатором и тираном. За внешней оболочкой культа личности жестокого деспота существовал и обычный человек, думающий, размышлявший, имевший огромную волю, большое трудолюбие и немалый интеллект. Он был также несомненно патриотом исторической российской государственности»...

«Для таких людей, как Ленин и Сталин, невозможно определить, сыграли ли они в судьбе человечества отрицательную или положительную роль. Они сыграли историческую роль. Советский Союз не был аномалией исторического развития. Это был шаг вперёд из того тупика, в который завела мир Первая мировая война».

Вот как, почти на 180 градусов изменились исторические оценки бывших крутых диссидентов, сыновей бригадного комиссара Медведева, погибшего в 1941 году на Колыме... Жизнь, как говорится, учит.

А сколько в книге «Неизвестный Сталин» частных выводов, противоречащих расхожим антисталинским байкам и анекдотам, которыми питались умы либералов-шестидесятников: «Выступление Сталина по вопросам языкознания имело в целом положительное значение», «Политическую недалёковидность при разработке первой Конституции Союза проявил Ленин, а не Сталин», и даже: «Следует признать, что как редактор Сталин не только улучшил доклад Лысенко, сделав его формулировки менее резкими и менее антизападными, но и устранил принципиально ошибочное деление наук на советские и буржуазные...»

Вот какая эволюция в сторону здравого смысла произошла с тех пор с братьями Медведевыми. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Случай весьма поучительный, особенно на фоне сочинений о Сталине Волкогонова, Радзинского, Александра Яковлева и прочих якобы «историков».

* * *

1951 год. Я поступил в Московский Авиационный институт на факультет приборостроения. Поступил лишь потому, что там учился мой двоюродный брат, лётчик, вернувшийся с фронта и не сразу нашедший себя в первые послевоенные годы. До поступления в МАИ он жил спортом – бегал длинные дистанции, ходил на лыжах, играл в волейбол. Так и прошла его послевоенная молодость. Но у него хватило ума воспользоваться льготами, которые были у участников войны. Он, учившийся на 4-м курсе, и уговорил меня: «МАИ! Лучший вуз страны!»

Но я всё это пишу для того, чтобы вспомнить, как зимой 1951 года я, студент МАИ, случайно попал в зал Чайковского на концерт уже широко известного в то время Александра Вертинского...

Зал был полон. Вертинский вышел из-за кулис, и зал встал. В основном в зале были женщины, молодость которых совпала со славой Вертинского, ставшего знаменитым в годы Серебряного века и Первой мировой войны.

Он вышел в чёрном костюме, высокий, статный, с большими залысинами, познакомил зрителей со своим аккомпаниатором:

– Брехес! – по слухам, Вертинский вывез его из Японии...

После первого же номера «Что за ветер в степи молдаванской» Вертинский полностью овладел залом.

А когда спел свой шедевр «Жёлтый ангел», аплодисменты не стихали несколько минут.

В начале 60-х годов прошлого века были живы ещё многие фигуры из дореволюционной эпохи, с которыми мне пришлось познакомиться и встречаться, и вести разговоры.

Из футуристов я знал Николая Асеева и Алексея Кручёных, из имажинистов встречался с Матвеем Ройzmanом, даже с акмеистом Михаилом Зенкевичем жил в одном номере в Тбилиси во время какого-то писательского сборища.

Работал составителем альманаха «День поэзии», приезжал на квартиры к Илье Эренбургу и Самуилу Маршаку, Виктору Шкловскому и Валентину Катаеву, в 1960–1963 годах ездил в Псков к Надежде Яковлевне Мандельштам, а однажды мне довелось встретиться и с главной героиней моих нынешних размышлений о Серебряном веке, мода на которую в годы «оттепели» стала хорошим тоном. Помню, как мне, работавшему тогда в журнале «Знамя», было велено моим прямым начальником Борисом Леонтьевичем Сучковым взять у неё стихи для публикации в журнале, что я и сделал. Ахматова приехала в Москву и остановилась на Садово-Каретной в квартире у своей почитательницы Ники Глен, куда я должен был привезти вёрстку её стихов, чтобы она расписалась на ней. Для храбрости я взял с собой на эту встречу своего молодого красивого друга – поэта Анатолия Передреева.

...Мы вошли в коридор громадной московской коммунальной квартиры. На стенах коридора висели пожелтевшие оцинкованные ванны, под ними стояли какие-то старые сундуки, из общей кухни тянуло запахом жареной рыбы.

В комнате, заставленной тяжёлой мебелью, за столом у «неумытого окна» сидела грузная седоволосая женщина. Она пригласила нас присесть в кресла со стонущими пружинами и стала читать вёрстку с набором своих стихотворений – одно из них чрезвычайно нравилось мне:

Ворон криком прославил
Этот призрачный мир,
И на розвальнях правил
Великан-кирасир!

Ахматова медленно просмотрела набор, расписалась по моей просьбе под стихами и поглядела на нас, давая нам понять, что аудиенция закончена. Я напоследок задал ей два-три вопроса, что-то о Серебряном веке, на которые она ответила кратко, но убедительно. Впоследствии я узнал, что эти ответы у неё «отработаны», и она каждый раз повторяет их дословно. Тогда не было слова «пиар», но этим приёмом Ахматова владела в совершенстве и всегда производила нужное для себя впечатление.

Я уже приподнялся с кресла, застонавшего всеми своими пружинами, и хотел сказать «до свидания», как мой молчаливый друг, по-моему, всё время дремавший в углу, вдруг, к моему ужасу, произнёс с обезоруживающей непосредственностью:

– Анна Андреевна! Я ни разу не слышал, как вы стихи читаете... Прочитайте нам что-нибудь своё любимое...

Величественная старуха взметнула брови, словно бы взглядываясь в представителя «младого и незнакомого племени», но вместо того чтобы указать нам на дверь, со странной улыбкой тяжело поднялась со стула, подошла к маленькому столику, стоявшему в углу, открыла крышку дешёвого проигрывателя, поставила на диск пластинку и нажала кнопку. Пластинка зашипела, и в комнате, загромождённой пыльной и облезлой мебелью, вдруг зазвучала медленная, торжественная речь:

Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда».

.....
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Когда диск остановился, Ахматова сняла пластинку и снова с молчаливым вопросом поглядела на нас, но её молчаливое осуждение прошло мимо цели: Передреев безмятежно дремал в старом удобном кресле. Сгорая от стыда и ужаса, я разбудил его ударом локтя в бок.

Толкаясь и бормоча слова благодарности, мы вывалились в коридор, а потом по лестнице, пропахшей кошками, в шумную жизнь Садового кольца...

Я с негодованием набросился на друга:

– Ну что – получил? Послушал «что-нибудь любимое»? – Но ему всё было как с гуся вода:

– Зато смотри, как интересно получилось! Когда-нибудь вспомним!

Вот и вспомнилось...

* * *

22 августа 2012 года на радиостанции «Эхо Москвы» в рубрике «Особое мнение» выступал бывший председатель Союза журналистов Москвы некий Яковенко. Болтал он много чего пустякового и никчёмного, но вдруг словно с цепи сорвался: *«Путину место рядом со Сталиным и Гитлером. Он, как и они, верит только в насилие».*

Не хочу и не буду спорить с этим больным провокатором, потому что меня занимает вопрос не менее важный: почему радиостанцию «Эхо Москвы», открыто поддерживающую все разрушительные силы 5-й колонны, направленные на слом нынешнего государства, это же самое государство щедро финансирует из своего бюджета? Так же, впрочем, как и телеканал «Дождь» (30,6 млн рублей), так же, как и газету «Московский комсомолец» (17,9 млн рублей). «Эхо Москвы» тоже получает 15 млн бюджетных денег в год.

Я думаю, и при Гитлере, и при Сталине органы печати, порочащие их как руководителей своих государств, на другой день после подобных заявлений были бы закрыты. А такие авторы, как Яковенко, были бы превращены в лагерную пыль, что в наше время немыслимо.

Так что не похож, слава Богу, Путин на Гитлера, и на Сталина, к сожалению, не похож. А ещё добавлю, что не верю, будто Алексей Венедиктов, историк по образованию и выходец из энкавэдэшной семьи по происхождению, не понимает, для чего «Эхо Москвы» вбрасывает в эфир столь грязную стряпню.

* * *

Борис Немцов, баллотировавшийся в Сочи на должность мэра, проиграл выборы и заявил, что это были «не выборы, а криминальная операция». Как будто он не был замешан в криминальных выборах 1996 года, как будто в 1993 году он не кричал с телеэкранов 3 октября: «Давить их надо, Борис Николаевич!». Всё происходит по евангельским законам: какой мерой вы отмерите другим, такой и вам отмерится.

И Немцову за всех «раздавленных» 3–4 октября – «отмерилось» на Москворецком мосту.

* * *

Все наши златоустые либеральные витии постоянно твердят, что у преступников нет национальности. Но фамилии у них есть. И телевидение последних дней твердит с утра до вечера, что некий Борис Булочник, создатель финансовой системы «Мастер-банк», обрушил её и сбежал с награбленными деньгами – а с ним вместе жена и сын – за границу.

Пока треплют фамилию *Булочника*, обнаруживается, что очередной мошенник по фамилии *Коган* обобрал провинциальных наивных женщин и каким-то образом утащил у многих из них положенные им государством материнские капиталы.

Потом некий *Владислав Баумгертнер* был задержан в Белоруссии за аферу с продажей калийной соли.

Ну, если нашим юристам хочется доказать, что преступник не имеет национальности, то лучше бы и фамилий не сообщали или придумали бы для всяческих Булочников и Баумгертнеров какие-нибудь ничего не говорящие о национальности псевдонимы.

* * *

Красная площадь, 24 мая 2010 года. Ливень, гроза, солнце – всё сразу, но сегодня День Кирилла и Мефодия, и народу полно. Молодёжь, дети. Заключительный номер программы – наши любимые песни.

Сначала солисты и хор исполняют «Я люблю тебя, жизнь», «Подмосковные вечера», а потом дирижёр взмахнул палочкой, и полилась из духовых инструментов мощная волна родных звуков: «Широка страна моя родная»... Под тентом, спасающим от дождя, сидит Патриарх Кирилл, вокруг него – епископы, среди них вижу отца Тихона – и понимаю, что все они не просто присутствуют, но с чувством подпевают:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Они, облачённые в церковные одежды, поют, в сущности, гимн сталинской эпохи, сочинённый Лебедевым-Кумачом и Дунаевским. И поют так вдохновенно, как будто на Красной площади не 2010 год, а какой-нибудь послевоенный 1946-й, и как будто мавзолей не закрыт полотнищем, а на нём стоит всё политбюро во главе с человеком, восстановившим патриаршество и освободившим многих священнослужителей из краёв, куда Макарыч телят не гоняет.

Вместе со всеми поёт и наш Патриарх, который совсем недавно жаловался на всяческие притеснения 30-х годов, которым подвергалась Церковь и его семья. А сейчас он раздумяется, глаза сверкают и молодым не по годам голосом он поёт вместе с хором, вместе с солистом, вместе со всем клиром:

Этих лет величие и славу
Никакие годы не сотрут.
Человек у нас имеет право
На ученье, отдых и на труд.

Чудны Твои дела, Господи! Стихийная сила хорового соборного пения сильнее личных обид и большой памяти...

Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.

А дальше – «Нет для нас ни чёрных, ни цветных». Ну, конечно, это чуть-чуть перелицованная истина о том, что для Господа «нет ни эллина, ни иудея».

А сколько ещё живёт в нашем языке истин, соединивших наш социализм с нашим Православием!

Советский лозунг «Кто не работает, тот не ест» повторяет евангельское «в поте лица своего будешь добывать хлеб свой», или христианское «И последние станут первыми» лежит в основе советского: «Кто был ничем, тот станет всем». Или слова из революционной песни «Подымется мститель суровый, // И будет он нас посильней» есть евангельская копия «но идущий за мною сильнее меня» – слова пророка Иоанна о пришествии Спасителя.

Сильнее всего связь советской истории с историей Православия возникла в годы Великой Отечественной войны – «Священная», как она была названа с первого её дня, когда первым (раньше самого Сталина) выступил с ободряющим словом к народу патриарший местоблюститель Сергей Страгородский: 22 июня 1941 года глава Православной Церкви в России обратился к пастырям и верующим со своим посланием, разосланным в тот же день по всем приходам. В нём он благословил всех православных на защиту нашей Родины:

«Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.

Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своём долге пред родиной и верой и выходили победителями.

Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. <...> Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путём самоотвержения или неисчислимы тысячи наших православных воинов, полагавших жиз-

ни за свою родину и веру во все времена наших врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны <...>. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу».

...Вся Красная площадь подпевала не столько солисту и хору, стоящим на помосте, сколько вдохновенному Патриарху с его епископатом и священниками: «Широка страна моя родная!»

Разве что не хватило духу спеть один из самых главных куплетов великого гимна:

За столом у нас никто не лишний,
По заслугам каждый награждён,
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский закон.

Но это было бы уже слишком... Меру надо знать, и так было видно, что День славянской письменности стал днём прославления нашей недавней советской истории. Да и в обществе нашем после Великой войны взгляды на «своё» и «чужое» резко изменились.

Михаил Светлов в знаменитой «Гренаде» писал в двадцатые годы:

Я хату покинул,
Пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать...

А Михаил Исаковский в годы Отечественной войны думал уже по-другому:

Не нужен нам берег турецкий
И Африка нам не нужна.

Весь XX век шла борьба сыновей России не только с прямыми завоевателями, но и с «гражданами мира», и до сих пор она продолжается, и опять тот же Пушкин в этой борьбе помогает нам, когда говорит не о «правах человека», а о его «самостоянье»:

Два чувства равно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека –
Залог величия его.

(Продолжение следует)



Проза

Александр Проханов

Уважаемый Александр Андреевич!

*Примите сердечное поздравление от Ваших читателей, авторов
и редакционного совета журнала «Берега» с 80летием!*

*В этот день нам приятно выразить уважение Вам, посвятившему многие годы
служению отечественной журналистике и литературе, русскому народу.
Своим каждодневным трудом Вы создаете то, что нужно людям в области духа.
Мы искренне благодарим Вас за Вашу созидательную деятельность, желаем Вам
дальнейших творческих свершений во благо духовного оформления России!*



Александр Андреевич Проханов – прозаик, публицист, общественный деятель. Родился 26 февраля 1938 года в Тбилиси. Член секретариата Союза писателей России. Главный редактор газеты «Завтра». Лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер орденов Красного Знамени, Трудового Красного знамени, «Знак Почёта», Красной звезды. Автор свыше тридцати книг, переведённых на многие языки, к самым известным из которых следует отнести «Семикнижие», «Господин Гексоген», книгу из четырёх частей «Поступь русской победы». Лауреат премии «Национальный бестселлер», Международной Шолоховской

премии, Бунинской премии, премии имени Н.С. Лескова, премии «Белые журавли России», премии «Золотой Дельви́г» и многих других

ГОСТЬ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Москве проходил экономический форум. С лоском, величаво, с выступлениями, в которых стильно и изысканно сочетались лёгкая небрежность и тяжеловесная убедительность, утверждавшая господствующий экономический курс, суливший пускай и не сиюминутное, но неизбежное процветание. На форум съехались директора крупнейших банков, главы корпораций, владельцы металлургических заводов и нефтехимических концернов. Здесь были виднейшие экономисты, авторы финансовых теорий и промышленных доктрин. Члены кабинета обнародовали долгосрочные программы. Премьер-министр в своей обычной мягкой манере предупредил о трудностях, ссылаясь на международный опыт. В заключение выступил президент с напутствием бизнесу следовать не только коммерческой выгоде, но и преследовать национальные интересы. Было много кулуарных встреч, доверительных бесед, в которых сглаживались противоречия, глушились конфликты, достигались негласные договоренности.

После закрытия форума состоялся банкет. Разговоры за столами становились все веселее и оживленнее. Посмеивались над премьером, который владел искусством говорить красочно и объёмно, оставляя после своих речений ощущение удивительной пустоты. «Вакуум мысли», – сострил один из банкиров. Отмечали прекрасную форму, которую продемонстрировал президент, что отметало всякие сомнения в том, что он снова будет баллотироваться на высокий пост. «Власть – не часы, которые нужно менять», – тонко пошутил финансист, намекая на новые дорогие часы, замеченные на руке президента. Сплетничали о магнате, который развёлся в очередной раз, оставив жене поло-

вину своего состояния. «Я знаю, где водятся женщины, которые выглядят гораздо красивее, а стоят гораздо дешевле», – съязвил глава авиастроительной корпорации. Сговаривались о путешествии на яхте, которая ждёт их всех в Неаполе, и к ним обещает присоединиться знаменитый Тарантино. «Не путать с капучино, дорогой. А то попросишь принести два Тарантино с пенкой», – засмеялась одна из дам.

Иногда разговор заходил о слиянии корпораций, о процентной ставке, о предстоящем назначении на пост министра финансов. Но женщины сразу же прерывали подобные разговоры. Начинали говорить о картине Моне, которую приобрёл за несколько миллионов долларов «алюминиевый король». О высокой церковной награде, которую вручил Патриарх многодетной жене нефтяного олигарха. О средневековом замке в долине Луары, в котором, когда его купил криминальный авторитет из Петербурга, ему стал являться дух французского короля.

Когда стало совсем шумно, и гости переходили от стола к столу, поднимали бокалы, целовали руки дамам, на подиум вышел один из организаторов форума, президент известной пиар-компании, с седовласой красивой головой, благородной осанкой, в которой чувствовалась непринуждённость и свобода человека, привыкшего к открытому общению. Постучал пальцем по микрофону, мягкими стуками привлекая к себе внимание, и произнёс:

– Господа, наш форум удался. Помимо серьёзных аналитических выступлений, помимо оригинальных идей, наш форум продемонстрировал силу и цветение молодого российского капитализма. Навсегда миновали тревожные времена, когда из каменной толщи советского уклада пробивались робкие ростки капитализма, а на них с рёвом, как стадо вепрей, неслись оголтелые красные орды, желая их затоптать, осуществить реванш плановой экономики. Всё это позади, и вчерашние красные монстры превратились в жалкие мхи и лишайники, оттеснённые на периферию российской жизни. Поздравляю, друзья!

Он поклонился, и зал откликнулся аплодисментами, звоном бокалов и несколькими экзальтированными возгласами «ура».

– Теперь хочу представить вам художника, блистательного фантазёра и мага, который своими художественными выдумками, экстравагантными поступками создаёт у зрителей переживания, разрушающие обыденные представления, вызывающие изумление, а порой и шок. Этот вид искусства называется перформанс. Маэстро любезно принял наше приглашение и готов совершить своё действие, как всегда, оригинальное и, быть может, шокирующее. Он скажет несколько слов в адрес лидеров российской экономики, вокруг которых собираются лучшие умы, лучшие художники и писатели, самые успешные и блистательные представители нашего общества. Итак, Аркадий Веронов!

Он сделал шаг в сторону, уступая место, и на это свободное место в круг света вышел маэстро. Он был высок и статен, лет пятидесяти, но моложав, в тёмном, застёгнутом на все пуговицы сюртуке, напоминающем френч. Сходства добавляла толстая серебряная цепь, как позумент, висящая на груди. У него было продолговатое матово-смуглое лицо с высоким лбом и пушистыми бровями вразлёт. Его нос украшала небольшая династическая горбинка. Волосы были тёмно-русые, с лёгкой сединой у висков. Картину дополняли твёрдый подбородок и свежий малиновый рот, который слегка усмехался. Эта усмешка относилась к шумному многолюдью зала, мужским бокалам и женским бриллиантам, а также к самому себе, к своему полувоенному френчу, серебряной цепи, кругу света, в который он встал, как цирковой артист.

Служители вынесли на подиум столик, на котором возвышался какой-то предмет, накрытый тканью. Аркадий Веронов обвёл зал глазами, и этот взгляд серых внимательных глаз по мере того, как они двигались вдоль столов, смирял голоса, усаживал гостей на место, заставлял дам поворачивать лица в одну сторону, словно это были подсолнухи.

– Господа, – произнёс Веронов голосом кафедрального профессора, начинающего лекцию. – Один из присутствующих здесь именитых гостей – я вижу его благородное лицо – в одной из своих статей блестяще изложил суть перемен, происшедших в России.

Веронов умолк, наблюдая, как закутились в разные стороны головы гостей, желавших угадать, о ком упомянул маэстро.

– Этот уважаемый и успешный банкир сказал, что современное российское общество делится на «победителей», «винеров», как он их назвал, и «лузеров» – «проигравших», выброшенных из истории. «Винеры» – это самые деятельные, способные, авангардные люди России, которые заняли

лидирующие места в стране и ведут её к процветанию. Они получили во владения заводы, рудники, корпорации, а вместе с этим и русские реки, леса, океанские побережья. Распоряжаются они всем этим в интересах не только России, но и всего человечества. «Лузеры» – это лохмотья истории, лишённые воли, талантов. То сырьё, из которого едва ли можно создать полноценный человеческий материал. Они брюзжат, ропщут, пьют водку, живут в своих зловонных подъездах, устраивают поножовщину и раз в году, в годовщину Октябрьского переворота, проходят по Москве в колонне под красными флагами, развлекая своим видом иностранных туристов – жалкое подобие бразильского карнавала.

Гости улыбались, некоторые хлопали, иные поднимали бокалы. Продолжали искать того, кому принадлежит эта теория «высшей касты», к которой они себя причисляли.

– Октябрьская революция, как чудовищная эпидемия, охватившая мир, схлынула и больше никогда не повторится. Россия, где находился самый страшный очаг эпидемии, переболела навсегда, выработала противоядие и теперь смотрит на это жуткое время без страха, а скорей с насмешливым презрением. Относится ко всем символам того кровавого времени, как к исторической бутафории. Начиная с крейсера «Аврора», где сегодня проходят забавные вечеринки, и кончая пулемётом «Максим», который смотрится теперь театральным реквизитом.

Веронов повернулся к столику, сдёрнул матерчатую накидку, и все увидели пулемёт «Максим», так хорошо знакомый всем по кинофильму «Чапаев». Серо-зелёный, на металлическом лафете с железными колёсами, с овальным щитком, с ребристым кожухом, из которого торчало короткое рыльце ствола. Пулемётная лента с латунными патронами вываливалась из его чрева. Пулемёт стоял на полированном столике, в нём была беззащитность слепца, брошенного посреди дороги, не знающего, где он, зачем его привели и оставили посреди незнакомого мира, для каких издевательств и насмешек.

Гости за столами ахали, смеялись, рукоплескали, радовались этой шалости весельчака, который выставил на посмеище это чудище, похожее на зелёную жабу, выловленную из мутного болота исчезнувшей истории.

– Это не пулемёт, это артефакт, который мы внесли в область современного искусства, напоминающий нам о былых кровавых убийствах, но теперь знаменующий собой безвозвратный уход того отвратительного и кровавого времени. Это надгробный памятник на могиле Октябрьской революции. И вы, в духе древних языческих традиций, можете принести на эту могилу свои дары. Всё, что лежит на ваших тарелках и налито в ваши бокалы. Быть может, эти деликатесы и эти марочные вина усладят на том свете неизвестного пулемётчика.

Веронов насмешливо сжал свои малиновые губы, отступил, приглашая гостей исполнить языческий обряд поминовения. От ближнего стола лёгким игривым скоком подбежала молодая женщина с бокалом шампанского. Обернулась к залу хохочущим лицом, подняла высоко бокал и стала выливать на пулемёт шампанское тонкой струей. Сияла счастливыми глазами. Зал аплодировал, смеялся. На мокром пулемёте заиграл отблеск. Вслед за женщиной к пулемёту подошёл величавый банкир, неся тарелку с сёмгой. Цепляя вилкой красные лепестки рыбы, он клал их на ребристый кожух, на железные колёса. Солидно, с лёгкой усмешкой вернулся на место. Зал хохотал, выкрикивал слова одобрения. Мерцали вспышки айфонов. Устроитель форума директор пиар-агентства был в восторге. Веронов, отступив в сторону, благосклонно улыбался, как воспитатель, наблюдающий за играющими детьми.

Молодой менеджер, управлявший огромной торговой сетью, обмазал пулемёт красной икрой, оглядываясь на зал, чтобы убедиться, что им любуются, его затея нравится. Аналитик ведущей рейтинговой компании поднёс к пулемёту тарелку с королевскими креветками, посадил креветок на щиток, и они потешно увенчали железную кромку, как ласточки на проводах. Зал ликовал. После напряжённого делового форума его солидные участники нуждались в разрядке, в развлечении, и Веронов это развлечение им предоставил.

Дама в бриллиантах повязала пулемёту салфетку, как повязывают немощному неряшливому старику. Другая, по-видимому опустошившая не один бокал шампанского, повесила на торчащий из кожуха ствол свой перламутровый крестик и перекрестила пулемёт. И «Максим», заляпанный объедками, с несвежей салфеткой и перламутровым крестиком, казался дурацким чучелом, не пугал, а смешил.

Веронов вновь приблизился к пулемёту, жестом останавливая череду желающих накормить и напоить загробного пулемётчика.

– Господа, мы совершили магический обряд. Мы закупорили ту бездну русской истории, из которой вырвалось в своё время чудовище революции. Мы замуровали эту бездну навсегда, и больше никогда не вырвутся из неё осатанелые комиссары, больше никогда не застрекочет этот зелёный уродец, из которого кухарка Анка-пулемётчица истребляла цвет русской интеллигенции, из которого большевистские палачи расстреливали пленных офицеров в Крыму. И вам, капитанам российской экономики, лидерам российского общества, никто не помешает вести нашу Россию к процветанию!

Веронов согнулся, длинным прыжком подскочил к пулемёту, схватил рукоятки и ударил огнём и грохотом, посылая в зал разящие очереди. Пулемёт дрожал, у дула трепетал язык огня, лента извивалась, погружаясь вглубь пулемёта.

Людей срезало со столов, дробилась посуда, брызгали хрустали. Люди стонали, визжали, бежали к выходу. Падали, топтали друг друга. Какой-то тучный господин давил каблуками голую спину упавшей дамы. Летели в сторону бриллиантовые броши и колье. Дергались голые ноги чьей-то вельможной жены. У выхода громоздилась гора шевелящихся тел.

Веронов в упоении водил пулемётом, вгоняя в банкетный зал огненные клинья. Кричал сквозь грохот:

– Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Заводы – рабочим! Землю – крестьянам! Да здравствует Ленин!

Он чувствовал животный ужас зала, слышал звериные визги, ликовал, видя перевёрнутые столы, ползущих людей, разорванные пиджаки и платья. Этот ужас был ему сладок, доставлял наслаждение, он впивал его, жадно глотал, расстреливая пулемётную ленту с холостыми патронами. В нём открылась тёмная воронка, бездонная скважина, в которую всасывались страх, страдание и хаос. Он хотел, чтобы их было больше, чтобы они не кончались. Чтобы эта энергия разрушения и боли уходила в ненасытную воронку, куда падал и он сам с небывалым, неутолимимым наслаждением.

Он заметил, как среди обезумевшего зала, бегущих и падающих людей остался стоять высокий пожилой человек с седой головой, тонко улыбался, сиял голубыми восхищёнными глазами.

Лента кончилась. Пулемёт умолк. Веронов оттолкнул пулемёт. Видел, как из металлического рыльца вытекает голубая струйка порохового дыма и продолжает висеть и качаться перламутровый крестик.

Веронов стряхнул с рукава своего френча приставшие соринки и спокойно, медленно вышел через чёрный ход. Спустился на подземную парковку, уселся в «Бентли» и покатил по ночной, переливающейся алмазами Москве, оставляя позади стеклянные небоскрёбы. Он вернулся домой, в свою великолепную квартиру, в окнах которой сиял Новодевичий монастырь, похожий на волшебный ночной цветок. Небрежно разделся, разбросав по спинкам стульев одежду, и отправился в ванную, сверкавшую белизной. Сидел среди душистой пены, выставив из неё руку с айфоном, просматривал первые отклики на свою недавнюю выходку.

Интернет трепетал от восторгов, возмущался, торопился с прогнозами, предупреждал, грозил, хохотал, издевался, сквернословил и проклинал. Известие о случившемся волной бежало по социальным сетям, подобно кругам на воде, и центром, от которого разбежались круги, была фотография Веронова, прильнувшего к пулемёту. Размытое сияние вокруг ствола, падающие веером люди, оголённые женские ноги, раскрытые в ужасе рты. И страстное безумное лицо Веронова с прищуренным глазом, посылающего в толпу очереди.

Интернет бесшумно волновался, трепетал, переливался, как северное сияние, распространяя весть со скоростью света. Это трепетанье разлеталось среди бесчисленных мировых новостей, ошеломляющих, грозных, ужасных. Падали самолёты, взрывались дома, гибли под бомбами города, рушились банки, свержались режимы, прорицатели извещали о скором конце света, прекрасные женщины танцевали на карнавалах, голливудский актёр в очередной раз превращал свой развод с фотомоделлю в мировое представление, в Антарктиде от ледника отрывался айсберг и окутанный туманом, плыл в океане в поисках беспечного «Титаника».

Веронов чувствовал таинственную связь зыбкой, летящей по миру волны, которая несла весть о его сегодняшней выходке, с другими мировыми событиями. Казалось, эти события были порождены холостой стрельбой пулемёта в «Москва-Сити». Вопли ужаса, порождённые этой стрельбой,

его собственная ярость и ненависть, сокрушение самодовольного величия дельцов и банкиров, возмнивших себя повелителями России, – электронная волна со скоростью света летела по миру, замыкала контакты незримых взрывателей. Обрушивались горящие кварталы Алеппо, сходил с ума снайпер, стреляющий по мирной толпе, раскупоривалась колба с бактериями, от которых умирали в муках африканские племена.

Веронов лежал в ванной, среди сверкающего кафеля и тихого журчания воды. Выставил руку из пены, наблюдая, как с запястья к локтю медленно стекают белоснежные хлопья. Он перелистывал электронные страницы айфона, просматривая комментарии на свою «пулемётную акцию».

«Веронов, молоток! Только зря холостыми шерстил. Пришлю тебе боевые. Борьба до последнего банкира!»

«Веронов, ты красная сволочь! Такие, как ты, из пулемёта русских профессоров и священников перестреляли, а раввинов в Кремль привели. У тебя на лбу магендовид».

«Предлагаю ввести «черту оседлости» и поставить кругом пулемёты. За царя, за веру православную, за нашу Родину, огонь!»

«Как из города Бердичева, из-за той «черты оседлости» выбегали добры молодцы. Наши грады разляхося, наши храмы оскверняхося!»

«Считаю, что надо как можно скорее восстановить на Руси монархию. Это и будет всенародным покаянием, а иначе Россия погибнет».

«Попы, дворяне и царь привели Россию к гибели, отдали её масонам. А Сталин сделал Россию мировой державой. Да здравствует Сталин!»

«В том, что учинил господин Веронов, просматриваются признаки терроризма. Прокуратуре следует проверить случившееся в Москва-Сити на предмет экстремизма!»

«Господин Веронов, мы любили вас за ваши талантливые выступления по телевизору и считали вас совестью нации. Теперь же во время ваших выступлений мы будем выключать телевизор».

«Сбросить бы на вас всех атомную бомбу. И на Веронова тоже!»

Пена стекала по руке. Переливались в пузырьках крохотные радуги. И Веронов думал, не стряхнуть ли ему пену, чтоб у того, кто хотел сбросить бомбу, взорвался сосуд головного мозга, и он упал в неизлечимом инсульте.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Аркадий Петрович Веронов проснулся в своей широкой кровати, которая никогда не была для него брачным ложем. Он некоторое время лежал, открыв грудь, глядя на потолок, где в полосе бледного солнца бежали прозрачные тени машин и что-то тихо и восхитительно розовело. Новодевичий монастырь с каменными кружевами, диковинными раковинами и золотыми главами отражался в пруду, и это зыбкое отражение с плывущими лебедями проливалось в спальню.

Веронов сбросил одеяло, голый сделал несколько упражнений перед зеркалом, возвращая бодрость мышцам, пропуская упругую волну по всему своему сильному стройному телу. Набросил халат, принял холодный душ и перед тем как выпить утренний кофе, прогулялся по своей великолепной квартире.

Помимо спальни она состояла из кабинета, гостиной и столовой. В кабинете ореховый письменный стол под зелёным сукном, доставшийся ему по наследству от прадеда, с каменной плитой, на которой сиял стеклянный куб чернильницы, и в гнездах бронзовых подсвечников сохранился старинный воск. На сукне темнели пятна давнишних чернил. Здесь писал деловые бумаги прадед, отвечал на письма дед, готовила уроки мама, и он сам, не доставая ногами пола, старательно вписывал буквы в линованную тетрадь. Слышал, как дышит над его головой бабушка, умиляясь стараниям внука. Потом на этом столе, на зелёном сукне лежала мёртвая бабушка, и он сквозь слёзы видел у её головы блёклые чернильные пятна.

Гостиная была в летнем солнце. На белых стенах висели картины современных модных художников. Отрок с двумя свечами среди красных холмов. Уродливый, с каменными ногами коновал, несущий на плечах окровавленного коня. Чернобородый насуспенный кавказец, пьющий пиво. Обнажённая женщина в радужной пене. Веронов ласкающим взглядом осмотрел картины, вспоминая лица художников, вернисажи, выставки, бражное веселье богемы.

На диване лежали иранские, шитые шелками подушки. На длинной полке стояли кальяны. Их разноцветные флаконы и тонкие шеи напоминали стеклянных птиц, в каждой мерцало зелёное, красное, золотистое солнце. Вся стеклянная стая была готова взлететь.

Веронов подошёл к окну и с обожанием смотрел на монастырь, на его изысканные женственные главы, бело-розовую колокольню, солнечную поверхность пруда, по которому плыли лебеди, оставляя длинные следы стеклореза. И, откликаясь на его обожание, в монастыре зазвонили, и рокочущий колокольный звук наполнил гостиную.

Пришла работница Анна Васильевна, чтобы напоить его кофе и убрать квартиру. Стареющая, со следами увядшей красоты вдова генерала, которую Веронов называл помощницей, уважая её вдовство, ценя её деликатность и умение готовить.

Анна Васильевна принесла из почтового ящика утренние газеты, и Веронов, в халате, пил кофе с гренками и просматривал их. И в каждой – в «Коммерсанте», в «РБК-дейли», в «Ведомостях» – были сообщения о его вчерашней «пулемётной выходке» и приводилась одна и та же фотография, снятая на айфон кем-то из ошеломлённых гостей. Стреляющий пулемёт с маленьким факелом у ствола, и Веронов с диким лицом, сжимая рукоятки, ведёт пулемётом по залу.

«Коммерсант» писал: «Учинённое нашим прославленным художником господином Вероновым действие в банкетном зале «Москва – Сити» вполне сравнимо с террористическим актом и может послужить поводом для прокурорского расследования. Террористическому нападению с помощью эстетических средств был подвергнут цвет российской финансовой, промышленной и политической элиты. Результаты этого нападения несомненно скажутся на финансовом рынке, на поведении акций, приведут к непредсказуемым всплескам во внутренней и внешней политике».

Газета «РБК-дейли» отмечала: «Пулемёт, из которого Аркадий Веронов обстрелял холостыми патронами представителей российской элиты, дал понять, что пропасть, разделяющая миллиардеров и нищий народ, легко преодолима с помощью справедливого распределения боевых патронов между пулемётчиками из числа народных мстителей».

«Ведомости» писали: «Напрасно полагают, что искусство отступило на дальнюю периферию общественной жизни. Мы получили свидетельство того, как новейшая эстетика вторгается в самые закрытые сферы и производит там разрушительное действие. Искусство мстит за годы своего отлучения и берёт реванш, оповещая о себе не стихотворными строчками, а пулемётными очередями».

Веронов пил кофе, перелистывая газеты, довольный результатом вчерашнего перформанса, эхо которого продолжало лететь по миру.

Работница Анна Васильевна, деликатно отойдя от стола, не мешала Веронову просматривать газеты. Но когда он отложил газеты в сторону, приблизилась и спросила:

– Вы меня извините, Аркадий Петрович, но я давно собиралась Вас спросить. В чём состоит ваше искусство? Я знаю, есть художники, которые рисуют картины. Есть поэты, которые пишут стихи. Музыканты, которые сочиняют музыку. А у Вас в руках нет ни кисти, ни смычка. Вы как бы фокусник, правильно я понимаю?

Веронов улыбался, разглядывая её полное лицо с утончённым носом и красивыми губами, над которыми начинала собираться гармошка морщин:

– Видите ли, дорогая Анна Васильевна, творческий акт вызывает у зрителя прилив эмоций. И для этого вовсе не обязательно писать картину или водить смычком. Например, – он схватил чашку с недопитым кофе и плеснул на белую, с шёлковым шитьём скатерть. Анна Васильевна вскрикнула, отшатнулась от чёрного, измаравшего скатерть пятна. Веронов смеялся, глядя на её испуганное, помолодевшее от испуга лицо. На этом лице на мгновение вспыхнула увядшая красота и женственность.

– Вот видите, Анна Васильевна. Моё искусство подействовало на Вас сильнее любой картины.

После кофе он удалился в гостиную, улёгся на диван среди персидских подушек и принимал утренние звонки, которые нарастали волной по мере того, как оживал интернет, являлись на работу жадные до новостей журналисты.

Всех интересовало вчерашнее происшествие в «Москва-Сити». Требовали подробностей, искали символические смыслы, просили уведомить о следующих акциях. Веронов сначала отвечал увлечённо, шутил, дурачился, пугал. Потом ему наскучили однообразные вопросы. Он выключил звук телефона и только поглядывал на мерцанье экрана и вспыхивающие номера. Один из номеров по-

казался ему необычным. В нём подряд следовали четыре «семёрки». Такой телефонный номер мог принадлежать исключительной персоне, и Веронов взял трубку.

– Господин Веронов? Меня зовут Янгес Илья Фернандович. Я директор английского инвестиционного банка, работающего в России. Вчера я был участником банкета, который был расстрелян Вами из пулемёта «Максим». Хотел Вам сказать, что это было великолепно.

Голос говорившего был властный, рокошущий, с легчайшей иронией, которую мог позволить себе сильный, влиятельный, сведущий человек, не принимавший всерьёз поступки людей, ибо знал истинную природу их побуждений.

– Я бы хотел увидеться с Вами и познакомиться.

Веронов вспомнил, как среди бегущей, падающей и стенающей толпы оставался стоять высокий седовласый господин с тонкой усмешкой и восторженными голубыми глазами. Он с восхищением следил за обезумевшим залом, и Веронов хлестнул по нему очередь, а тот в ответ поклонился.

– Если Вам позволяет время, приглашаю вас к себе.

– Где Вы находитесь? – Веронов уловил легчайший трепет, словно колыхнулось пространство, и время едва заметно изменило свой бег.

– Новинский бульвар. Бизнес-центр. Компания «Лемур». Пропуск уже заказан.

В бизнес-центре бесшумно скользили лифты. На медных досках значились имена компаний и корпораций. Лощёные клерки с одинаковыми лицами и причёсками, в белых рубашках и тёмных пиджаках мелькали на мгновение и исчезали среди блеска, словно проходили сквозь стены. Молодые женщины, похожие одна на другую, – стройные ноги, короткие юбки, высокие каблуки, – несли куда-то лёгкие папочки или выглядывали из-за стоек в приёмных, окружённые компьютерами и телефонами. Всё пространство тихо шелестело, нежно позванивало, переливалось.

Веронов отыскал медную доску с гравированной надписью «Лемур» и ушастым пучеглазым зверьком, растопырившим когти. Секретарша за стойкой очаровательно улыбнулась сиреневыми губами:

– Аркадий Петрович, Вас ждут.

Кабинет, куда он ступил, был огромный, весь белый, сияющий, с просторным окном, за которым мягко рокотало Садовое кольцо. Посреди кабинета стоял загорелый немолодой человек с белыми, отливавшими синевой волосами.

– Янгес Илья Фернандович. Когда Вы полоснули по мне пулемётом, в ленте среди холостых оказался один боевой патрон. Его пуля просвистела у моего виска и пробила стекло. Вот, посмотрите.

Янгес протянул Веронову снимок, на котором виднелось пулевое отверстие в оконном стекле с паутинками трещин, за которыми туманилась огненная панорама Москвы.

– Не волнуйтесь, к Вам не будет претензий. Я оплатил ущерб.

– Как среди холостых патронов мог оказаться один боевой?

– Не исключаю, что это была не пуля, а Ваша неистовая воля, способная на расстоянии сбивать самолёты. – Янгес рассмеялся, за руку дружелюбно подвёл Веронова к дивану и усадил. Очаровательная секретарша уже разливала в узорные чашечки душистый чай, ставила вазочки с восточными сладостями.

– Попробуйте чай. Он заварен на травах, которые я сам собирал в Тибете.

– Вы изучали с монахами тибетские практики?

– Они, как и Вы, взглядом сбивают птиц.

Веронов делал маленькие глотки, чувствуя душистую горечь, которую сообщали чаю жёлтые цветочки, что растут у подножья каменных Будд. Ждал, когда хозяин кабинета объяснит смысл их встречи.

– Я слежу за вашим творчеством, Аркадий Петрович, по публикациям в художественных журналах, читаю статьи арткритиков. На некоторых Ваших выступлениях присутствовал лично, как, например, вчера. Перформансы, которые Вы устраиваете, имеют далеко идущие последствия. Вы ходят далеко за пределы студий и галерей, где они совершаются.

– Что Вы имеете в виду? – Веронов рассматривал собеседника, стараясь понять, что этот господин с характерным лицом банкира находит в его эстетских, часто скандальных представлениях, столь далёких от банковских счетов и валютных бирж.

– В Норильске я был по делам службы и присутствовал в Доме культуры на Вашем представле-

нии. На улице был чудовищный мороз, звёзды, как раскалённая сталь. Кругом тундра, тьма. В зале простуженные, угрюмые лица. И вдруг Вы совершаете чудо. Занавес падает, и на сцене живая, ярко зелёная, благоухающая трава, и на этой траве стоит прелестная обнажённая женщина с распущенными волосами. Какое было потрясение в зале!

– Действительно, было много оваций.

– Но я провёл исследование и выяснил: после Вашего действия в городе резко упало число психических расстройств, и на десять процентов увеличилась рождаемость.

– В самом деле? Так далеко мои арткритики не заглядывали.

– Но вот другое Ваше представление, в Петербурге. Тогда на длинную доску Вы положили огромного живого осетра. Рыбина сначала билась, танцевала на голове. Всё тише, тише. Замирала, ей не хватало воздуха. Она шлёпала красными жабрами, вздрагивала плавниками. Было видно, как она мучается. Как меняется цвет её тела, от бело-серебристого до тускло-фиолетового. Люди неотрывно смотрели, и казалось, они сами умирают вместе с рыбиной. И когда она умерла, все разошлись, обессиленные.

– Да, быть может, это было жестоко по отношению к рыбе, но публика была околдована и лишилась сил. В этом был эстетический эффект перформанса.

– Но через неделю начались знаменитые лесные пожары, когда горела вся Россия, сгорали села, огонь врвался в города, от дыма тускнело солнце, и множество людей умерло от удушья. Это природа мстила за убийство рыбы. Вы казнили Царь-рыбу, и природа решила сжечь себя и всех нас. Это Вы подожгли леса.

– Вы серьёзно так думаете?

– Я убеждён. Вы своими художественными действиями умеете извлекать бурю эмоций и подчиняете эти эмоции целенаправленной воле. Эта воля двигает эмоции в окружающий мир, и там рождаются непредсказуемые последствия. Ваш перформанс не кончается студией или залом, а имеет продолжение в окружающем мире. Ваш перформанс есть детонатор невидимых взрывов.

– Вы хотите сказать, что вчерашняя злая шутка с «Максимом» имела другие последствия, кроме разбитых бокалов, толкотни и женских задранных ног?

– Сегодня ночью взорвалось газохранилище в Липецкой области. Взрывом уничтожена промзона площадью в десять гектар, погибло шестнадцать человек и нарушено железнодорожное сообщение. Газохранилище принадлежало одному из участников банкета.

Янгес взял пульт, включил телевизор, и Веронов увидел мутный дым, огромные всполохи, развороченные конструкции, пожарных, бегущих в огне, и машины «скорой помощи», в которые заталкивают носилки, покрытые брезентом.

– Это всё сделал я?

Веронову вдруг захотелось подняться и, не прощаясь, уйти. Но он остался сидеть, остановленный лемурыми цветными глазами, замороженный колдовским бархатным голосом.

– Я уверен, – продолжал Янгес, чуть усмехнувшись, словно угадал происходящую в душе Веронова борьбу и торжествовал свою победу. – Уверен, что взрыв в Чернобыле случился после того, как кто-то на потеху зрителям заколол невинного бычка. Ужас бычка, сладострастное возбуждение зрителей, направляемые беспощадной волей мясника, который был по-своему художником, этот волевой импульс достиг реактора и взорвал его. Это был диверсионный акт абсолютно нового типа. Диверсия, совершённая художником.

Веронову показалось, что его лизнул ледяной сквознячок. В кабинете было тепло. За окнами сияло солнце. Но сквознячок коснулся его, словно где-то приоткрылся погреб, пахло ледяной промозглой сыростью.

Веронов оглядел кабинет. Пол был гладкий и чистый, не предполагал подполья. И Веронов вдруг понял, что сквознячок сочится в нём самом, из невидимой щели, которая ведёт в бездонное, находящееся под сердцем подполье.

– Скажу Вам больше, Аркадий Петрович. Советский Союз был разрушен художниками. Без пуль, без вторжений, без военных переворотов. В Советский Союз, по тайной договоренности Вашего и американского президентов во время их встречи в Рейкьявике, приехало несколько выдающихся мастеров перформанса. И они в течение четырёх лет перестройки совершали свои акции, нанося глубинные травмы общественному сознанию, в котором с каждой акцией умирали представления о

величии государства. О несокрушимости армии. О всеведении спецслужб. О мощи промышленности. О героической истории. О доблестных героях. О гениальных писателях и музыкантах. Каждый перформанс наносил удар по одному из столпов государства. И когда последний столп рухнул, когда состоялся заключительный грандиозный перформанс – введение танков в Москву, убийство трёх демонстрантов, сокрушение памятников, – когда это грандиозное зрелище совершилось, пало государство. Недаром в Священном Писании сказано: «Дело рук художника ненавижу».

Веронов желал понять, не смеются ли над ним, не является ли сидящий перед ним человек фантазёром, которые водятся в артистической среде и своими фантазиями расцвечивают и украшают общение. Но Янгес, хотя и улыбался, но улыбка его была жестокой и хищной.

– Почему Вы меня пригласили? – спросил Веронов. – Я не взрывал Чернобыль.

– Я хочу предложить Вам проект. Художественный, но и не только. Мы испытаем с Вами новое оружие. Вы – оружейник, Вы и оружие.

– Я просто художник, мастер перформанса, искусства, которое интересует очень узкую прослойку и абсолютно не интересует власть. Власть сослала художников в самые тёмные глухие углы общества и забыла о них. Мы все – отшельники культуры.

– Это и важно. Вы отомстите власти за унижения, за несправедливую опалу и ссылку. Вас не видят, вы вдалеке от Кремля, генерального штаба, президента. Вы в чулане. Но из своего чулана, из потаённого убежища вы наносите удары сокрушительной силы. И от ваших ударов загораются леса, взрываются газохранилища, шатается свод Государства Российского. Вас нельзя обнаружить, вы неуязвимы. Но после ваших камерных представлений падают самолёты и происходят массовые беспорядки. Давайте встряхнём Россию?

– Вы так не любите Россию?

Янгес встал и, глядя в дальний угол кабинета, перекрестился. Веронов увидел среди белизны мерцающий маленький образ в цветных переливах, как и глаза Янгеса.

– Я люблю Россию больше, чем кто-либо. Россия – душа мира. Дом Богородицы. Россия соединяет небо и землю. Из России колодцы уходят прямо в небо, в Царствие небесное, и всё человечество пьёт воду из чаши, которую подносит народам Россия. Мир смотрит на Россию и ждёт, когда она произнесёт своё сокровенное Слово Жизни, которое спасёт род людской. Все волшебные русские сказки, все великие философы и писатели, все революционеры и космисты слышали это небесное Слово и стремились обратиться с ним к людям. И все русские муки, все дыбы и плахи, все небывалые мучения побуждают сегодня Россию произнести это желанное Слово.

Янгес говорил вдохновенно, с глубоким волнением и верой. Глаза его увлажнились, и казалось, вот-вот из них потекут разноцветные слёзы.

– Но это Слово не может пробиться сквозь хаос и шум, которые сегодня наполняют русскую жизнь. Мы хотим услышать великую русскую симфонию, а слышим визги, скрежеты, отвратительные крысиные пiski и собачьи хрипы. Там «красные», там «белые». Там монархисты, там революционеры. Те за Ленина, те за Сталина. А те за Колчака и Деникина. Мусульмане стекаются в свои мечети и мечтают об ИГИЛ. Евреи в синагогах мечтают о Второй Хазарии. Русские в церквях молятся о государе-императоре. Шаманы выходят на капища и выкликают Большую белую сущность. Патриоты, либералы. Никониане, язычники. Всё это смешивается, дерётся, готово схватиться в смертельной войне. Надо встряхнуть Россию. Чтобы весь этот сор опал. Чтобы ржавчина осыпалась. Чтобы грубая мазня исчезла, и под ней открылся подлинный дивный лик. И Россия, наконец, произнесла своё вещее Слово Жизни.

Веронову казалось, что он стоит на прозрачном тончайшем льду в отблесках солнца, а под хрупким стеклом чернеет бездонная глубина, куда он провалится. И от этого было сладко и было ужасно, и этот ужас был упоителен, и эта тёмная бездна таилась в глубине его собственной души, и хотелось упасть в неё и лететь в этой крошечной упоительной тьме, из которой он когда-то вышел на свет, был поставлен на хрупкий прозрачный лёд, готовый распасться.

– В чём ваш проект? – слабым голосом спросил Веронов.

Янгес мгновенно остыл. Голос его утратил слёзную дрожь. Глаза высохли и переливались холодным блеском.

– Я открываю Вам счёт в банке. Не ограниченный. Даю Вам задания, присылаю по электронной почте наименование объектов, которые Вам надлежит взорвать. Конечно, фигурально, никакого

терроризма. Хотя, если угодно, речь идёт об испытании нового оружия. Это оружие – Вы, Аркадий Петрович. Сокрушая очередную моральную твердыню, Вы вызываете вихрь, который производит невероятные разрушения на огромном от Вас удалении. Эти разрушения копятя, Ваши эмоциональные удары учащаются и в итоге приводят к желаемой встряске. Россия вздрагивает. Ржавчина опадает, окалина осыпается. И Русская Мечта начинает сверкать в своей волшебной красоте. Вы меня поняли, Аркадий Петрович?

Веронов вдруг испытал удивительную лёгкость, освобождение, счастливое веселье. Он кудесник, обладатель волшебных искусств. Он будет разрушать запретные табу, срывать пломбы с запечатанных сундуков, где заперты стихии. И эти стихии по его повелению вырвутся на волю и своей свежестью, нерастратченной силой омолодят ветхий мир, очистят Россию от скверны.

– А что, если я, разрушая все заповеди, все запреты, отрицая все нормы и правила приличия, схвачу Вас за нос? – спросил Веронов.

– Можете это сделать, Аркадий Петрович. Но Вы этим ничего не добьётесь, как если бы Вы схватили за нос себя самого. Мы с Вами одно и то же.

Они посмотрели один на другого и рассмеялись. Веронов, прощаясь с хозяином белоснежного кабинета, вновь почувствовал ледяной сквознячок, который лизнул ему сердце.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Янгес не замедлил о себе напомнить уже в тот же вечер. Раздался телефонный звонок, и вежливый, слегка грассирующий голос произнёс:

– Аркадий Петрович? Ваш телефон мне дал Илья Фернандович. Он сказал, что я могу к Вам обратиться.

Это лёгкое грассирование и доставшаяся от прежних еврейских поколений печальная интонация позволили Веронову тут же создать портрет собеседника. Голый бледный череп с зачёсами седых волос на висках. Заострённый, книзу опущенный нос с голубой жилкой. Большие влажные, чуть навывкате грустные глаза с серыми мешочками.

– Я слушаю Вас.

– Меня зовут Исаак Моисеевич. Я исполнительный секретарь общества «Мемориал». Илья Фернандович сказал, что я могу к Вам обратиться. А для нас Илья Фернандович является большим авторитетом.

– В чём Ваша просьба?

– Илья Фернандович сообщил, что в Вашем роду есть репрессированные родственники. Он сообщил, что Ваш прадедушка был расстрелян по делу «Промпартии». Что две Ваши двоюродные бабушки были сосланы в ГУЛАг, в Красноярский край, а потом отбывали ссылку на Урале. Что ещё один Ваш дедушка отбывал срок в Каргополе. Так ли я говорю?

Веронов был уязвлен осведомленностью неизвестного человека, который вторгся в сокровенное прошлое его рода и бесцеремонно ворошил это прошлое.

– Откуда у Вас такие сведения? Ведь, согласитесь, не каждому по нраву, когда кто-то с неясной целью теребит ваши родовые предания.

– Вы не должны гневаться, Аркадий Петрович. Судьбы ваших репрессированных родственников складываются с миллионами других репрессированных и не являются только Вашим родовым прошлым, а являются нашим общим прошлым, прошлым нашей страны. У нас в «Мемориале» есть картотека, где значатся имена и судьбы всех невинно пострадавших от сталинского произвола.

– Допустим. Но зачем я Вам понадобился?

– Видите ли, Аркадий Петрович, мы завтра проводим расширенное собрание, на котором хотим выступить с некоторыми инициативами, направленными на оздоровление нашего общества, в котором некоторые силы возвеличивают Сталина и оправдывают совершенные им злодеяния. Это прокладывает дорогу для новых возможных репрессий. Мы хотим предупредить общество об этой опасности.

– Но при чём здесь я?

– Илья Фернандович сообщил нам, что Вы замечательный оратор и известный человек. Мы приглашаем Вас выступить на нашем собрании, которое состоится завтра в Библиотеке Иностранной литературы.

Веронов раздумывал, стоит ли ему продолжать разговор. Но вдруг понял, что Янгес, этот загадочный маг, с которым он вступил в опасный и увлекательный сговор, даёт ему повод совершить перформанс. Силой искусства извлечь из омертвевшей материи импульс энергии, способной расшатать окостенелую жизнь.

– Что ж, я согласен. Мне есть что сказать.

Его предки, деды и прадеды, расстрелянные, погибшие на этапах, измученные в лагерях, вызывали в нём не страдание, а недоумение, как необъяснённая причина. За что? Почему? В какой связи с его собственной жизнью? Он отодвигал их в туманное прошлое, в фамильные альбомы с их лицами, с их вопрошающими глазами, перед которыми робел и от которых отворачивался. Вокруг ревели страсти, истощные сталинисты воспевали своего кумира, поборники либеральных свобод ненавидели палача с бриллиантовой Звездой Победы.

Всё кругом мучилось, корчилось, не умело отрешиться от прошлого, не хотело заглянуть в будущее. Зрел пузырь, один из многих, который Веронов хотел проткнуть. И он стал готовиться к перформансу, стал искать иглу, которой проткнёт пузырь.

Утром, отправляясь в собрание «Мемориала», он катил на своём уважаемом «Бентли» по набережной, в струящемся блеске. Наслаждался зрелищем близкой реки, белыми речными трамвайчиками, зелёной кущей Нескучного сада, серебристой арфой Крымского моста. На заднем сиденье, обёрнутый в холст, таился сюрприз, с которым он выйдет к собранию. И никто, ни одна душа, не должны угадать, что скрывается под свежей холщовой тканью.

Впереди нежно и восхитительно заалел Кремль, породив сладостное головокружение, которое он испытывал с самого детства, когда Кремль румянился в синем морозном воздухе или таинственно плыл в осеннем дожде, или в праздничном пасхальном ликовании парил над рекой с белоснежными дворами и храмами, с лучистым золотом своих куполов. Веронов смотрел на Кремль, словно вдыхал аромат таинственного цветка, которым одарила его Москва. Но поведа глазами в сторону, испытал внезапную тяжесть, словно сумрачная туча заслонила недавнюю солнечность. Этой тучей был Дом на набережной, огромные, пепельно-серые сдвинутые кубы, вызывавшие тайную тоску, мутную тревогу, какая охватывает при виде крематория. Дом был задуман как символ мрачного беспощадного господства победивших революционеров над проигравшей монархией. Нависал над Кремлём, ложился на него могильной плитой, топтал его кресты, дворцы и соборы. В него заселилось первое поколение победивших комиссаров, из окон своих квартир наблюдавших поверженную Россию.

Их торжество продолжалось недолго. Сюда один за другим подкатывали ночные «воронки», и недавних властителей поднимали из тёплых постелей и везли на Лубянку, где им ломали кости и расстреливали в глухих подвалах. Их детей и жён высылали в далёкую Сибирь, а их квартиры заселяли офицеры НКВД. Развешивали на стенах портреты вождя, любовались рубиновыми кремлёвскими звёздами, сознавая себя гвардией Сталина, «орденом меченосцев», чей меч продолжал свистеть, выкашивая ряды истинных или мнимых заговорщиков. Когда рухнула империя НКВД, и главные опричники Сталина были расстреляны или сосланы, в пустые квартиры вселились партийные руководители, их сытые простоволосые жёны, новая знать, уставшая от бремени сталинских новостроек и расстрелов. Теперь Кремль был их, как кремовый торт, которым они лакомились, выковыривая и обсасывая золотые ягодки куполов. И так продолжалось все тучные годы, когда медленно, липко сползал оползень прокисшего государства, и в роковую ночь из Москвы улетели все красные духи, оставив столицу на истребление загадочным нетопырям и остроклювым грифам, которые долгие годы таились в глухих проёмах кремлёвских колоколен и звонниц. Дом на набережной заселили разбитные торговцы, ловкие спекулянты, устраивая свои пиры с видом на Кремль, учиняя оргии под визгливую восточную музыку, с танцами на столах голых красавиц. И Кремль молчаливо наблюдал, как светятся окна в чудовищном доме, и из окон выпадает очередная красавица. Эти временные обитатели Дома, заселившие его не по чину, постепенно убрали загаженные квартиры, отремонтировали их с невиданной роскошью, заставили антикварной мебелью, развесили хрустальные люстры, и в них вселились главы концернов, иерархи церкви, банкиры и звёзды эстрады. В квартире, где когда-то жил комиссар в пенсне с еврейской бородкой, отдававший приказ о расстреле священников, теперь поселился епископ, молящийся по утрам на кремлёвские кресты, мечтающий срезать с кремлёвских башен рубиновые сатанинские звёзды.

Веронов проезжал Дом на набережной, похожий на огромный кусок антрацита, и гадал, кто следующий поселится в Доме в очередную годину русской беды.

Он доехал до высотного здания, свернул на Язу и оказался возле библиотеки. Оставил машину на парковке. Дал пяти тысячную купюру двум служителям, чтобы те перенесли его сюрприз в здание библиотеки, но так, чтобы ни одна душа не заглянула под холст. У входа его встретил Исаак Моисеевич, чью внешность с поразительной точностью угадал Веронов. Лысый желтоватый череп. Два пышных седых зачёса на висках. Деловитый опущенный нос с голубой жилкой. Печальные глаза, в которых, казалось, дрожала вековечная слеза.

– Вам будет предоставлено слово, Аркадий Петрович. У всех у нас разбитые сердца, и я вижу, что и у Вас оно разбито. Проходите в зал заседаний.

Здесь былолюдно, шумно. Люди перемещались, взмахивали руками, громко говорили. Напоминали стаю грачей, оправляли перья, чистили клювы, готовые сняться и полететь дальше, исчезая тёмными метинами на вечерней заре. Среди них было мало молодых. Мужчины и женщины были скромно, даже бедно одеты. По виду мелкие служащие, учителя, библиотекари, общественные деятели средней руки. Среди них Веронов заметил известную правозащитницу, до того ветхую, что она сидела, опираясь на палку, в нелепом чепце, с неопрятными волосами. Нелепо выделялся полный казак, затянутый в синий мундир с эполетами и георгиевскими крестами. Виднелись телекамеры. Наконец, все расселись и понемногу утихли. Исаак Моисеевич занял место в президиуме, постукивая пальцем по стакану, призывал к тишине.

– Объявляю наше внеочередное собрание «Мемориала» открытым. Очень тревожно на сердце, когда видишь, как вновь поднимают из могилы Сталина. Ставят ему памятники, прославляют по радио и телевидению. Забыли, какой он кровавый изверг, и нас готовят ко второму пришествию Сталина. Мы, общество «Мемориал», должны обратиться к народу, к власти, к президенту с предупреждением о грозящей опасности. С призывом провести десталинизацию, как она проводилась в годы Хрущёва и Горбачёва, и вырвать корень сталинизма из нашей русской почвы.

Исаак Моисеевич обвёл зал тревожными глазами, желая убедиться, что призыв его услышан. Из зала раздалось несколько возгласов:

- Президент сам из КГБ, он сталинист!
- Надо не просить, а требовать! Именем всех расстрелянных!
- Любо! – ухнул, как филин, казак и умолк, втянул голову в плечи.

Веронов чувствовал возбуждение зала, нетерпеливые волны возмущения, страдания, закипающей ярости. Пузырь взбухал. Сюрприз, который Веронов приготовил для зала, стоял у стены, укрытый холстом.

Исаак Моисеевич высматривал в зале наиболее активных, указывал пальцем:

- Вы хотели сказать, Софья Львовна! Вы поднимали руку!

Из зала на сцену пошла невысокая, хрупкая женщина в поношенной кофте, с седой головой. Её движения были порывисты, словно она вырывалась из чьих-то цепких объятий. У неё был большой розовый зуб, перевитый синей веной. Когда она стала говорить, зуб начал краснеть, наливаясь, и жила пульсировала, готовая лопнуть.

– Вы знаете, мой дедушка Франц Генрихович Беркович был адъютантом у Уборевича. Он воевал за эту власть в Бессарабии, в Туркестане с басмачами. Он был награждён орденами, красный командир. Его арестовали по делу Уборевича. Его голого ставили в яму с ледяной водой, чтобы он дал показания на Уборевича. У него ноги стали синие, и в них завелись черви. Его расстреляли по личному приказу Сталина. Я узнала имя следователя, который выбивал показания. Мартынов Фёдор Иванович. Так пусть же дети и внуки этого Мартынова поедут к той яме и упадут на колени, станут вымаливать прощение. Я бы хотела заглянуть в их глаза, чтобы в этих глазах шевелились черви, которые завелись в ногах моего деда. Пусть на каждом доме, где жил палач, висит знак: «Здесь жил сталинский изверг. Люди, плюньте на порог этого дома!»

Её зуб казался огромным красным корнеплодом, выросшем на шее. Голос клекотал, обрывался, и она была готова упасть со сцены. Её подхватили и усадили на место. Раздавались возгласы:

- Всех палачей-сталинистов заочно судить!
- Бирку на дом: «Здесь жил палач»!
- Вырыть их из могил вместе со Сталиным!

– Любо! – ухнул казак и замер, втянул голову в тучные, с эполетами, плечи.

– Вот Вы, Вы, Николай Нестерович! Вы хотели сказать! – Исаак Моисеевич указал пальцем в зал.

На сцену пошёл худой старичок в клетчатом пиджаке с кожаными подлокотниками, какие бывают у бухгалтеров. Он шёл и оглядывался, словно его кто-то окликал. У него был седой хохолок и белые губы.

– Вы знаете, я художник и скульптор. Внучатый племянник Андрея Андреевича Филимонова, который рисовал декорации к спектаклям Мейерхольда. Вместе с ним был арестован, сослан на лесоповал. Там на людей наваливали огромные стволы и заставляли тащить на себе из леса к железной дороге. Мой дедушка надорвался и умер прямо в лесу. Я создаю памятник жертвам сталинизма, чтобы такие памятники стояли во всех городах, напоминали о невинных жертвах. Один мой памятник изображает изнурённого зэка на подгибающихся ногах, а на нём огромное тупое бревно, которое его давит. Другая скульптура изображает Сталина, лежащего на земле, как поверженный дракон, в чешуе и с хвостом, и ангел всаживает в него отточенный осиновый кол. Я бы хотел, чтобы убрали скульптуру Рабочего и Колхозницы, символ торжествующего сталинизма. И на этом месте поставили мой памятник. Прошу вас, поддержите мои проекты. Пусть Министерство культуры даст денег!

Его поддерживали:

– Предлагаю всем подняться, походи к кремлёвской стене и всади кол в могилу Сталина, чтобы тот никогда не поднялся!

– Прямо сейчас начнём собирать деньги!

Старичок, взволнованный, возвращался на место. Его хохолок победно трепетал. Губы порозовели.

Веронов слушал выступления, в которых тоскливые воспоминания мешались с гневными всплесками, с требованием возмездия, с тоскливыми, как плачи, упованиями. За каждым выступающим стояли убиенные, замученные, сгинувшие бесследно в сибирской тайге, в тундре Салехарда, в горючих песках Караганды, во льдах Магадана. Они наполняли зал бестелесными телами, пустыми глазницами, открытыми беззубыми ртами. Их становилось всё больше. Их не пускали стены. Веронов чувствовал лицом хлопки ветра, который поднимали их пролетающие души. Все, кто выступал, казались ущербными, с отклонениями, смещёнными осями симметрии, словно им передавались через поколения переломы, травмы и помешательства тех, кого вели на расстрел, кидали во рвы их недобитые трепещущие тела.

– Мы должны поддержать инициативу «Бессмертный барак», – говорил огромного роста человек в чёрном потёртом пиджаке и неправильно застегнутой рубашке. На его бледном лице синели подглазья, ноздри орлиного носа были полны волос, голос был каркающий, кашляющий, словно в горле застряла кость. – Достанем из альбомов фотографии наших репрессированных родственников и понесём в многомиллионной колонне. По всем городам, по всем деревням! По Красной площади, мимо могилы душегуба, чтобы она зашевелилась, и земля выдавила из себя проклятые кости.

– И пусть президент возглавит колонну! Мы узнаем, с кем он, с народом или с палачами!

– День плача! Как холокост!

– Нет сталинизму!

– Любо! Любо! – ухал казак, сжимая в воздухе огромные кулаки.

– Дорогие товарищи, – успокаивал зал Исаак Моисеевич. – Я хочу предоставить слово нашему новому члену, которого порекомендовал наш замечательный спонсор Илья Фернандович Янгес. Это известный художник и общественный деятель Аркадий Петрович Веронов. Он будет продвигать идеи «Мемориала» своим искусством. Пожалуйста, Аркадий Петрович! – Исаак Моисеевич постукал ногтем о стакан, призывая к тишине.

Веронов подхватил свой свёрток, вышел на сцену, установил сюрприз на столе, бережно поправил холст. Стоял бледный, статный, в чёрном сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, похожий на факира:

– Дорогие братья, да, да, братья! Потому что все мы входим в скорбное братство, скреплённое слезами мучеников, кровью невинно убиенных. Наш с вами священный долг – сберечь эту горькую родовую память, не давать ей увянуть, не позволить жестоким и бессердечным людям предать эту память забвению. Моя двоюродная прабабушка была историком, раскапывала Помпеи и кончила

свои дни в лагере под Красноярском, где умерла от цинги. Мой двоюродный прадед был прекрасным инженером, и его арестовали, лили ему на голову нечистоты, и он умер от разрыва сердца. Половина моего рода бежала за границу от большевицкой тирании, а другая осталась здесь и погибла в тюрьмах и лагерях.

Зал слушал его с сочувствием, раздавались вздохи, стоны сострадания. Веронов чувствовал, как утончается плёнка между ним и залом, и по ту сторону невидимой плёнки взбухает пузырь. Сердце его сладко замирало от предчувствия, от таинственной музыки, которая наполняла его голос певучестью.

– Наша память делает нас бесстрашными, не даёт сомкнуться над нашими головами злу. Мы собрались сюда, чтобы восстановить величие, солнечную победную красоту, пропеть хвалу неповторимому и бессмертному. – Веронов замер, чувствуя, как натянулась и дрожит протянутая через мирозданье струна. Повернулся к установленному на столе предмету, укрытому холстом. Схватил и, сдёргивая холст, задыхаясь, страстно захлебываясь, крикнул: – Слава товарищу Сталину!

Сдёргнул холст, и огромная икона полыхнула золотым и алым, плеснула в зал своим огненным светом.

На золотом поле, среди ангелов, в рост, в белом кителе, с бриллиантовой звездой Победы, стоял генералиссимус. Над его головой пылал ослепительный нимб.

Икона, как прожектор, светила в зал, испепеляя его. Веронов чувствовал ужас зала, гибнущие в страдании души, меркнущие от кошмара рассудки. Он куда-то проваливался, куда-то летел, в бархатную бездонную тьму. В сладчайшем падении испытывал несравненное наслаждение, неизъяснимое блаженство, в которое превращались мучительные крики толпы, слёзные стенания, хрипы ужаса.

Он видел, как отшатнувшаяся женщина с зобом закрывает локтем лицо, словно ей выжигали глаза. Как застыл с пустым, без дыхания ртом мужчина с хохолком, превращённый в камень. Как тучный казак съехал с кресла вниз и блестел одним эполетом. Весь мир вокруг бурлил, сотрясался. Шевелились кости в расстрельных рвах. Взбухали безвестные могилы в песках и тундрах. И его прадед в мундире горного инженера бежал по воздуху, беззвучно крича.

Веронов видел всё это, испытывая сладкий ожог в паху. Улыбаясь длинной волчьей улыбкой, покинул зал и вышел, никем не преследуемый.

Сел в «Бентли» и покатил в московском воздухе, в котором, казалось, пламенели лучи краснозолотой иконы.

Весь день Веронов испытывал счастливое вдохновение. Чувствовал молодую свежесть. Вся его плоть веселилась, смеялась. Тело порозовело, как у юноши, словно он принял радоновые ванны. Всё то страдание и ужас, что исторгали потрясённые люди, преобразились для него в ликующую энергию, какая бывает при омоложении. Пропасть, куда он проваливался под вопли и стоны, была упоительной, свободное падение порождало счастье, и на дне этой пропасти что-то мерцало, драгоценно вспыхивало, манило, будто там, на огромном удалении, находился бриллиант. И хотелось слиться с этим бриллиантом, испытать небывалое блаженство.

Он лежал на диване, среди разноцветных кальянов, которые шествовали один за другим, как экзотические птицы. Интернет бушевал. Порождённая Вероновым буря летела от сайта к сайту. Её разносили буйные блогеры, подхватывали остряки. Веронова проклинали, грозили судом. Им восхищались. Приводили отрывки текстов о раскулаченных крестьянах, расстрелянных маршалах, убитых режиссёрах и академиках.

«Будь проклят ты, сталинский ублюдок! Тебе гореть в аду». «Сталин – не человек, а скорость света. А его невозможно остановить». «Давайте задумаемся, проведём спокойную дискуссию: «Кто для России Сталин?». «Мало вас Сталин стрелял! Жаль, не дострелял». «Сталин – кровавый карлик, который съел сердце России». «А вы все жида вонючие!»

И множество фотографий иконы с генералиссимусом и золотым нимбом.

Волны, порождённые его эксцентрической выходкой, расходились по интернету. Вибрация расстроенного мира накладывалась на другие вибрации, одна волна проникала в другую, их сложение меняло зыбкое пульсирующее поле, в котором происходило множество одномоментных событий. Русские самолёты пикировали на Алеппо. Ополченцы Донбасса шли в наступление, выбивая противника из посёлка. Разгневанный американский президент показывал кулак журналисту CNN.

И всё переливалось, меняло очертание, и икона с генералиссимусом плыла в бесшумном океане, омываемая потоками мира.

Ближе к вечеру пришло электронное письмо.

«Блестяще! Вы истинный кудесник. Будем ждать техногенных последствий. Первый транш прошёл. Ваш Янгес».

К письму прилагалась эмблема, напоминающая монету древней чеканки, времён Ниневии или Вавилона: змея, обвивающая колонну.

Веронов соединился с банком, где хранил деньги, и убедился, что на его счёт только что пришло два миллиона рублей.

Он лежал на диване, вспоминая сладостное падение в бездну, в глубине которой дышал, переливался дивный бриллиант, манящий, влекущий, обещавший небывалое счастье. Эта бездна находилась в нём самом, он падал в себя самого, и заветный бриллиант переливался в глубине его сущности, на такой её глубине, до которой невозможно дотянуться рассудком, а только колдовством, волшебством его искусства. Разрушением запретных преград, срыванием заветных печатей, одну из которых он только что сорвал. Он вдруг вспомнил нечто, что испытал когда-то в детстве и что было связано с мамой.

Мама, драгоценная, ненаглядная, – её лёгкий прах покоился на небольшом подмосковном кладбище, закрытом для новых погребений. Туда раз в год приходил Веронов, стоял у розового камня, на котором было вырезано дорогое имя, вдруг тускневшее, плывущее в тумане от неудержимых слёз. С мамой был связан свет, который не давал тьме сомкнуться в его душе, уберегал от злодеяний, позволял выстоять среди жестокого и кромешного мира.

Их веранда на даче, полная янтарного солнца, и мама, улыбаясь своей милой улыбкой, протягивает ему белую булку с мёдом, и золотистая медовая капля блестит на её руке. Ёлка наполняет их дом ароматами леса, тёплого воска, волнующей сладостью праздника, и в блеске шаров, в мерцании голубой слюды мамина рука скользит среди хвои, вешает за петельку стеклянную звезду. Зимнее окно с синим снегом, красная кирпичная стена дома, и мама читает ему сказку о богатыре, и на картинке богатырский конь склонил голову к придорожному камню. Заброшенная церковь, полная душистого сена, и мама, смеясь, легонько толкает его в это сено, которое принимает его в свою шелестящую глубину, и они с мамой лежат на сене, глядя, как в куполе церкви розовеет нарисованный ангел.

Их дача стояла на зелёной горе, над рекой. Мама ушла на речку сполоснуть бельё, а он остался в доме, перебирая засушенные цветы среди газетных листов, – жёлтый зверобой, белый тысячелистник, фиолетовый горошек. И вдруг испытал прилив нежности, захотелось увидеть маму, обнять, поцеловать её каштановые душистые волосы. Он выбежал из избы. Гора была зелёной, солнечной, с неё сбегала розовая тропка прямо к синей реке, у которой на мостках мама полоскала бельё. И такой огромный солнечный мир был вокруг, такая синяя река с разбегавшимися кругами, такая любимая обожаемая мама, к которой он сейчас сбежит и обнимет, что детская его душа раскрылась навстречу необъятному восторгу, любви, словно кто-то светоносный, белоснежный, поднял его на руках, вознёс в высоту, в лучистую лазурь, и оттуда он видел весь дарованный ему мир, леса, деревни, зелёную гору, маму у синей реки.

Теперь, лежа на диване, Веронов старался воскресить то детское чудо, богоявление на зелёной горе. Не мог. Знал, что оно было, что несло в себе неизъяснимую сладость, указывало путь вверх, в лучистую бесконечность, куда ему не дано было воспарить. И теперь эта уходящая в небо лазурь сменилась таинственный, уходящей вниз бездной, в глубине которой мерцал таинственный подземный бриллиант.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Утром за кофе Веронов просматривал газеты. На первой полосе «Коммерсанта» размещалась крупная фотография Веронова, когда тот сдёргивает холст с иконы, открывая белоснежного генералиссимуса на золотом поле, окружённого ангелами. Нимб над головой Сталина казался солнцем, встающим над головой вождя. Заголовок гласил: «Православный сталинизм». В статье сообщалось, что икона Сталина, наделавшая столько шума в обществе «Мемориал», была изготовлена по тайному поручению Московской патриархии и написана в Софринских иконописных мастерских. Это под-

тверждает существование в церковной среде целого течения, прославляющего Сталина и утверждающего, что Сталин рано или поздно будет причислен к лику святых как мученик, отравленный врагами русского народа, с которыми всю жизнь боролся Сталин. Остаётся узнать, как относятся к упомянутому течению кремлёвские власти и скоро ли в кабинетах высших государственных чиновников появится икона Сталина.

Анна Васильевна дождалась, когда Веронов отложит газету, и сказала:

– Аркадий Петрович, Вы уж меня извините, что я, быть может, вмешиваюсь в не своё дело и доставляю Вам неприятность. Но Вы же добрый, сердечный, интеллигентный человек. Зачем Вам эти шалости? Кому-то от них смешно, а кому-то больно. Я читала, что вчера в зале, где Вы выступали, многим стало дурно, а одну женщину с инсультом увезли в больницу. Пожалейте их, Аркадий Петрович.

Она волновалось, и её увядшее, когда-то красивое лицо порозовело от переживаний.

– Любезная Анна Васильевна, – ласково ответил Веронов, глядя на её большое, пополневшее тело, которое раньше, должно быть, волновало не одного мужчину, – искусство, которым я владею, вовсе не должно доставлять людям радость и удовольствие. Оно должно заставлять людей страдать, чтобы они очнулись от окружающей их пошлости и скуки. Может быть, они за это меня распнут. И будут правы. Художников всегда распинают.

– Не знаю, – огорчённо сказала Анна Васильевна. – В народе поселился зверь. Все ненавидят, обижают друг друга. А где живёт зверь? В ящике он живёт, – и она кивнула на чёрный экран телевизионной плазмы.

Веронов взял пульт и включил телевизор.

И сразу же натолкнулся на ошеломляющий сюжет. Под Нижним Новгородом столкнулись два скоростных поезда. Уродливая кишка съехавших с рельсов вагонов. Вереницы воющих санитарных машин. Военские подразделения. Носилки. Металлический туман, в котором тускло мерцают мигалки. Сплюснутые от удара стальные конструкции. Чьё-то окровавленное лицо. Рыдающая женщина. Сидящий на откосе старик. Крупным планом – лежащая на насыпи детская туфелька.

Веронов жадно смотрел. Авария произошла из-за сбоя электронной системы. А сбой случился после того, как вибрация, рождённая его перформансом, складываясь с другими вибрациями, усиливаясь, наполняясь таинственными энергиями, замкнула малый контакт, который передвинул дорожную стрелку, и случилось жуткое столкновение. Связь одного с другим была не прямой, но она существовала. Энергия разрушения, которую Веронов извлёк своей выходкой, привела к техногенной катастрофе, и это он повинен в смертях, увечьях, в гибели двух составов. Это открытие, ошеломив его, не вызвало раскаяния, чувства вины, а лишь странное большое удовлетворение. Он управляет разрушительными энергиями мира. Он тайный повелитель, от которого зависят жизни и смерти людей. Он обладатель могущества, которое увеличивает сладость того падения, того скольжения в пропасть, где мерцает подземный бриллиант.

Веронов сидел перед телевизором, втягивая ноздрями воздух, словно вдыхал металлический туман катастрофы. Прозвучал телефонный звонок.

– Аркадий Петрович? С Вами говорит протоиерей Марк из патриархии. Я работаю в отделе по связям с общественностью. Завтра мы проводим круглый стол в рамках воскресных чтений, посвящённый взаимоотношениям церкви и общества. Вас рекомендовало одно уважаемое лицо, и мы бы хотели услышать Ваше выступление.

Голос был рокошующий, величавый, и, должно быть, великолепно звучал под сводами храма. Веронов знал, о каком уважаемом лице идёт речь. Удивлялся разносторонним связям Янгеса, который, судя по этим связям, был не простым банкиром.

– Я согласен, отец Марк. Завтра я выступлю.

Он стал готовиться к перформансу, как готовится боевик к совершению террористического акта. Он обдумывал сущность аттракциона, воображал обстановку, в которой ему предстоит действовать. Рылся в интернете, исследуя материалы о церковных событиях, о конфликтах, участившихся между священниками и людьми светской культуры. Принял душистую ванну и покрыл свое ухоженное тело мазями, лосьонами, благовониями, похожими на те, что источают священники, проводящее время среди кадильных дымов и елеев. Из реквизита своих театральных туалетов извлёк рясу. Примерил, надел на шею золочёный крест и несколько раз перед зеркалом осенил своё отражение крестным знаменем.

Утром, облачившись в рясу, направился в Кадаши. Там, среди чудесных замоскворецких особнячков, шатровых колоколен, старинных палат размещался культурный центр, где проводился круглый стол.

Отец Марк оказался тучным, с волнистой гривой, розоватыми белками и огромной грудью, в которой перекатывался рокошущий бас.

– А я, извините, предполагал вас мирянином, – облобызался он с Вероновым, коснувшись его щеки влажными губами. – Где служите, отче?

– В Торжке, вторым священником, в Богоявленском храме.

– Дак там благочинным отец Георгий Лавров. Как он здравствует?

– Слава Богу.

Отец Марк оставил его, заторопился к дверям, в которых появился иерарх в клобуке, тёмной мантии, с сияющей панагией. Марк припадал к его белой сдобной руке, а тот крестил ему темя и оглаживал свою пышную, цвета железа, бороду.

Веронов расхаживал в коридоре. Заглянул в зал, где размещался длинный овальный стол с микрофонами, висел на стене образ Богоматери Державной. В зале было пусто, и публика расхаживала по коридору. Раскланивались, целовались троекратно. Светские одежды мешались с церковным облачением.

– Как я рад, как я рад! – подлетел к Веронову господин с розовым лицом, холёными усами и бакенбардами. – Как Елизавета Семёновна? Удивительные наши русские реки! Удивительные монастыри! Незабываемое путешествие! – Господин спутал его с кем-то, и Веронов не стал его разочаровывать. Глубокомысленно произнёс:

– Волга – река русского времени.

И они расстались, господин побежал здороваться с кем-то другим.

Два господина, любезно поклонившись Веронову, остановились недалеко от него.

– Вы заметили, что Понтифик первый поцеловал Святейшего? И Патриарх лишь ответил братским поцелуем. Торжество Православия было подтверждено, и одновременно был сделан шаг на преодоление мучительного раскола церквей.

– Удивляюсь ворчанию некоторых владык. Как глубоко всё-таки в нас сидит неизжитый грех старообрядчества.

Люди кружили по коридору, заглядывали в зал, ожидая приглашения. Наконец, прозвучал звонок. Все заполнили зал, стали рассаживаться. Одним было отведено место за столом перед микрофоном, и перед каждым лежал блокнотик и ручка, стояла бутылка с водой, другим – в зале.

– Ваше место здесь, отец Аркадий, – усадил Веронова отец Марк рядом с господином профессорского вида.

Другие расселись на стулья вдоль стен. Повсюду сияли кресты, белели бороды, смотрели внимательные строгие глаза. Несколько телекамер темнели зрчками.

Веронов испытывал волнение, предчувствие драгоценной секунды, когда в душе полыхнет обжигающий огонь, сорвёт его с места, вложит в уста восхитительные насмешливые и злые слова, и состоится преломление света, излом светового луча, мгновенный толчок сердца, перевёртывающий вверх ногами мир, и начнётся сладостное падение в бездну, скольжение в пропасть, которая разверзнется среди обыденного пошлого мира.

Поднялся иерарх с железной бородой и, оборотившись к иконе, прочитал молитву, и все крестились, кланялись драгоценной ало-голубой Богородице.

– Дорогие братья и сестры, – загудел в микрофон отец Марк. – С благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси мы открываем наш круглый стол. Дух Православия от алтарей и амвонов распространяется в светские аудитории, на университетские кафедры, в книги и рукописи писателей, близких к Церкви. Именно это околицерковное творчество нуждается в нашем каноническом попечительстве, ибо вольный дух художников и мыслителей может занести их в неверные пределы. Причащайтесь, братия, и не ошибётесь. Хочу предоставить слово нашему известному мыслителю и историку, с которым мы находимся в постоянном братском общении, Серафиму Григорьевичу Монахову. Он сделает сообщение о Русском мире.

Названный господин имел пепельно-серебристое лицо, впалые виски, тонкий нос и бледно-

голубые слезящиеся глаза. Худые пальцы перебирали листки бумаги, и микрофон воспроизводил их шорох.

– Принято утверждать, что Святой князь Владимир из всех возможных религий выбрал Православие, отдав предпочтение посланцам Византии, отвергнув католиков, мусульман, иудеев. Но разве, спрашиваю я, религии – это товар, лежащий на лотке, и их можно выбирать, щупать, пробовать на зубок? Не Владимир выбрал Православие, а оно выбрало его. После крещения князя в Херсонесе свет Православия воссиял над Россией и сделал её избранницей Христа. Тогда же образовался Русский мир, одна из ипостасей его является земным царством, а другая – небесным. Россия не может исчезнуть, не может пропасть, ибо её бессмертная часть находится на небесах.

Оратор вопрошающе осмотрел слушателей, ожидая услышать возражения. Но их не было. Иерарх произнёс:

– Очень глубокая мысль.

Оратор, вдохновлённый иерархом, продолжал:

– Земная ипостась Русского мира могла меняться. Увеличиваться, уменьшаться. Менялись границы, уходили и приходили народы. Но даже тогда, когда земная ипостась совсем исчезала, и русская история проваливалась в чёрную дыру, из небесной Руси, из Царствия Небесного падало в эту чёрную дыру несколько капель фаворской влаги, и Россия возрождалась во всей красе и могуществе.

Ему хлопали. Он, порозовев от удовольствия, кланялся всем. Выключил микрофон.

Выступал провинциальный батюшка, робея, сбиваясь, рассказывал о воскресных школах и православных гимназиях. Выступил областной чиновник из Воронежа и рассказал о благотворительности, о жертвователях, помогающих восстанавливать храм.

Веронов слушал, делал пометки в блокноте, чувствуя, как приближается заветный миг. Так чуткий охотник, затаившись, ждёт, когда птицы, забыв осторожность, приблизятся на расстояние выстрела. Он кивал, демонстрировал высшую степень внимания, лишь бы не спугнуть добычу. Но добыча не улетала. Иерарх величаво колыхал бородой. Профессорского вида господина, наклоняясь друг к другу, деликатно перешёптывались. Духовенство чинно слушало. Вдоль стен на стульях сидели аккуратные дамы, молодые безбородые семинаристы. Телеоператор скользил вокруг стола, улавливая камерой бороды, клобуки, сияющие кресты.

Выступал толстенький господин, которого отец Марк представил доцентом кафедры богословия в Инженерно-физическом институте.

– Деятельность Петра Степановича в стенах этой обители научной мысли свидетельствует о серьёзных сдвигах в обществе, о сближении веры и науки, которая преодолевает атеизм.

Доцент читал по бумажке, пугливо поглядывая на иерарха:

– Наш президент в своём обращении к Федеральному собранию сказал, что с присоединением Крыма в Россию вернулся сакральный центр власти. Заявление из ряда вон выходящее. Жаль, что мало кто обратил на него внимание. А оно значит, что после возвращения Крыма, после этого чуда, совершённого по воле Господа, власть в России становится сакральной. Власть президента становится сакральной. Он становится не просто гражданским президентом, но избранником Бога. Своего рода помазанником. Присоединение Крыма к России стало своеобразным помазанием президента, что делает его, по существу, монархом. Приближает долгожданное восстановление в России монархии.

Доцент выдохнул это последнее заявление торопливо и скомкано, боясь, что его перебьют. Но все спокойно отнеслись к его суждению, иерарх поощрительно кивал могучей железной бородой.

– А теперь, – отец Марк посмотрел на Веронова, – выступит отец Аркадий, который привёз нам поклон из Торжка от благочинного отца Николая. О чём будет Ваше выступление, отец Аркадий?

Веронов почувствовал, как счастливо остановилось сердце, воздух вокруг стал прозрачней, икона Богородицы засияла, как радуга, чётки в руках сидящего напротив священника казались самоцветами, крест на груди тучного иерея полыхнул таинственным златом. Приближалась желанная секунда, приближался восхитительный миг, когда он расщепит оболочку тленного мира, и огромные безымянные силы, закупоренные в тесный плен омертвело-го бытия, рванут на волю, хлынут бушующим потоком, и он станет пить, захлебываться, насыщаться несказанной сладостью освобождённого мира.

– Ваше преосвященство, – он поклонился иерарху. – Достопочтенные отцы, – он обвёл глазами восседавший за столом клир. – Я служу в Торжке. У нас в городе стоит вертолётная часть. И много

соборов. Половина из них восстановлена, и в них происходит служба. Другие подлежат реставрации. И мне приходится от наших горожан слышать: «Зачем восстанавливать храмы? Лучше строить на эти деньги боевые вертолёты». И я отвечаю. Армия, вертолёты, корабли, танки защищают Россию вдоль её земных границ. А алтари и молящиеся у алтарей священники защищают небесные границы России, чтобы злые силы, сатанинские духи не проникли к нам. Их отражает молитва. Каждый молящийся священник или монах – это воин Христов, отбивающий от наших границ сатанинские полчища.

Его слушали благосклонно. Иерарх поправил на груди панагию. Отец Марк одобрительно кивнул длинноволосой головой.

– И я говорю моим прихожанам на проповеди: «Зачем вы идёте в эту безбожную церковь, где вместо Бога – деньги, вместо веры – блуд? Попы, раскормленные коты, торгуют верой, содомиты, стяжатели. Это не Церковь Христа, а церковь сатаны. Не храм Богородицы, а вертеп дьяволородицы. Под рясами попов – козлиная шерсть, под клобуками – рога, и весь клир – пахнущие серой и фосфором козлища!»

Веронов с бляением вскочил на стул. Вспрыгнул на стол. Расстегнул крючки на рясе, сволакивая её с себя. Голый, в одних плавках, затанцевал на столе, набросив на лицо отвратительную козлиную маску. На его теле синей краской была нарисована змея, обвивающая колонну. Он играл, крутил животом, и змея извивалась. Он видел обомлевшие лица священников, выпученные глаза иерарха, задравшего холёную бороду, отца Марка с открытым ртом, осеняющего себя крестным знаменем.

Веронов с ликующим кликом, с пронзительным клёкотом проваливался в чёрную бездну среди скользких мерцающих стен, испытывая несравненное наслаждение, дивную вспышку в паху. Стенная, проваливался туда, где приближался из мрака сверкающий бриллиант, желая слиться с ним, стать этим волшебным бриллиантом. Не долетев до чудесного света, остановился в падении. Бесшумно вознёсся ввысь.

Он голый стоит на столе. Ошеломлённые, в обмороке, батюшки. Иерарх схватился за сердце. Какой-то семинарист опретью покидает зал. Какой-то дюжий монах пытается схватить Веронова.

Веронов подхватил упавшую на стол рясу, кое-как замотался в неё, сбросил козлиную маску и выбежал из помещения. Катил по Москве, натягивая на плечи драную тёмную ткань. Ему казалось, что вслед машине мчатся, перевёртываются, хохочут уродливые существа. То ли хотят его изловить, то ли славят его.

Вернувшись домой, он принял горячую ванну. Тёр пенистой губкой грудь и живот, смывая змею. Краска была едкой, и змея плохо смывалась, и он стирал её до боли, а потом раздражённую кожу мазал целительным кремом. Всё его тело ликовало, как в детстве, когда просыпался в лучах солнца, и все его клеточки пели, восхищались своим ростом, как радуется молодое хлебное поле, где всходит каждое зерно, напоенное светом и влагой.

Он старался понять природу своего наслаждения. Его веселил успех аттракциона, испуг людей, не ожидавших подвоха. В этом была его изобретательность, весёлое коварство, пусть злое, но шутовство. Но помимо этого наслаждение доставляло попрание запретов, разрушение табу, которое наложило на жизнь человечество за долгие годы своего существования. Он был революционером, разрушителем. Он поднимал восстание. Он разрушал темницы, в которых томились древние чувства и желания. Он нёс свободу. Он нёс свободу запечатанному человечеству. Он был освободитель, и там, где он проходил, раскрывались темницы, и скованный дух вылетал на свободу. Именно этот освобождённый, веками таившийся дух омолаживал его, делал счастливым, заставлял ликовать. Это было упоительно. Делало его великим художником, возвышало над всеми мастерами.

Так думал он, лежа в ванной, среди душистой пены, слыша, как тихо журчит из крана вода. На его розовой груди вновь проступила змея, и досадуя, он снова тёр грудь твёрдой щёткой, избавляясь от навязчивой гадины.

Интернет клокотал, хохотал, глумился.

«Козёл в монастырской капусте». «Атака сатанистов». «У владыки Амвросия случился выкидыш». «Богохульник должен предстать перед судом». «Что, попы, дождались кары небесной?» «Иудеи не дремлют».

Пришло электронное сообщение от Янгеса: «Восхищаюсь! Вас причислят к лику святых! Очередной транш прошёл».

Он лежал на диване среди кальянов, слыша слабые звоны Новодевичьего монастыря, и думал о природе своего искусства. Оно родилось не вчера. Молодым человеком он работал в закрытом институте, изучающем Космос. Вместе с другом Степановым они проектировали космические поселения для дальнего Космоса, где превалирует «серая материя», действуют иные законы природы. Мир, как утверждал Степанов, подчиняется геометрии Лобачевского, согласно которой две прямые пересекаются в бесконечности. И второй мир, мир Меньковского, умонепостижимый, запечатанный и нераскрытый. Они со Степановым стремились смоделировать эти миры, искали их математический и эмоциональный образ. Доводили себя до безумия. Веронов считал, что этот образ открывается человеку в момент стресса или в момент смерти, или в секундных откровениях, когда в мозг из других миров влетает космическая частица, замыкает в мозгу нейроны, и человеку на одно мгновение открываются фантастические картины, которые затем навсегда пропадают.

Для поиска этих частиц они поднимались на вершины Памира и часами, днём и ночью сидели среди светомузыки гор, под огромными звёздами, дожидаясь гостя из Космоса. Они прыгали с парашютом, били себя электрическим током, оглушали страшными децибелами, топили себя, фиксируя свои видения и переживания.

Их разработки, чертежи, рисунки, математические выкладки были остановлены распадом страны, крахом науки, смертью великих начинаний. Их институт закрыли, в нём хозяйничали американцы, вывозя секретную документацию. Предлагали Веронову и Степанову уехать в Америку. Веронов согласился, а Степанов остался в России на воде и хлебе.

В Америке Веронов недолго поработал в Хьюстоне, а потом познакомился с компанией художников, творцов современного искусства. Так родились его перформансы. Так он погружал публику в стрессы, извлекая из этих стрессов небывалые переживания. Вернувшись в Россию, он несколько раз порывался отыскать Степанова, позвонить по его домашнему телефону. Но откладывал звонок. Откладывал встречу с прошлым.

За окном тихо шелестела Москва. Веронов слышал множество переливов, слабых всплесков, словно он лежал на отмели, и на него набегали невидимые волны. Они неслись в мироздании, соединяли его с бесчисленными явлениями мира: звёздами, цветами, атакующими танками, висящими на дыбе мучениками, девственницей, кричащей в объятиях насильника. Он слышал, как просачивается в мир, обретая волновую природу, его сегодняшнее действие: задранная борода иерарха, испуганный зев отца Марка, полное тоски лицо безусого семинариста.

Встал и включил телевизор. Сюжет, на который он натолкнулся, рассказывал о трёх девочках-подростках, которые, взявшись за руки, с блаженными улыбками бросились с крыши двенадцатитажного дома. Так и лежали в крови, взявшись за руки. Веронов знал, что их роковой прыжок был связан с перформансом. Когда он вскочил на стол, разрывая рясю, девочки подходили к краю крыши. Когда он танцевал, выкрикивая глумливые слова, они летели вниз. Когда он побежал из зала, они стукнулись о землю. Этот сюжет не поразил его, а только изумил. Какая таинственная связь существует между его колдовскими действиями и удалёнными событиями, где случаются чудовищные разрушения? Ответа не было. Были три подруги, которые с улыбкой убили себя.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пребывая в возбуждении, он не мог оставаться дома и отправился на вечеринку, которую устраивал один модный литературный журнал. Редакция находилась недалеко от Чистых прудов. Там собирались писатели и поэты, актёры и безалаберные милые фантазёры, неизбежные спутники богемы, наполнявшие подобные вечеринки смешливыми разговорами и безобидными сплетнями.

Вечеринка проходила в ресторане, где были убраны столы, служители разносили напитки, гости снимали с подносов бокалы и рюмки и медленно кружили по залу, слипаясь в нестойкие группы, чокались, судачили, теряли друг к другу интерес, переходили из одной группы в другую, создавая в зале непрерывное кружение, в котором что-то размешивалось, какой-то невидимый раствор, выпадал какой-то невидимый осадок.

Веронов чувствовал свою принадлежность к этому сообществу, где все друг друга знают, дружат, недолюбливают, кидаются друг другу на помощь, вероломно отворачиваются. Где все нуждаются друг в друге, как нуждаются лесные деревья, кусты, трава, грибы, мхи и лишайники, что всё вместе

и называется лесом. Так думал Веронов, посмеиваясь над собой, не зная, кем себя считать – жимолостью, жёлудем или сыроежкой.

– О, привет, Аркадий! – кинулся целоваться писатель Цесерский, автор манерных, с претензией на модерн, эротических повестей. – Ну, ты великолепен!

Цесерский был худ, с лицом молодящегося старика, с тяжёлыми морщинами, добытыми не в тягостных раздумьях, а в страстных и порочных поползновениях. Он был одет в жёлтый пиджак и сиреневые штаны, на шее красовался шёлковый розовый бант, и это экзотическое облачение соответствовало эстетике его повествований, модной, дорогой и безвкусной.

– Слушай, твои последние перформансы наделали шума. Это новое слово. Ты взрываешь все мосты, все храмы и все могилы, и мы любимся летящими в небо осколками. Россию надо взрывать, взрывать и взрывать. Надо сделать русский народ очумелым. Чтобы он жил среди взрывов. Чтобы он сошёл с ума и только потом прозрел. Русский народ – это бык с налитыми кровью глазами. Ты сражаешься с этим быком. Ты тореадор современного русского искусства! – Цесерский смотрел на Веронова дружелюбно, но его коричневые, с розоватыми белками глаза таили тревогу, словно он ожидал от Веронова едкой насмешки и своими комплиментами предупреждал возможность такой насмешки. – Ты знаешь, вышла моя новая книга «Отравленная лилия». Пришлю тебе обязательно, она в твоём вкусе. Я только что из Парижа, презентовал «Лилию». Огромный успех. Договоры на переводы, рецензии в «Фигаро». Ты знаешь, французы считают меня лучшим русским писателем. Что ж, я не мешаю им так думать! Надо ехать на Запад, только там оценят наше с тобой искусство. Здесь, в России, мгла! Искусство не нужно. Власть жрёт, народ пьёт. До какой степени оскотинился народ! Русским отведено место в стойле, и они охотно его заняли. В России всё гадко – власть, дороги, автомобили, книги, котлеты. Одно хорошо – это женщины. «Волосатое золото», как его называют. Я возвращаюсь из Парижа в Россию только для того, чтобы насладиться русскими женщинами. У них особые пальчики, особые соски, особые губки, особое выражение глаз, когда ты доводишь её до экстаза, а потом делаешь больно. Их глаза меняют цвет. Я описал это в моей книге «Русские престестницы». Ну, ты читал, конечно...

Мимо Веронова прошла девушка в спортивной расстёгнутой куртке и белой майке, под которой волновалась свободная, ничем не стеснённая грудь. У девушки было смуглое, как у мулатки, лицо, чёрные выющиеся волосы, сиреневые губы и яркие, шальные глаза, которыми она скользнула по Веронову, маня его куда-то сквозь толпящийся люд. Веронов притворился, что этого не заметил, и повернулся к поэтессе Лиле Воронецкой, которая писала стихи про арийцев и нибелунгов и побывала на Украине в частях, что сражались в Донбассе с повстанцами.

– Ну, как «Золото Рейна»? Как Зигфрид? Как Вагнер?

Веронов поклонился и внимательными, чуть смеющимися глазами оглядывал мужеподобное лицо поэтессы, тяжёлый подбородок, мужскую солдатскую стрижку, камуфлированную грубую куртку и брюки. Представлял, как в этом камуфляже среди боевиков батальона «Азов» она читает свои стихи.

– Арийские мифы побуждают человека не бояться смерти, обращают его к величию, – сумрачно ответила Воронецкая. – Русский народ больше не верит в бессмертие, отвернулся от величия. А я отвернулась от русского народа. Я больше не русская. Я учу иврит, учу украинский. Я не хочу быть среди подлого трусливого народа, который отдал себя во власть еврейским банкирам и служит охранником в еврейских банках. Я сменила народ.

– Можно сменить пол, но как можно сменить народ? – Веронов чуть было не пошутил, что Воронецкая, судя по причёске и штанам, похоже, уже сменила пол. – Твой народ будет преследовать тебя до предсмертного шёпота, ибо ты перед смертью станешь шептать по-русски.

– Я перед смертью прочту на иврите мой стих, посвящённый Моше Даяну, который купался в крови этих недочеловеков арабов.

– А как тебя принимали в батальоне «Азов»? Они не разглядели в тебе новую Ахматову и Цветаеву?

– Я читала им стихи на украинском, на позициях, где артиллерия била по этим бандитам и недоноскам в Донбассе. Я сказала, что каждый убитый ими русский вызывает во мне восторг. И я попросила артиллеристов позволить мне выпустить снаряд по Донецку.

– Может быть, твой снаряд убил неизвестную тебе русскую поэтессу по другую сторону фронта?

– Я бы очень этого хотела. Мои стихи – это снаряды, которые я выпускаю в сторону народа-отщепенца, народа-предателя! Каждый русский, которого привозят в брезентовом мешке из Сирии или с Донбасса, – премия за мои стихи! – Воронежская резко повернулась к Веронову бритым затылком, и Веронову показалось, что от её одежды пахнуло казармой и гарью.

В Веронова вцепился пробежавший мимо чернявый, похожий на колючку публицист Меерович, посвятивший всё своё творчество высмеиванию президента. Он схватил пуговицу на сюртуче Веронова и стал сыпать мелкими смешками, мерцал бусинками фиолетовых глаз:

– Последний кремлёвский анекдот. Президент летит в Алеппо принимать парад российских солдат-победителей. Одновременно решил испытать систему Глонасс в условиях Сирии. Прилетает, строй бойцов. Он выходит: «Здравствуйте, товарищи грушники!» А они в ответ: «Аллах Акбар!» Оказывается, Глонасс дал сбой и привёл его в расположение ИГИЛ. Смешно?

И Меерович, хихикая, отцепился от Веронова и побежал дальше, чтобы колючкой прилипнуть к кому-нибудь другому и рассказать тот же самый анекдот.

Веронов снова увидел смуглую девушку, которая прошла совсем близко от него, опустив глаза и улыбаясь сиреневыми губами, и эта улыбка сиреневых губ предназначалась ему, Веронову, и её рука с бокалом показала куда-то в сторону, приглашая за собой Веронова. Но он снова сделал вид, что не увидел знака.

– Кто эта особа с сиреневыми губами, которая ходит кругами с бокалом вина? – спросил Веронов у модника, писавшего острые эссе в глянцево-журналы.

– Вы не знаете? Лариса Лебедь. Дочь крупного нефтяника из списка Форбс. Живёт в Европе, приезжает в Москву, чтобы устроить пару скандалов. Папа выкупает её из рук полиции, и она, удовлетворённая, уезжает обратно в Европу. По-моему, она ищет повод устроить скандал. От неё подальше держитесь.

Устроитель вечера, главный редактор издания, уже слегка «подшофе», расплескивая из стакана виски, возгласил:

– А теперь, дорогие собраты, как всегда в традиции наших встреч, прозвучат стихи. Сегодня их нам читает один из самых экстравагантных, революционных поэтов Вениамин Кавалеров. Прошу тебя, Веня!

Гости расступились, освободив круг, стояли, не выпуская из рук бокалов и рюмок. В круг вышел невысокий изящный человек, словно фигурка, вырезанная из кости, в чёрной рубашке, из которой видна была худая, в стариковских складках шея. Его лицо было высохшим, сморщенным, как плод, долго пролежавший на солнце. Седой бобр, выбритые виски, рука с перстнем – всё было модным, стильным, изысканным, словно над его обликом работал опытный стилист. Поэт Вениамин Кавалеров был из числа эмигрантов, покинувший советскую страну и годы живший в Париже, сотрудничая с антисоветскими журналами и подвизаясь в богемных салонах. Там он воспринял стиль революционных студентов, философию Сартра и поэзию французского авангарда. Вернувшись в новую Россию, он продолжал исповедовать революционную идею, участвовал в демонстрациях и создавал эстетику грядущей в России революции. Теперь он стоял, окружённый литераторами, отчуждённый от них едва ощутимым высокомерием, сознавая себя не столько поэтом, сколько провозвестником грядущих бурь. Он поднял свою лёгкую руку с блеснувшим перстнем и стал читать:

В Кремле разбилось голубое блюдце,
И с колокольни колокол упал.
Зажглись над Русью люстры революций,
И начался кромешный русский бал.

Голос у Кавалерова был с клёкотом, петушинный. Он своим чутким слухом поэта угадывал больше других. Видел солнце задолго до того, как оно взойдёт. Пророчествовал, пугал своим пророчеством не ведающий суетный люд.

Ударил час, и мир сорвал личину,
И чаянье пророка воплотилось.
Пришла вода, и Кремль взяла пучина,
Чудовищный России «Наутилус».

Веронов вдруг ясно ощутил невидимый вал времени, который надвигался. Ещё не наступил, но уже стоял у горизонта тёмной стеной, готовый их накрыть.

Революция, которая их всех поглотит, распорядится с каждым по-своему. Те, кто сейчас дружелюбно чокается, мило улыбаясь, станут непримиримыми врагами, будут стрелять друг в друга. Те, благополучные и уважаемые, наденут красные галифе, повесят на бедро «Стечкина» и пойдут убивать тех, кто сейчас стоит рядом с ними, рассказывая забавные анекдоты. Та, в модной шёлковой блузке, с бриллиантками в ушах, станет проституткой в парижском борделе. А та, с милой родинкой на свежем лице, пойдёт медсестрой в тифозный лазарет. Тот станет жестоким предводителем новой страны, а этот пойдёт по этапу. И он, Веронов, ещё не зная своей доли, чувствует трепет, ожидание этого грозного вала, который изменит всю его жизнь, даст ему новый образ, быть может, ужасный.

Святая Русь, берёзовая грусть,
Ты участи своей не избежала.
Мне, сыну своему, разъяла грудь,
Вонзив штыка отточенное жало.

Веронов смотрел на изящного хрупкого, как резная статуэтка, Кавалерова, на бледную руку с перстнем, стильный бобрик, и чувствовал беду его поэтических прозрений, которыми он выкликал бурю, тревожил неподвижное русское время, извлекал из него взрыв. И эта буря летела, морщила, рябила недвижную гладь, была готова ворваться ревущей жутью, сметая зыбкую жизнь. Кавалеров с окровавленной головой, с пробитым лбом лежал в овраге, расстрелявшие его конвоиры удалялись, забрасывая на плечи ремни автоматов, и в овраге зацветала черемуха.

В салон, где процветали недомолвки,
Где скептик остроумием блистал,
Влетел снаряд тяжёлой трёхдюймовки
И начал повесть с белого листа.

На белой стене были развешены фотографии с именитыми гостями, посещавшими редакцию журнала. Поэт Быков с круглой головой и усиками, похожий на кота. Вдова Солженицына Наталья с белым волевым лицом, продолжающая на земле миссию покойного мужа. Американский посол в Москве Стелбот, окружённый сияющими членами редакции. Веронов смотрел на белую стену, нарядные рамки фотографий и чувствовал, как снаружи налетает, приближается к зданию снаряд и сейчас с грохотом проломит стену, оставляя рваную дыру, промчится слепым вихрем над головами гостей и вылетит сквозь другую стену. И в открывшуюся дыру станет слышен шум улицы, рёв толпы, пулемётные стуки, и в светский салон ворвётся бешеное время, о котором пророчествует хрупкий, с петушиным клёкотом читающий свои стихи поэт.

Померкнут блёстки мишуры мирской,
Повиснут флагов ветхие мочалки.
Тогда в ночи промчатся по Тверской,
Сверкая пулемётами, тачанки.

Веронов вдруг испытал сладостную муку, слепящее, до боли в глазах страдание, жадную страсть к разрушению, в котором сгинут все обрыдшие образы мира, обступившие его тесной тошной стеной. И начнутся жуткие русские игры, уносящие с земли все омертвелые формы, все благополучные мысли, все благонамеренные слова, превращая их в разящий свист великого русского сквозняка.

Москва красна от липкого варенья.
Под тяжестью согнулись фонари.
Моя жена, как в первый день творенья,
Войди ко мне при отблесках зари.

Боже, была когда-то иная жизнь, прекрасная женщина, её чудесное родное лицо, от которого становилось чудно и светло, и они плыли в лодке по негаснущему отраженью зари, и вокруг стояли осенённые солнцем леса, и в зелёном небе летела утка, роняла в озеро незримую каплю, от которой

по стеклянной воде расходились медленные нескончаемые круги. Ведь была эта дивная женщина, что могла бы его спасти от чёрной мглы, разрушительного безумия, смертельной тоски, в которой погибает его заблудшая душа.

Поэт Кавалеров закончил чтение, бессильно уронил руку, согнул беспомощно голову, словно у него обломилась шея. Пошёл в толпу, окружённый рукоплесканиями. Все чокались, поздравляли его, и уже о нём забывали. Занимались сплетнями, флиртом, шелестящими смешливыми разговорами.

– Вы отказываетесь меня замечать? – Перед Вероновым стояла девушка с сиреневыми губами, смуглолицая, с яркими глазами, в которых сверкали две серебряные безумные точки. – Вы так избалованы женским вниманием?

– Напротив, я боюсь женщин, чураюсь их, – насмешливо произнёс Веронов. – Мне показалось, вы делаете знаки кому-то другому, не мне. Я не достоин вашего внимания.

– Напротив, среди этой комариной толкотни, этих жужжащих литературных мошек Вы один заслужили мой интерес. Я Лариса Лебедь. – Она протянула ему смуглую руку с тонким запястьем, на котором блестела золотая цепочка.

– Аркадий Веронов.

– Вам не нужно представляться. Весь интернет полон Ваших изображений. Вы строчите из пулемёта, пугаете бедных правозащитников иконой Сталина, танцуете нагишом перед Патриархом Всея Руси.

– Положим, это был всего лишь архиепископ. Но всё равно, мне неловко за мои нелепые шалости.

– Напротив, Вы ими можете гордиться. Я ненавижу этих добродетельных пошляков, которые мнят себя добропорядочными членами общества. Мне хочется их оскорбить, сорвать с них личину, облить всех зелёнкой. Именно этим Вы занимаетесь: обливаете всех зелёнкой.

– У меня и теперь с собой флакон зелёнки. – Веронов хлопнул себя по карману, кивая на клубящийся с винными бокалами люд.

– Представляю, какое наслаждение Вы испытываете, когда видите изумлённые, выпученные от страха глаза! Это наслаждение – видеть в глазах обывателя вызванный Вами страх!

– А чем Вы пугаете обывателей?

– Быстрой автомобильной ездой. Жму на педаль, смотрю, как стрелка приближается к трёмстам километрам в час, как отскакивают от меня автомобили-черепахи, как сыплются горохом пешеходы, как воеет бессильно сирена патрульной машины, и лечу по Москве, которая кажется размытой акварелью.

– Как бы я мечтал оказаться с Вами в одной машине! – Веронов вдруг жадно захотел поцеловать её сиреневые губы, сжать их так, чтобы она застонала от боли, и он почувствовал солоноватый вкус её крови.

– Хотите прокатиться?

– Хочу.

– Пойдёмте.

Они вышли из редакции. Была тёплая московская ночь, когда накалённые камни, железные крыши и чугунные ограды источали накопленный за день жар. Пахло клумбами, духами и табаком от прохожих. На стоянке Лариса Лебедь подвела его к красной «Альфа Ромео», которая казалась дельфином, застывшим на гребне волны. Тихо хрустнул замок, брызнули фары.

– Садитесь, – она пригласила Веронова, и тот погрузился в мягкую глубину машины, окружённый запахами кожи, сладких лаков и едва ощутимых благоуханий, которые оставляет в машине молодая прелестная женщина.

– Пристегните ремень, – сказала Лариса.

Она осторожно, бесшумно вывела машину со стоянки, а потом резко, с рёвом кинула её на проезжую часть. Вильнула, обходя тяжеловесный внедорожник, с грохотом, как стартующая ракета, ринулась по бульварам.

Веронов ужаснулся дикому старту. «Альфа» врезалась в узкие зазоры, обгоняя попутные машины, задевала их зеркалами, казалось, толкала своими красными бёдрами. Как игла, пронзала тесное пространство у чугунной решётки, и Веронову чудилось, что сейчас хрустнет металл, и какой-нибудь крюк наматывает на себя красный рулон жести.

– Нравится? – крикнула сквозь грохот Лариса Лебедь, успевая шарахнуться от злого рассерженного «Мерседеса».

Бульвар запрудили машины, она истошно сигналлила, а потом чудодейственным скачком перемахнула ограду и помчалась среди деревьев, озаряя фарами шарахающихся людей, лихо избегая скамеек, и что-то мягкое шлепнуло по стеклу, то ли слетевшая с головы шляпа, то ли вырванная ветром из рук газета.

– Нравится? – снова крикнула она, когда они вернулись на проезжую часть и с бульвара, на красный свет, проскрежетав тормозами, свернули на Маросейку.

Веронов, сжатый, втиснутый в кресло, смотрел на неё, и она казалась ему сумасшедшей. Яростные глаза. Открытый, жарко дышащий рот. Среди сиреневых губ – красный влажный язык. Руки бьют по рулю.

Это было безумное упоение, ожидание удара, смертельного хруста, последней вспышки. Веронов боялся её окликнуть, не смел останавливать, ибо это могло привести к сбою чудовищного ритма, грозило крушением. Он только смотрел остекленелыми глазами, как мелькают фасады, валяются назад колокольни, проносятся красные огни светофоров. Навстречу шёл троллейбус, и она мчалась ему в лоб, желая врезаться, протаранить, полыхая фарами. И только в последний момент отвернула, подрезала испуганную машину.

Они грохотали теперь по Садовой. Алая и пленительная, как губы красавицы, «Альфа Ромео» превратилась в свирепого хищника, который с ужасающим рыком рвал пространство, терзал другие машины, вылетал на встречную полосу, слепил огнями, предупреждал устрашающим рёвом, непрерывным надсадным гудком. Веронов видел, как стрелка спидометра пересекает красную риску. В женщине рядом с ним горела смертельная страсть, дышала ярость, которую она переливала машине, и та была готова убить себя, расплющить в раскалённую красную кляксу.

Мимо, как миражи, проносились фасады, озарённое светом высотное здание, витрины, рекламы, брызгающие бриллиантами гирлянды, лунно-голубые колонны. Следом за ними уже были патрульные сирены, истошно мигали фиолетовые вспышки. Они ускользали от погони. Лариса Лебедь оглядывалась на Веронова с безумным счастьем, с хохочущим оскалом зубов. Полицейская машина пристроилась сбоку, и металлический голос приказывал остановиться. Но «Альфа» обошла машину, и было слышно, как что-то лязгнуло, закрипело сзади, и голос умолк, прерванный ударом. Веронов вдруг ощутил счастливый провал в груди, упоение смертельными скоростями, приближение гибели. Слом всех запретов – они рассыпались в прах, уступая безумной воле к смерти, воле к небытию, которая открывалась в душе, как заветная бездна.

Они свернули с Садовой у Самотёки, метнулись к театру Российской Армии, нырнули в пустынную улицу с чахоточными клиниками. Памятник Достоевскому мелькнул, озарённый светом, похожий на горящую свечу. Скользнули в тёмные переулки, под шлагбаум. Остановились у дома с фонарём, похожим на люстру. Лариса Лебедь небрежно бросила машину. Пошла, не оглядываясь на Веронова, к подъезду. Он шёл следом, слыша, как тихо стонет сзади машина. За Ларисой Лебедь воздух светился, как ночное море, по которому прошёл катер.

Они поднялись на лифте. Она отомкнула дверь, вошла в тёмную квартиру и по мере того, как шла по комнатам, зажигая свет, она сбрасывала туфли, куртку, стягивала майку, роняла юбку, переступала через разбросанную одежду, голая, глянцевитая от пота. Направилась в ванную, и там, не прикрыв дверь, стояла под душем среди блестящего кафеля, и Веронов видел её поднятые локти, сильную грудь, блестящую спину, по которой бежала вода.

В постели она была душистая, влажная. Не давала обнять себя. Извивалась, как змея. Во время поцелуев больно кусала его. Нависала над ним и мчалась, как наездница, с криком, хохотом, без усталости, закрыв глаза, словно продолжала недавнюю гонку, куда-то желая прорваться, испепелить плоть, превратиться в слепящую бестелесность. С последним вскриком, мучительным стоном ослабела, упала рядом и лежала, как мёртвая, неловко вывернув руку. Веронов смотрел на её близкое плечо с красно-синим цветком татуировки.

– Они там все манекены. Из глины, из папье-маше, – тихо произнесла она.

– Кто манекены? – переспросил он.

– Все европейцы превратились в манекены. Пустые и смешные. Их хочется толкнуть и разбить.

– Но ты выбрала Европу. Ты там живёшь, тебе нравится.

– Мне нравится, когда арабы в чёрных масках с «Калашниковыми» врываются в синагоги и ночные клубы и опустошают там все обоймы. Мне нравится, когда выходец из Сенегала с фиолетовым лицом и кровавыми белками садится за руль грузовика и давит толпу манекенов в Ницце.

– Тебе нравятся террористы?

– А разве ты не террорист? Ты приходишь в собрание, где собрались манекены, и взрываешь их.

– Это искусство. Я художник.

– Террорист – великий художник. Он соскабливает своими взрывами и автоматными очередями пошлую обветшалую фреску и пишет другую, сочную, обрызганную кровью. Старое человечество, склеенное из глины и папье-маше, человечество неодошевлённых манекенов, исчезает среди грохота и огня, и возникает молодое человечество, орошённое живой кровью. Террористы делают надрез кесарева сечения, и появляется младенец, обрызганный кровью.

– Может быть, ты собираешься поехать в Сирию и примкнуть к ИГИЛ?

– Зачем мне Сирия? Скоро Россия превратится в сто тысяч Сирий. Мне место здесь.

– Ты что, веришь пророчествам Кавалерова? Ждёшь новой русской революции?

– Она уже началась. Посмотришь в глаза людей. Среди тусклых, погасших вдруг вспыхнет взгляд, в котором ненависть и восторг. В котором рушатся эти мерзкие дворцы, супермаркеты, золочёные храмы. Где горят города. Где на красных русских зорях мечутся бесчисленные стаи чёрных ворон, а в белых руках рублёвских красавиц засияет воронёный ствол автомата.

– Кем ты будешь в этой русской революции?

– Мне примером служат те женщины, что в кожаных куртках и галифе расстреливали из наганов тучных банкиров, трусливых министров, дурных офицеров.

– Мне кажется, ты вполне готова для этой роли. Сегодняшняя гонка показала, что ты готова убить людей и убить себя. Ты всегда так водишь машину? Всегда гоняешь по дорожкам скверов на скорости двести в час?

– Я хочу на этой скорости ворваться в Кремль, в Троицкие ворота, пронзить его насквозь и вылететь на Красную площадь из Спасских ворот. Хочешь, промчимся вместе?

– Нас расстреляют на подходе к воротам.

– Ты не бойся смерти. Смерть – это то, что подают в конце жизни на сладкое. Хочешь меня убить? – Она повернулась к нему и смотрела тёмными, без белков, безумными глазами, в которых Веронов угадал ту испуганную сладость, что сам испытывал, проваливаясь в смертельную бездну. – Убей меня!

Веронов слушал её, смотрел на сине-красный цветок на её плече, на близкую грудь с тёмным соком, к которому она не давала ему прикоснуться. Испытывал нарастающую едкую неприязнь, не только к ней, но и ко всем, с кем повидался на сегодняшней вечеринке. К нарциссу Цесерскому, изнурённому старческим эротизмом. К извращенке Воронежской, решившей перейти из одного народа в другой. К салонному революционеру Кавалеру, чья имитация воспета модными французскими журналами. И к этой пресыщенной дочке миллионера, которая из холёной Европы приезжает в Россию позабавиться среди обезумевших московских обывателей, как приезжают иностранцы поохотиться на экзотического русского зверя.

Все они были сверхлюди, возвышались над маленьким бранным человечком, находили в этом оправдание своим интеллектуальным бесчинствам. И Веронову хотелось взорвать это клановое превосходство, сбросить их на грязную землю, потоптаться на них измызганными подошвами. Он чувствовал, как начинает сочиться в душе мучительное наслаждение, предчувствие тёмной пропасти, куда полетит, оставляя за собой рваный провал, взрывную волну, сносящую незыблемые опоры, и он спрячется от этой волны в бездонную воронку.

– Мне надо идти, – сказал он.

– Ты не останешься?

– Нет.

– Как хочешь, – равнодушно сказала она.

Веронов стал одеваться. Застёгивал рубаху, чувствуя, как в душе слабо трепещет, сотрясается в неслышных вибрациях незримый взрыватель:

– Ты знаешь, мне надо тебе что-то сказать. – Он застёгивал манжеты рубахи. – Я очень виноват.

– Что такое? – вяло спросила она.

– Мне было трудно с собой совладать. Ты такая прекрасная. И эта езда, эти безумные скорости.
– В чём дело?

Он набрасывал пиджак, просовывал ступни в замшевые туфли:

– Мне страшно тебе признаться. Я негодяй. Но я не мог совладать.

– Да что, в самом деле?

– Видишь ли, я должен был тебе сказать. Но какое-то безумие. Ты такая прекрасная. Я забыл обо всём.

– Перестань! Говори!

– Видишь ли, у меня СПИД. На очень скверной стадии. Прости.

– Что? – возопила она. – Что ты сказал?

– Может, ещё не поздно. Ты обратись к врачу. Может, я не успел тебя инфицировать.

– Мерзавец! Как ты мог? Ты гадюка!

– Мне очень жаль. Прости меня. – И он пошёл из комнаты к выходу, слыша, как разрастается взрыв, как взрывная волна сметает весь модный литературный салон, и летят, перевёртываясь, смехотворный Цесерский в канареечной пиджаке, Воронежская в отвратительном камуфляже, поэт Кавалеров со своей бледной изысканной кистью, украшенной перстнем, и эта голая красавица с лиловыми губами, провожающая его истошным криком.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Он вернулся домой поздней ночью. В нём продолжали звучать рокочущие гулы, словно он крикнул в колодезь, и крик гудел, отражался, из глубины раздавался чей-то незатихающий рык.

Он подошёл к окну и не увидел монастыря. Там, где обычно сияло розово-белое, с золотыми проблесками видение, сейчас была тьма. Он протёр глаза, тьма оставалась, будто на глаза легли чёрные бельма. Он испугался, что его поразила слепота. Всмотривался что есть силы в чёрную пустоту, в которой растворился монастырь, и постепенно из мрака вновь появилось нежно-золотое, бело-розовое видение. Его страх прошёл. Видимо, на время была отключена подсветка, озаряющая монастырь.

Он почувствовал лёгкое подташнивание, какой-то ком в горле. Ком казался живым. Будто он проглотил мышь, и она шевелилась в горле.

Он пошёл в ванную и лёг в тёплую пену, желая смыть недавние ощущения, которые его тяготили. Он увидел, что змея на груди сохранилась, казалась синеватым отпечатком. Видимо, краска, которой он мазал тело перед походом к церковникам, была едкой и не сразу смывалась. Он тёр себя губкой, и змея пропадала, тонула под розовой кожей.

Ночной интернет затих, кончился обмен оскорблениями, жалобами, комплиментами. Буяны блогеры спали, набираясь сил для предстоящих свирепых атак. Только изредка какой-нибудь ночной безумец вывешивал изображение голой женщины или призрачного, в мертвенном освещении здания или светящийся ночной цветок. Но Веронов чувствовал, как незримо пропитывают интернет тёмные энергии, которые он запустил в мир своей недавней выходкой. Тихая тьма змеёй вползала в мировое пространство, и в горле, мешая глотать, шевелилась живая мышь.

Утром он услышал по радио, что в одной из колоний строгого режима в Псковской области произошёл бунт заключённых. Эки взяли в заложники несколько охранников. Последовал штурм колонии отрядом спецназа, стрельба, несколько заключённых было убито. Веронов не сомневался, что взрыв, который он произвёл, привёл к восстанию, породил отчаяние среди заключённых, заставил спецназ надавить на спусковые крючки.

Утром пришло электронное письмо от Янгеса. «Больше так не гоняйте по Москве. Мне дорога ваша жизнь. Очередной транш прошёл».

Веронов не понимал, как Янгес мог уследить за ним. Какие тайные соглядатаи расставлены им в местах, где появлялся Веронов. И он решил прекратить эти опасные опыты. Выйти из этой сатанинской игры. Заслониться от зияющей тьмы образами прошлой восхитительной жизни.

Были, были в его жизни мгновения, когда он обожал, благоговел, любил. Когда его душа возрастала, ликовала, собирала чудесную, разлитую в мире красоту. Когда он верил, что этой красотой сотворён мир. Что у мира есть Создатель, любящий, всемогущий, знающий о нём, Веронове, дарующий ему одно чудесное откровение за другим.

Его увлечение молодой аспиранткой – историком Верой Полуниной, зеленоглазой, с очаровательными светлыми локонами, которые он так любил целовать, касаясь губами душистого лица, среди снежной Москвы с оранжевыми фонарями, и она сквозь смех его останавливала: «Ну, пожди. Ну, здесь же люди. Давай уйдём в переулок». Они гуляли по старым московским улочкам, заходили в храмы, любовались великолепными монастырями. Он говорил ей о городах будущего, о космических поселениях, в которых станут жить лучшие, прилетевшие с земли люди, образуя новое человечество. А она рассказывала ему о русских святых и праведниках, которые населяли монастыри, и это, по её словам, и были люди русского будущего, а монастыри – космическими поселениями, которые своими алтарями, крестами и чудотворными иконами летели в небесную бесконечность.

Он сделал ей предложение. Они решили пожениться. Отложив женитьбу на осень, решили поехать в Карелию, в глушь, чтобы там, в безлюдье, среди озёр и негасимых зорь, насладиться друг другом.

Лодка колышется. Он вытягивает из озера сеть. Ячея в сверкающей слюде. Серебряные рыбы дрожат, извиваются, сбрасывают солнечные капли. Он смотрит на свою любимую сквозь сверканье сети, трепещущих рыб, и так любит её! Она явилась ему из озёрного блеска, из красных прибрежных сосняков, из синего летнего облака.

Они идут лесами. Красный сосновый жар. Пахнет смолой, муравьиным спиртом. На тропе то и дело попадаются фиолетовые от черничного сока комья медвежьего помёта. Где-то рядом, в черничниках, бродят медведи. Но им обоим не страшно, они идут, взявшись за руки, и в стволах то слева, то справа мерцают озёра. Он целует её, видя, как на стволе длинной тягучей каплей висит золотая смола, и в её волосах запутался листик черники.

Баня на берегу. Ночное озеро чёрно-синее, недвижимое. А в бане звон, плеск. Он кидает ковш воды на седые камни. Взрыв, удар раскалённого жара. Она вскрикивает, закрывает лицо. Он в тумане видит её чудесную наготу, гладит её стеклянные плечи. Взмахивает распаренным веником, чтобы её не обжечь, поднимая своими взмахами душистый березовый жар. А потом – вон из бани, по мосткам, с разбега, в тёмное студёное озеро. Она плещется, плывёт в темноте. Он видит, как, белая, она выходит из тёмной воды. И он провожает её из озера обожающим взглядом.

Они поднимаются в гору, красную от подножья к вершине, покрытую дикой клубникой. Подол её белого платья в ягодном соке. Губы сладкие, розовые от клубники. На вершине горы – разрушенная деревянная церковь, серо-серебряная, с рухнувшим куполом. Они достигают вершины, поднимаются на церковное крыльцо. И с горы открывается безбрежная даль, красные боры, синие озёра, с высокой утиной стаей, с застывшим голубым облаком, из которого летит блестящий дождь. И вдруг такой бесшумный удар света, такая любовь к ней, обожаемой, к пролетающим уткам, к дощатой разрушенной церкви, ко всей неоглядной дали, которую подарил ему Господь, и к Господу, незримому и любимому, к которому ввысь в бесконечность стремится его верящая душа, исполненная лучистого света.

Веронов сидел среди ночи в своей московской квартире и чувствовал, как по щекам текут слёзы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наутро Веронов проснулся свежим, с лёгким сердцем, чувствуя освобождение от бремени. Он избавился от тяжкой обузы, от пагубной страсти, избавился от кабального договора, по которому терял свободу, превращал своё изящное легкомысленное искусство в орудие чужой разрушительной воли. Эта внешняя, воздействующая на него воля была отвергнута. Бодрый, счастливый, он пользовался обрётённой свободой. Монастырь за окном в летнем солнце был нежный, женственный, весь в кружевах, как волшебный цветок, от которого исходило сияние и чудное благоухание. Веронов поклонился монастырю, молитвенно, бессловесно, мимолётно подумав о маме, о бывшей невесте Вере Полуниной, испытав тихую светлую печаль.

Он принял душ и, к своей радости, убедился, что противная змея на груди исчезла, как исчезло недавнее помрачение. Пил кофе, отложив, не читая, газеты, слушая милую Анну Васильевну с её стареющей красотой, розовыми пухлыми щеками и тонкими морщинками над верхней губой. Она казалась ему привлекательной, домашней, доброй, как и всё в этот утренний час обрётённой свободы.

– Уж Вы на меня не сердитесь, Аркадий Петрович, что я Вам скажу. Не будете сердиться?

– На Вас невозможно сердиться, Анна Васильевна.

– Я хотела Вам сказать... Аркадий Петрович, почему Вы не женитесь? Вы такой видный, благородный. На Вас, наверное, женщины заглядываются. Столько прекрасных одиноких женщин, которые украсили бы Ваш дом. Вы состоятельный человек, Вам можно содержать семью. Вам в пору иметь детей, чтобы они здесь бегали, шумели. А Вы всё один да один. А в одиночестве Вам приходят всякие мысли, и Вы, как мальчик, шалите. А если бы у Вас была семья, была жена, Вы бы свои силы, свой ум тратили бы совсем по-другому. На пользу семье, на пользу людям. Вам, Аркадий Петрович, в доме нужна женщина.

– Да у меня уже есть в доме женщина. Это Вы, Анна Васильевна. Другой не нужно, – засмеялся Веронов, видя, как смущена Анна Васильевна и уже жалеет, что завела неделикатный разговор.

– А мой Степан Тимофеевич очень меня любил. Я с ним познакомилась, когда он был майором, а ушёл из жизни генералом. И мы всегда были вместе. Он был в Афганистане, а я детей растила. Думала, если его убьют, от него дети останутся, дальше жить будут. Очень он меня любил и не обижал никогда. – Анна Васильевна всхлипнула, отвернулась, и Веронов смотрел, как она прикладывает к своим бледным синим глазам платок.

Его телефон лежал рядом на столе без звука. Иногда начинала трепетать слабая вспышка, кто-то звонил, но Веронов не откликался. Телефон тонкой трубочкой соединял его с внешним миром, и по этой трубочке в его умиротворенный дом мог проникнуть яд, наполнить солнечные комнаты мертвенной мглой, как затмевает солнце пепел далёкого взорвавшегося вулкана. Веронов чувствовал, что в глубине телефона существует чёрная точка. И в этой точке таится взрыв чудовищной силы. От этого взрыва разомкнётся пространство, сгорит время, разверзнется бездна, в которую упадёт его обезумевшая душа. И он старался не смотреть на телефон, не отзывался на настойчивые мерцания. Из телефона дул едва ощутимый сквознячок, словно в нём открылась малая скважина, ведущая в непомерную тьму, где дуют жуткие ветры, гуляют смертоносные вихри, грохочут камнепады. Но из скважины долетал едва ощутимый сквознячок, лизал ему лоб. Было впечатление, что чёрная точка из телефона переместилась на лоб и блуждает, как метина прицела. Он чувствовал, как в нём шевелится живое инородное тело. Он был беременным. В нём разрастался страшный эмбрион, который требовал пищи, яростно трясясь, беззвучно орал. И видя, как трепещет в телефоне бледная вспышка, слыша утробный крик невидимого эмбриона, Веронов взял телефон.

– Аркадий Петрович? Это Вас беспокоят из Музея Российской армии. Ваш телефон дал нам Илья Фернандович Янгес, член общественного совета.

– Что Вам угодно?

– Илья Фернандович рекомендовал Вас как видного общественного деятеля и замечательного оратора. Мы открываем в Подмосковье, в селе Петрищево, обновлённый музей Зои Космодемьянской. И хотели бы просить Вас выступить на митинге в честь открытия музея. Сейчас, Вы знаете, участились нападки определённых людей на героев Великой Отечественной войны. Вы сможете выступить на митинге?

– Дайте мне подумать, – сдавленно ответил Веронов, слыша утробный рык. – Перезвоню через десять минут.

Он испытывал вожделие. Война и Победа были лакомством, на которое желал наброситься утробный зверь. Терзать, хрипеть, поливать ядовитой слюной, слыша бесчисленные стенания, видя, как содрогаются кости в братских могилах, как обессиленно сникают ветераны, меркнет сияние военных парадов, линяет красный цвет победных знамён, поминальное шествие Бессмертного полка тает и гаснет, теряя таинственную мощь воскрешения.

У него появлялся повод сокрушить незыблемую святыню, исторгнуть из миллионов сердец стон и рыдания, вкусить несравненную сладость осквернения, которое породит разрушительный вихрь, и тот сметёт последний оплот государства. Повалятся кремлёвские башни, в ужасе разбегутся войска, и обезумевший народ начнет кремешную бойню.

Его удерживала мысль, что среди братских могил есть одна, в сталинградской степи, где лежит его дед, молодой лейтенант-пулемётчик, добровольцем ушедший на фронт. Смертью своей он продлил слабую струйку рода, текущую через его, Веронова, жизнь. В юности, когда душа была исполнена родовых мечтаний, поисков сокровенных истоков, откуда возник его род, Веронов собирался

поехать в Сталинградскую степь и отыскать могилу деда. Положить на неё цветы, почитать стихи, которые хранились в тонких книжках из дедовской библиотеки, чтобы дед из своей могилы услышал вещие звуки. Но так и не поехал, всё откладывал *на потом* таинственное родовое свидание.

Теперь же ему предлагалось осквернить могилу деда. Чтобы в ужасе встрепенулись его лёгкие кости, и пуля, сразившая его, выскользнула из костей и продолжила свой полёт.

Он смотрел на телефон, и в нём раскрывалась тёмная сосущая бездна, в которую его влекло, и он был бессилен её миновать.

Взял телефон и набрал номер:

– Хорошо, я согласен. Выступлю на митинге.

Его «Бентли» мчалась по Минскому шоссе, среди сверканья встречных и попутных машин. Шоссе казалось голубым, с мелькающими тенями лесов, с внезапным озарением полей, в которых уже витал едва уловимый золотой свет близкой осени. На заднем сидении машины стоял саквояж, в который Веронов поместил сюрприз, приготовленный к выступлению в Петрищеве. Его замысел был сокровенным, он не подлежал разглашению, был связан с конспирацией. Веронов, боясь, что его мысли будут угаданы, прятал их, заслонялся легковесными песенками, сумбурными мыслями. Так прячут взрывное устройство в ворох мусора, в груды палой листвы.

На восьмидесятом километре шоссе возвышался памятник Зое Космодемьянской. Высокая, как хрупкий стебель, девушка тянулась вверх, но не туда, где в то далёкое утро над ней качалась петля, а выше, в предзимнее небо, куда готова была улететь её измученная, непокорённая душа. У памятника былолюдно, у подножья лежали цветы. Стояла полицейская машина с моргающей вспышкой. Проезжавшие автомобили в знак поминовения сигналили, и Веронов, подобно остальным, нажал на сигнал, боясь, что полицейские могут разгадать его замысел.

Деревенька Петрищеве, где была казнена партизанка(?!?)Зоя, являла собой небольшое поселение, дома уже трудно было назвать крестьянскими избами. Они были перестроены, обшиты современными материалами, рядом с ними были гаражи, на них круглились телевизионные тарелки, и обитатели их были не крестьяне, а дачники, быть может, дальние потомки тех, кто пахал здесь и сеял, а в чёрную военную зиму шёл смотреть, как немецкие солдаты вешают измученную девушку.

Кругом было многолюдно, шумно, вдоль улицы стояли машины, из репродукторов звучали военные песни – «Священная война», «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Было много молодёжи с цветами. Веронов, оставив машину у околицы, захватив саквояж, шёл в многолюдье к единственному, сохранившему вид крестьянской избы дому, тому, который собиралась поджечь Зоя и где располагалась команда немецких солдат. В этой избе всю ночь солдаты измывались над девушкой, из него на рассвете её повели на виселицу.

Перед домом в палисаднике цвели яркие золотые шары, розовели пышные мальвы. Цветы, посаженные заботливой рукой, говорили о красоте, нежности, о любви, превозмогшей смерть, о памяти, одолевшей забвение. Веронов на мгновение залюбовался цветами, испытал печаль, но тут же превратил свои переживания в жёсткую сталь затвора, который вогнал в ствол пулю. Ему предстояло сделать выстрел и поразить малую мишень, от попадания в которую содрогнутся земля и небо.

У палисадника толпились люди, немолодая женщина в платке с круглыми сорочьими глазами рассказывала, должно быть, не в первый раз, пользуясь случаем оказаться в центре внимания:

– Вот отсюда её повели, прямо по снегу, босой, в одной рубахе. А солдаты над ней всю ночь насильничали. А выдал её староста, который был кулаком, но не выслан. Когда наши пришли, конечно, его расстреляли. И две бабы, тоже из петрищевских, когда Зою вели, они на неё помои вылили. Также их расстреляли. А родня их уехала, кто куда, чтобы уйти от позора. А Зою вели вон туда, на тот конец, где уже народ согнали и виселица стояла.

И люди, слушая её, медленно тянулись туда, куда она указала, и девушка, державшая пучок красных гвоздик, положила на землю два цветка, туда, где когда-то ступила босая стопа Зои.

Музей был новый, с крыльцом, обшит нарядным тесом, пах свежей краской. У входа Веронов отыскал человека, который по телефону пригласил его принять участие в торжестве. Угадал его по георгиевской ленточке на лацкане пиджака, по оживлённым жестам распорядителя, по торжествующему лицу устроителя многолюдного действия.

– Аркадий Петрович, Вам будет предоставлено слово пятым по счёту. Сначала батюшка прочитает молитву. Потом глава района. Потом от министерства обороны. Потом ветеран. Потом Вы. Сейчас

осмотрим музей, – и он куда-то исчез, оставив Веронова у крыльца среди почётных гостей.

Священник был в фиолетовой ризе, шитой золотом, синеглазый, с добрым розовощеким лицом. Глава района, в дорогом костюме, смотрел приветливо, но подмечал, все ли видят в нём значительную властную персону. Генерал из министерства был строг, важен, с орденскими колодками, взглядывал из-под бровей жёлтыми ястребиными глазами. Старик-ветеран был с бесцветным измождённым лицом, выцветшими глазами, сутулый, согбенный, увешанный медалями и орденами, которые, казалось, своей тяжестью тянули его к земле. Веронов стоял среди них, сберегая под сердцем свой замысел, боясь выдать себя неосторожным словом или взглядом.

– Прошу в музей. Короткая экскурсия по музею, – позвал всех появившийся распорядитель. – Экскурсовод Вера Спиридоновна, очень коротенько, пожалуйста!

Молодая женщина экскурсовод, свежая, красивая, на высоких каблуках, воодушевлённая своей миссией, вела почётных гостей по музею, устремляя указку к экспонатам.

– Смотрите, вот такая ситуация сложилась к осени сорок первого года на фронте вокруг Москвы. – Указка скользила по карте, где чёрные стрелы фашистских ударов теснили кольцо красной обороны, прижимая его к Кремлю. – Вот места, где в районе Москвы действовали партизаны и отряды НКВД. – Экскурсовод перешла к соседней карте, где красными кружками среди чёрной оккупированной территории были обозначены партизанские центры. – Вот такими бутылками с зажигательной смесью была вооружена Зоя Космодемьянская, проникшая в деревню Петрищево, – экскурсовод, переступая, постукивала модными каблуками. Она волновалась, и румянец с её молодого лица окрашивал шею и перетекал за вырез платья, на открытую грудь. – Так выглядел мундир немецкого солдата сухопутных войск, которые в те дни обосновались в Петрищево, – в стеклянной витрине был выставлен грязно-зелёный мундир с нашивками и крестом. – А это личные вещи Зои Космодемьянской, платье и кофта, которые пожертвовала музею мама Зои и Саши Космодемьянских. Оба они были награждены посмертно Звёздами Героев Советского Союза.

Экскурсовод перешла к большой картине, где изображалась казнь партизанки. Горюющие крестьяне, немецкие кавалеристы, виселица с петлёй, под которой стояла Зоя в белой, испачканной кровью рубашке.

Веронов так внимательно слушал, так сочувственно кивал, так не отрывал глаз от скользящей указки, что экскурсовод, замороженная его вниманием, обращалась только к нему, искала его глаз, его сочувствия. Веронов же почти не слышал её. Думал, на какие святыни он посягал. Куда нацелен его удар. Победа была могучим реактором, питавшем энергией огромную измученную страну, не позволяя ей померкнуть. В этот реактор был направлен удар Веронова. Взрыв реактора выплеснет непочатую энергию, и реактор, распадаясь, испепелит огромные пространства русской истории.

Из музея направились по улице к месту казни. Здесь посреди деревни росли высокие ели, под ними высилась стела. Почётным гостям раздали гвоздики, и они печально прошагали к подножию стелы и положили на землю цветы. Десантники в голубых беретах с автоматами готовились салютовать. Рядом со стелой стояла небольшая трибуна, темнел стебелёк микрофона.

– Дорогие односельчане, уважаемые гости, разрешите митинг, посвящённый открытию нашего музея, митинг памяти Зои Космодемьянской считать открытым. Батюшка отец Алексей прочитает молитву.

Священник сиял епитрахилью, рокотал баритоном. Прочитал литию и обратился к собравшимся с пасторским словом:

– Зоя Космодемьянская – мученица тех великих и трагических лет. Судя по её фамилии, она была из семьи священников, служивших в церкви Козьмы и Дамиана. Значит, скорее всего, она была крещёной. А если нет, то крестилась кровью, приняв муку за «други своя», за Родину. И я предполагаю, что когда-нибудь наша православная церковь рассмотрит вопрос о её канонизации как мученицы, отдавшей жизнь за Христа, за Христову Победу.

Веронов вдруг испытал панику, желание убежать, но кто-то властный, мощный, поселившийся в нём, остановил его порыв, удержал на трибуне. И Веронов стоял, сжимая саквояж, слушая выступление главы района. Веронов слушал мёртвые слова чиновника, для которого открытие музея было мероприятием. Но под коростой омертвелых слов бушевал неугасимый огонь Победы, энергия таинственного реактора народной судьбы и веры. И этот реактор он собирался взорвать. Думая об этом, он чувствовал жжение в паху, словно туда приложили раскалённый шкворень.

Говорил генерал из министерства обороны, зорко оглядывал народ жёлтыми ястребиными глазами, словно выискивал несогласных. Веронов слушал его казённую речь, готовый проткнуть жестяную оболочку и своим ударом достичь негасимой, огненной плазмы, которой являлась Победа.

Ветерану, когда ему предоставили слово, стало плохо. Он что-то стал говорить, задрожал, закачался, из глаз потекли слёзы, и заботливые люди бережно свели его с трибуны, усадили на скамейку.

– А теперь слово предоставляется видному общественному деятелю, знаменитому художнику Аркадию Петровичу Веронову.

Чувствуя обморочную сладость, какая бывает, когда смотришь в пропасть, готовый рухнуть в неё, лететь в свободном падении, считая ослепительные секунды перед тем, как разбиться, Веронов шагнул к микрофону.

– У нашего народа есть ценности, которые делают нас бессмертным и неповторимым народом. У нас есть бесподобный храм Василия Блаженного, шедевр, в котором русский человек выразил своё представление о Рае, о Царствии Небесном. У нас есть священный Байкал, мировое озеро, сочетающее Россию с миром богов, которые по древнерусским верованиям обитали в реках, лесах, цветах. Байкал – бог русской природы. У нас есть Пушкин, явление космическое. Его Достоевский назвал всемирным, прижимающим к своему русскому сердцу все остальные народы. И у нас есть Победа, величайшее свершение мировой истории, сокрушившее проснувшийся ад.

Веронов чувствовал шаткие секунды, отделяющие его от падения, сосущее влечение, безумное упоение.

Мы – Герои Победы, известные и неизвестные, героиня Зоя Космодемьянская, сберегли не только Советское государство. Они сберегли и новое Государство Российское. Они святые, как сказал отец Алексей. Враги Государства Российского, наследники тех, кто желал сокрушить Советский Союз, делают всё, чтобы умалить и уничтожить Победу. Они обливают Победу грязью. Они пятнают героев. Целая кампания развёрнута против Зои Космодемьянской. Либеральные интеллигенты доказывают, что Зоя не совершила подвиг. Она была пироманка, то есть страдала недугом, заставляющим человека поджигать всё, что увидит. Поэтому она и хотела поджечь дом с немцами. Они клеветают, что Зоя была психически ненормальной, лечилась у психиатра, чем и был вызван её поступок. Что весь её подвиг есть плод советской пропаганды, которая хотела увлечь тысячи молодых людей, что сомневались в справедливости сталинского режима.

Веронов говорил, чувствуя, как что-то приближается, огромное, неудержимое, роковое, что влечёт его в бездну, отравляет мучительной сладостью, сжигает сладострастным огнём.

– Эти исчадия рода людского хотят представить подвиг Зои Космодемьянской как уродливое проявление психической болезни, помноженной на тотальную пропаганду. Но разве это не так? – Веронов стал расстёгивать свой саквояж. – Разве может нормальный человек идти по ночным лесам, чтобы поджечь крестьянскую избу, оставив без крова своих соотечественников? Разве нормальный человек, выдержав ночные пытки, способен бесстрастно босиком стоять на снегу под виселицей и произносить сталинские фальшивые лозунги? Разве не пора положить конец этим сталинским мифам, фальсифицирующим нашу историю?

Веронов извлёк из саквояжа макет виселицы, на которой качалась матерчатая кукла. Показал собравшейся толпе. Достал пузырёк с бензином, вылил на куклу. Запалил зажигалку и поднёс к виселице. Кукла вспыхнула, загорелась, шнур, на котором она висела, лопнул, и горящая кукла упала с трибуны на землю.

Ему показалось, что по всему небу полыхнула слепящая вспышка. Загудела земля, расступилась, открывая бездну. И он летел, восхищённый, самозабвенно закрыв глаза в жутком ликовании, испытывая могущество, власть над землёй и небом, несравненную сладость. Приближался к огненной сердцевине, волшебной, как чёрный бриллиант.

Толпа ошеломлённо молчала. Веронов сошёл с трибуны и стал пробираться среди людей, распахивая их локтями, а когда выбрался, побежал по деревенской улице к машине, слыша за спиной рыдающий вопль, крики, гул толпы. Раздались автоматные очереди десантников, стрелявших холостыми ему вслед.

Веронов упал в машину. Погнал из деревни. Мчался по шоссе, и ему казалось, что вслед ему несётся с беззвучным криком вставший из могилы отец.

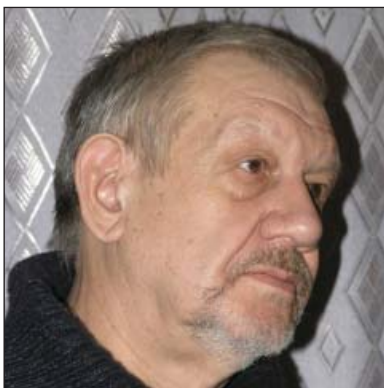
(Окончание в следующем номере)

Проза

Сергей Пылёв

Уважаемый, дорогой Сергей Прокофьевич!

Примите сердечное поздравление с 70-летием от Ваших читателей, почитателей, авторов и редакционного совета журнала «Берега»! Вашим творчеством Вы несёте в жизнь позитив, здоровое мышление, торжествующую справедливость, благородные поступки и улыбку! Оптимизма, любви, тепла и уюта, добрых дел, душевного вольнолюбия и непринужденности, свежих идей и их воплощения, новых радостных встреч с верными друзьями, прекрасного самочувствия, бодрости и энергии, вдохновения и творческих удач, целеустремленности и крепости духа!



Родился в 1948 году в Украине, город Коростень. Окончил в 1972 году филфак ВГУ. Служил в Советской Армии, работал электриком, грузчиком, сборщиком большегрузных шин, был редактором отдела прозы журнала «Подъем», гл. редактором журнала «Воронеж». Член Союза писателей СССР (ныне России) с 1984 года, автор 9 книг рассказов и повестей, выходивших в Воронеже и Москве: «И будет ясный день», «Обстоятельства», «Вам бы птицами родиться», «Радужная звезда» «Сон разума», «Человек Господа», «Удар возмездия», «На чистую волю». В 2017 году в Москве в издательстве Сретенского монастыря вышла книга С. П. Пылева «Божьи искорки». Регулярно публикуется в журналах «Подъем», «Москва», «Воин России», «Молоко», «Берега»,

«Север», «Волга». Награжден медалью общественного Совета ВДВ России «За верность долгу и Отечеству». Лауреат премии «Кольцовский край». Дипломант журнала «Берега» за 2017 год

Никишин сад

Повесть

Фермеру В. И. Новикову посвящается

1

Самая что ни на есть «казусна» история содеялась в «перший» день декабря 1991 года после подсчёта голосов на избирательном участке ворошиловградского совхоза «Заря коммунизма». Переякалась не только вся участковая комиссия в полном составе, но и приставленный наблюдать общественный порядок дежурный милиционер сержант Дорошенко, имени которого никто не запомнил. Всё произошедшее как есть походило на диковинные дела из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» или, более того, ведьмачьего «Вия».

Говоря без замысловатостей, на избирательном участке имело место быть доподлинное ЧП: когда к полуночи утомлённая, задёрганная комиссия свела по бюллетеням все «за» и «против», её председателю Валентину Семёновичу Корнилову вдруг стало плохо. Но не так, что голова внезапно заболела или сердце исподтишка прижало. С ним сотворился настоящий нервный приступ, сопровождавшийся яркими фантазмагорическими видениями. Сказалось переутомление?.. Ещё бы. И такое со счетов не скинешь. Однако одним этим сути произошедшего не объять. Какие такие должны были сложиться чрезвычайные обстоятельства, чтобы подобное смятение духа вкупе с жутковатыми галлюцинациями произошло с известным на всю Украинскую ССР начальником цеха животноводства, орденоносцем, сорокапятилетним хватким, напористым мужиком в полной силе и здравии? И с какой стати именно с ним?

Диспетчер «скорой» крайне внимательно выслушала сбивчивый, нервный рассказ «з переляку» Олександра Богдановича, зампреда этой потрясённой и впавшей в ступор участковой комиссии, который один из всего её состава оставался достаточно вменяемым. До поры до времени.

Дежурные врачи, получив тревожный звонок с избирательного участка, против заведённого, отреагировали без промедления. На тот день все службы «Скорой помощи» были заранее предупреждены свыше о сугубой важности предстоящего выборного мероприятия. Ведь речь шла не о рядовом голосовании, скажем, по персоналиям в сельсовет, а о всенародном волеизъявлении по вопросу государственного масштаба – «незалежности» Украины. Так что в совхоз «Заря коммунизма» оперативно помчалась самая лучшая бригада на исправной машине с абсолютно трезвым водителем. Прибыли они из Луганска за считанные минуты: совхоз, к счастью, располагался под самым боком у областного центра.

Кстати, вот как выглядел тогдашний трижды премудрый бюллетень, виновник всех этих и дальнейших злосчастных событий:

«АКТ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ

Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,

– продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства на Украине, – исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,

– осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – УКРАИНЫ. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения.

Верховный Совет Украины.

Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?»

Валентин Семенович, председатель избиркома, хотя и был в этих краях человек приезжий, из воронежского села Никишино, но за девять лет в тогда Ворошиловградской «Заре коммунизма» уверенно вписался в здешнюю жизнь и наработал достойный авторитет. На всех уровнях местной власти был он достойно отмечен: все стены его большого двухэтажного красавца-дома можно было вместо обоев обклеить бесчисленными почётными грамотами райкома и обкома КПСС Ворошиловградской области, а особый чёрный пиджак Валентина Семеновича, предназначенный сугубо для партийных отчётных собраний и конференций, отяжелело немалое число знаков отличия «за геройский труд и достижение высоких показателей в животноводстве, внесших большой вклад в развитие и процветание советского общества». И для телевизионщиков, и для газетных корреспондентов Валентин Семенович оказался настоящей находкой. Так что Корнилов часто мелькал на телеэкранах Ворошиловграда, Киева и даже самой Первопрестольной: сухощав, в движениях оборотист и с бодрым, харизматическим лицом, – ранняя, с прожелтью седина, высокий, маститый лоб над пшеничными бровями, ярко-серые цепкие глаза с броским взглядом и печальные тонкие губы; в меру скуласт. Ко всему, умеющий говорить убедительно, умно и с дальновидностью ни мало, ни много государственного мужа. Ещё и мог этот крестьянский сын в разговоре запросто определить в нужное место бессмертную «крылатую» фразу классического Марка Туллия Цицерона, легендарного Гай Юлия Цезаря или утонченного Марка Фабия Квинтилиана. Ещё и голос имел хорошо поставленный. Командирский. В дивизии имени Дзержинского он его обрёл за годы срочной службы с сержантскими лычками на погонах. Ко всему, Корнилов, хотя и руководил в основном по части скотины, никогда не был замечен с навозной жижкой на своих непременно итальянских или германских туфлях или, ещё чего, в затрапезной рубашке: всегда ходил в торжественно белой, нейлоном или батистом сияющей. Смотря по моде. Одним словом, смотрелся Валентин Корнилов настоящим начальником. Человеком, который на работу не опаздывает, а задерживается.

Соответственно и в его ветеринарном хозяйстве во всём был деловито отлажен старательный порядок. И когда работал он смолоду под Воронежем в колхозе «Родина», или теперь, когда трудился в Ворошиловградском совхозе «Заря коммунизма».

– У меня на ферму без бахил никто не зайдет! – веско говорил он корреспондентам, открывшим рты и удивленно озирающимся на дерзко-стерильную чистоту вокруг. – Видите, наши доярки и скотницы, – все в белых накрахмаленных халатиках и платочках! Чисто медсестрички. На каждой ферме – санпропускник. Для людей – медпрофилакторий: солярий, физкабинет. В целях оздоровления. Пришла доярка на работу, а тут у неё что-то кольнуло: она раз – и к нашему фельдшеру. Её тут же посмотрели и подлечили. За пять лет я это сделал. Так что в город ехать лечиться никакой необходимости уже нет! Всё рядышком, всё схвачено!»

«Молодец! Корневой мужик! То-то и фамилия у него такая – Корнилов... Перспективный кадр!» – последнее время не раз с доброй улыбкой отечески думал о нем первый секретарь Ворошиловградского обкома КПСС Анатолий Ильич Онищенко. Он с недавних пор настроился продвинуть этого успешного начальника цеха животноводства на должность ни мало, ни много директора совхоза. А через два-три года, если тот не подведет, поставить во главе района. Так что днями ушло в Москву фельдьегерской почтой представление к награждению В. С. Корнилова медалью «За трудовое отличие».

Работу в тот день 1 декабря начали на избирательном участке с раннего утра в самой что ни на есть праздничной обстановке. Ещё и украшенной букетами благоухающих голландских цветов, словно ненадолго отменивших зиму своими живыми свежими ароматами. А по углам зала были расставлены срезанные деревца, как это бывает в православных храмах на Троицу: в основном берёзки, тоненькие, с голыми замороженными веточками. И между всем этим праздничным антуражем везде, даже на люстрах, – флаги и флажки нового, только месяца три как введённого сине-желтого знамени Украины.

Первых голосующих встречали хлебом-солью. Конечно, и наливали. Что они; не люди? В меру, для укрепления самостоятельности патриотизма. Потом же – школьная самодеятельность: пацаночки и пацаны лет тринадцати, в красно-белых льняных вышиванках с кисточками, волнуясь, не понимая почти ни одного слова, нестройными, но строгими голосами пели раз за разом гимн Украины. Он почему-то звучал у них, как реквием.

Живи, Украино, прекрасна и сильна,
В Радянським Союзи ти щастя знайшла.
Миж ривними ривна, миж вильними вильна,
Пид сонцем свободи, як цвит, розцвила
Слава Союзу Радянському, слава!
Слава Витчизни народив-братив!
Живи, Украино, радянська державо,
Воззеднаний краю на вики-вिकив!

Нам завжди у битвах за долю народу
Був другом и братом російський народ,
И Ленин осяяв нам путь на свободу,
И партия веде до свитлих висот.

Избирательный участок располагался в школьном актовом зале. Сразу за дверями начинался молодой, пятилетний, сейчас насквозь видный яблоневый сад, нежно высланный перекастистым свежим снегом. Валентин Корнилов был инициатором заложить его в память о тех, кто из сельчан погиб в Великую Отечественную, кто в Афгане или Чечне... Каждому герою – по деревцу. Сорт сам подбирал. В итоге остановился на «комсомолке», какая по-девичьи румяно, весело украшала их родительский сад в Никишино. Первый урожай школьники сняли уже на третьем году. Надкусишь с усердием такое невиданное красномякотное яблочко, так оно во все стороны озорно и брызнет алым, медово душистым соком. Кстати, Никишинцы почему-то называли этот ни у кого не встречавшийся в округе алый сорт – «пьяница».

Итак, вечером, прежде чем отдать распоряжение прекратить голосование в связи с истечением обозначенного для референдума времени и запереть входные двери, Валентин Семенович сверил часы, лично вышел за порог убедиться, нет ли не проголосовавших людей на подходе?

Но на старательно прочищенных дорожках, ведущих к школе, никого. На столбах нежно сочатся пухлым светом фонари, словно укутавшись в него, а на крыше два воинственно ярких, специально

для такого особого дня установленных прожектора, бдительно пробивают темноту до самой до околицы.

Валентин с молодцеватым азартом вдохнул несколько раз особенно ёмкого из-за морозца воздуха, зацепил тувельным лакированным носком ажурный снежок у порога, искристо пыхнувший, и вернулся позвонить в районную избирательную комиссию.

Он деловито, обстоятельно доложил, что никаких происшествий и нарушений, пусть хотя бы и маломальских, не имелось: люди шли охотно, порой толпами, некоторые с собственной музыкой, пели и плясали всласть, иные душевно позволили себе по чуть-чуть выпить, но время вышло, – пора подсчитывать голоса. Момент истины, так сказать, обозначить.

Получив «добро», он деловито окликнул прикрепленного на участок дежурного милиционера и сложил перед собой руки крест-накрест. Молодой, задорный сержант Дорошенко всё понял, и тотчас навесил изнутри на двери заранее приготовленный замок. Строго подёргал его раз и другой для надёжности.

– Может, опечатаем, Валентин Семёнович? – бдительно спросил.

– Не надо, – отмахнулся Корнилов и отчески оглядел явно притомлённых и несколько поскучевших членов комиссии. – Товарищи, а что если мы наскоро перекусим, прежде чем начать подсчёт голосов? Как оно?..

Идею встретили радостно. Тем более что Валентин Семенович разрешил и по сто граммов доброго травного самогона. Из припасов его зама Олександра – личного водителя директора совхоза «Заря коммунизма» Тараса Николаевича Петренко. А где сто, там и двести, а то и все триста для полного благополучия нервов, утомлённых за день суетой и толкотнёй.

Вскоре в этой душевной большой школьной комнате, называемой актовым залом, сквозь мерцание текучего, развалистого сигаретно-папиросного дыма запахло ещё и блескучей ажурной яичницей на румяном сале, отварной рассыпчатой бульбой, утопшей в медовой густоте топленого коровьего масла с укропчиком, и жареными домашними колбасками: свининка со шпиком от хребтовой части, щедро заряженная едучим чесноком и сладко-пряными листочками майорана.

Так что за подсчёт бюллетеней комиссия принялась на подъеме. Бумаги в их руках стремительно замелькали, бликуя в свете люстр, и тем минута от минуты невольно гипнотизируя членов комиссии. Считали молча, вдумчиво, тесно сгрудившись над широко раздвинутым столом. Лишь кто-то порой судорожно вздохнёт, крикнет, кто-то головой покачает или с кем-то взволнованно обменяется быстрым взглядом. Всё это со стороны напоминало некую азартную и в то же время рисковую игру. Историю делали, как-никак. Но были и такие, что уже устало, сморено стояли от неё в стороне.

Секретарь комиссии и одновременно директор этой школы Марина Петровна, тоже, кстати, приезжая, тоже из Воронежской области, подала Корнилову на подпись окончательный протокол. В глазах у неё стояли необычных размеров густые слёзы. Валентин Семенович, ещё не взглянув на бумаги, наперед обостренно догадался о причине такого её расстройтва. Как-никак, он по должности своей от часа к часу видел, куда поворачивает итоговый результат голосования.

Корнилову враз стало не по себе. Не вдохнуть, не выдохнуть. Его как мороз продрал по спине. Но так жёстко, словно металлической щёткой. Ещё и словно ослеп он. По крайней мере, никого вокруг не мог толком различить. Лишь какие-то белесые, расплывчатые пятна мельтешат. И все звуки слов непонятные, несвязные, будто он вдруг оказался в толпе каких-то иностранцев, если вовсе не инопланетян. Одним словом, небо показалось ему с овчинку.

Это состояние Корнилова тревожно заметили многие, почти все. Кто-то осторожно подходил к нему, пробовал, заглядывая в глаза, осторожно заговорить. Чтобы встряхнуть человека. Кто-то стаканчик отменного самогона ему предложил. А в другой руке предусмотрительно – булочка с невозможным салцем. Словно нежно улыбается оно тебе.

Валентин Семенович ото всех лихорадочно, иступленно отмахивался. И всё что-то бормотал, бормотал себе под нос...

Лишь много позже он открылся сыну Эдьке, когда тот подрос, когда они уже фермерствовали вместе на родных никишинских землях, что же такое с ним произошло четверть века назад 1 декабря 1991 года под конец работы счётной комиссии.

Душа измождённо требовала этого все годы. Доколе можно такое в себе держать?.. Особенно теперь. Вон какое напряжение ныне у нас с некогда братской Украиной. А ведь тогдашнее происшествие на избирательном участке при всей будто бы своей малости, локальности, если трезво рассудить да масштабы сопоставить, – ни мало, ни много было явно исторического значения. Факт. Более того, без его осознания вся дальнейшая жизнь Валентина Семёновича будет непонятна, как пьяная кривая.

В общем, в середине апреля уже две тысячи семнадцатого шёл Корнилов-старший с сыном Эдкой смотреть свою землю, отведённую под подсолнух: не пора ли приступить? Все никитинские фермеры уже отсеялись «по полной».

Эту бросовую полосу земли ему лет двадцать назад отрезали от полей родного колхоза «Родина» неподалеку от охотничьих угодий, где и без дождей всегда было сырое место. Первые люди, кто тогда из колхоза выходили на вольные хлеба, только такие места и получали. К фермерам поначалу местная власть настороженно относилась.

Так что на этом поле у Корнилова по весне всегда болото стоит. Себе бывший колхоз «Родина» оставил «любок», а ему – на тебе, Боже, что нам негоже. Но это колхозу не помогло. Развалилось их бывшее коллективное хозяйство. С треском. Ненадолго пережив Союз нерушимый...

«Вот как тут рассудить?... – не раз муторно задумывался Валентин Семенович. – Как в таких местах можно вовремя посеять? Раньше, чем перед Троицей, не сложится. Когда у людей уже будут хорошие всходы стоять. Естественно, я против них на две-три недели, а то и на месяц съезжаю от нормы. А как подсолнух у меня проклюнется, жара начнётся, жарой его будет бить... Хотя так не всегда. Не буду Бога гневить... Прошлый год сложился по всем показателям удачный. Пшеница где-то за 30 в среднем с гектара дала, ячмень тоже, наверное, центнеров 27, подсолнух 20 или чуть побольше – 22?! А вот ныне опять залило. Ромашка одна вырастет. И ничем не поможешь. Никакой мелиорацией. Что ни делай – вода на бугор не потечёт».

Присели они с сыном. Того и гляди голова закружится от первотравного тёплого дыхания земли: напористо, деловито лезут на свет новорожденные лопушки, чистец, тимофеевка, тот же синяк или король всякого бросового места – татарник. Ящерики резво прыскают от блаженства; шмелиная матка низко, тяжело прошла в сторону заиленного серого заливного луга – ищет, где ей норку обустроить для дома своей будущей семьи; чёрный коршун вдумчиво скользит на теплом воздушном потоке.

Солнце млеет над головой, точно боясь расплескать свой текучий, жидкий жар.

Воспользовавшись передышкой, Эдик вытащил из раззявленного кармана затертой фуфайки дорожный корейский айфон, дабы «пошарить» по Интернету.

– Ей Богу, не понимаю я вас... Что там умного?! – строго покосился на сына Валентин Семенович. – Одни глупости. А вы тыритесь и ржёте, чёрт знает над чем! Вам же мозги нарочно пудрят! Ещё и за ваши деньги. Чтобы вы не по-русски жили...

Эдик мягко усмехнулся, продолжая неуклюже скользить своим крестьянским, натруженным пальцем по матово мерцающему экрану.

– Не гуди, батя... Может, мультик классный найду?

– Дитё малое... Давай лучше за жизнь поговорим. Весна, видать по всему, хорошо взялась, серьёзно, – хозяйски огляделся по сторонам Валентин Семёнович. – Из века в век соблюдает природа должный порядок, очерёдность. Сколько гляжу, и всё основательней укрепляюсь во мнении, – человек у неё точно с боку припёку! Словно чужой! Чужой... Ох, Эдка, страшное это дело... Чужой...

Слушая отца в полуха, Эдик раскинул на груди фуфайку, чтобы солнышко явственней, нежнее ощутить.

– Человек за свою жизнь в какой только оболочке не побывает, – сосредоточенно, напряжно продолжал Валентин Семёнович, выискивая, разгребая подход к своей больной теме. – И ребенок он, и взрослый, когда влюблённый, когда ненавидящий, то умный, то глупый... Или вовсе дурак! Во всяком его таком положении есть своя боль и интерес! Но нет ничего страшнее, чем ощутить себя ЧУЖИМ! Особенно, когда вокруг тебя люди, сотни людей, тысячи их, или вовсе миллионы, а ты им всем – чужой! Враг, считай... Вот как...

Валентин Семёнович судорожно напряг губы.

– Эх, Эдка. Такое дело мне пришлось однажды пережить... Четверть века минула, а как поминать буду на самом последнем вздохе всё равно опять вспомню... С жутью!

– Это ты про избирательный участок под Луганском намекаешь? В твоём бывшем совхозе «Заря коммунизма»?

– А ты откуда знаешь? – строго подобрал губы Валентин Семенович.

– Да ты как переберёшь, очень часто сам с собой об этом тогдашнем референдуме на Украине чего-то там споришь... Иногда так до крика!

Облако медленно накрыло Солнце, как за пазуху себе аккуратно сунуло. Свет перемигнул и поблек. Всё вокруг матово посерело. Валентин Семёнович тревожно вздохнул.

– Не обижайся, батя! – молодцевато вскрикнул Эдик. – Это государственная тайна? Колись! Столько времени прошло... Ни СССР твоего нет, ни КГБ, ни КПСС! С Украиной мы теперь по разные стороны баррикады... Так что мне даже интересно знать! В конце концов!

– Интересно? Интересного в этом, сынок, ничего не наблюдается... Одна жуть, как вы сейчас говорите, – сухо, нервно произнёс Валентин Семёнович. – Только начну с предыстории. Иначе ни хрена не врубишься...

3

Осенью 1982-го собрался он проведать в Украине одного из своих братьев, Николая, – старшего за ним по годам. Тот уже лет пять жил в совхозе «Заря коммунизма» под Ворошиловградом, ныне опять Луганском. Это не за горами-за долами. Что до Воронежа от Никишино, что туда – один километраж: примерно две сотки. Для новенькой белоснежной тольяттинской «копейки» Валентина с мотором итальянской сборки это было не расстояние вовсе.

Но ни удочки не взял с собой тогда в поездку Валентин, ни ружье свое любимое, бельгийское, пятизарядное. Одним словом, явно не отдыхать ехал после бессменной маяты летней страды.

Валентин точно сбежал туда: вдруг пошли вразнос их ещё недавно родственные лады с Алексеем Тарасовым, председателем «Родины». Оба они Никишинские, женаты на сёстрах. Оба окончили один сельхозтехникум – Берёзовский, правда, с разницей в десять лет.

Валентин после «восьмилетки» не смог учиться дальше, хотя и обнаружил при хорошем поведении отличные знания по всем предметам. Судьба так определила, что ему и этих знаний достаточно, а есть для него дело поважней, – стать старшим в семье и поднимать на ноги четверых братьев да двух сестер. Отец, Семен Ильич, в свои двадцать два года вернулся с войны тяжелораненый, «раскуроченный», как он себя называл, имея в виду фронтовую потерю ноги и руки. Болел батя, не работал, но, правда, сделал «Богу и царю» семеро детей, прежде чем умереть, да оставил в наследство большой семье корявую избу под крышей из гнилой соломы и трофейный немецкий мотоцикл «Сахара». Мать, Мария Ивановна, одна не сладила бы с таким отрядом детишек на трудодни свекловичницы. Отец тогда уже не вставал. Порой просто нечего было есть. Так что свидетельство Валентина об окончании «восьмилетки» с ярко-красным гербом РСФСР и крохотными, какими-то детскими росписями директора да учителей мать со слезами бережно повесила в рамке под стеклом в горнице – на бревенчатой стене слева от иконостаса. На том учеба его и остановилась тогда...

Ещё в восьмом классе, в последней четверти, на излёте зимы, подался Валентин на механизаторский всеобуч: к ним в Никишино тогда приезжали преподаватели СПТУ из райцентра. Трактористов в колхозе «Родина» не хватало. К концу весны он сдал экзамен на механизатора, а летом его забрали в тракторный отряд прицепщиком. С первых дней пацан среди мужиков не потерялся: сказала твёрдая отцовская трудовая закалка. Ибо первая заповедь Семёна Ильича была такой: «Крестьянин – от слова «крест». И нести нам его через всю жизнь. А с ним на спине не забалуешь!»

Первое время отец, пока и вторая нога у него не отгнила по пах, кое-как управлялся в страду на комбайне, – Валентин на подхвате всегда подле был. До сих пор свято чтит он эти свои полевые университеты. Когда и ныне, по какому-такому случаю придётся вдруг вспомнить Корнилову то время, так он тотчас судорожно вздохнет, руки на затылок замком резко кинет. Помощником на тогдашнем комбайне СК-4 не так-то просто было работать. Во-первых, надо раньше отца прийти, чтобы агрегат прошпринцевать вручную. Во-вторых, ещё и заправить ручным насосом двести литров солянки. А какво закачать такой объём пацану в тринадцать лет?! А все удобства комбайна – зонтик над головой от дождя и солнца да металлический ящик вместо сиденья, которым почти никогда не пользовались: управляли, стоя на мостике. По-капитански! Отец в работе всегда был очень строг. Отец – есть отец. Он и спросит, он и пожалеет.

К осени Валентину дали раздолбанный гусеничный ДТ-54 ещё послевоенной сборки, но – Сталинградский! Из тех краёв, где отца раскурочила фашистская мина. А тут ещё прочитал он очерк в газете «Правда» про знаменитого кубанского механизатора Героя Соцтруда Владимира Первицкого. «Притяженье земли». И по школьной привычке химическим карандашом, старательно слюнявя, выписал из него самые важные строки в особой важности тетрадку с ярко-синей клеёнчатой обложкой, украшенной гербом СССР – таким любимым, праздничным и добрым. Рядом с очень нравившимися стихами какого-то запрещённого поэта, фамилию которого никто тогда не знал:

Клён ты мой опавший, клён заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел...

А взволновавшие Валю в газете слова про героя-механизатора были такими: «Он не выбирал лёгкого пути в жизни, не искал удобную работу, а шёл смело туда, где было трудно. Так было и при освоении технологических методов возделывания кукурузы без затрат ручного труда. Мыслима ли была в те годы сама постановка этого вопроса, когда лучшая часть специалистов не вернулась с войны, а оставшиеся ценились на вес золота?! Этот дерзкий вызов природе у многих вызывал сомнение. У Первицкого сомнений не было, и он без раздумий погружает себя и своих друзей по звену с «ног и до ушей» в изнуряющую 14-16-часовую ежедневную работу. Результаты были настолько разительны, что первоначально не верящие стали верящими, а сомневающиеся – активными сторонниками и помощниками. На долю этого человека выпали и немалые испытания, и небывалая слава, и беспокойная старость. Не сидится кубанскому крестьянину на месте. Не отпускает земля на покой, зовёт своим теплом и дыханием, будит по утрам птичьим гомоном. Как без неё родимой жить, как не холить, не лелеять? – Невозможно представить. И вся та слава, все почести – от неё. Отблагодарила, матушка, сторицей за все труды и бессонные ночи, за солёный пот и мужское упорство».

Одним словом, вот тогда и включилась в Вальке на полную мощность родовая корниловская суть. И он, шестнадцатилетний пацан, с напарником тех же годков, ни мало, ни много записались в последователи Первицкого – решили выращивать кукурузу его новаторским методом!

А через пару лет повзрослевшие мальчишки первый раз увидели большой город – их привезли в Воронеж на слёт передовых механизаторов, наградили в музыкальном театре Почётными грамотами и гордым званием «Ударников коммунистического труда». Как-никак они вырастили по 50 с лишним рекордных центнеров с гектара хрущёвской «царицы полей».

Осенью 65-го Валю провозжали в армию всем селом с почестями героя. Служил водителем в Москве. В особого назначения мотострелковой дивизии Дзержинского МВД СССР. Краснознамённой, элитной. А когда вернулся сержант Корнилов весной через три года, – так сразу отца похоронил. При нём Семён Ильич десять дней только пожил. И за это время ни слова не сказал сыну, – сил не было. Лишь растерянно улыбнулся в самый последний момент у него на руках.

Нехороший запах гангрены надолго остался в избе. По крайней мере, Валентин, пока её не снесли, всегда его чувствовал: чёрный, жирный и какой-то злобный.

В этом месте воспоминаний даже сейчас через полвека Валентин Семёнович как затыкается. Дома ли случится мыслями вернуться к той дембельской смертной весне, или на поле, за столом с друзьями, на охоте или на берегу своего Чудского озерца, золотистых увесистых сазанчиков ловко подёргивая одного за другим, – так тотчас и заглохнет голос у Валентина Семёновича. Резко отвернется Корнилов физиономией в сторону, чтобы не только слезу не показать, но и норовя таким рывком смахнуть её прочь. В прямом смысле слова – с глаз долой.

«Вот тогда, после смерти бати, и свалилась на мои плечи вся семья...», – стеснённо произносит он и как-то растерянно оглядывается, точно от внезапно нахлынувших острых чувств никак не сообразит, где он сейчас находится, в каком времени? В том, далёком, или, слава Богу, всё-таки в нынешнем?..

Четыре брата: каждый через год, начиная с 51-го, когда отец чуток оклемался от ран на какое-то время: Николай, Алексей, Юрка и младший, восьмилеток, Никита, в честь тогдашнего руководителя страны товарища Никиты Сергеевича Хрущёва, гордо объявившего, что это поколение советских людей будет жить при коммунизме! За работу, товарищи! За парнями следом прибыли в этот мир

сестрицы Анна и Нина. Кстати, Нину родители тоже хотели назвать, как и его, Валентиной. Но только в честь первой женщины-космонавта Терешковой. Валентин и Валентина. Радовались такому своему космическому решению как дети малые, но недолго. Он отца с матерью строго отговорил: так-таки взял верх авторитет старшего сына. Вон ведь его недавно в феврале шестьдесят первого, ожидая приезд в Воронеж на областное совещание самого Хрущёва, наверху собирались вместе с другими ударниками по кукурузной линии торжественно представить самому главе СССР! Потом, правда, обком в отношении Корнилова такое своё смелое намерение спустил на тормозах. Как вдруг не приглянется Первому секретарю ЦК КПСС название родного села Валентина, произошедшее от фамилии помещика Никишина?.. Да ещё оно рискованно, чуть ли не пародийно созвучно с именем Хрущёва: Никишин-Никита. Имелась в этом вопросе и другая сторона: хотя давно минули годы гражданской войны, но витала в российском воздухе память о Корнилове Лавре Георгиевиче, командующем Добровольческой белой армии. В общем, от греха подальше, заменили Валентина на кандидатуру Ивана Иванова, передовика-комсомольца из Берендеевки. Но и с ней вдруг оробели наверху. Во времена оные это село свой нынешний топоним заполучило от человека по имени Берендей, что означает «спорщик, тот, кто во всём перечит». Так что и Берендеевку признали непригодной для чуткого политического слуха Никиты Сергеевича. Дальше так вообще суетливо спотыкаться начали с выбором: как на грех здешние передовики все как один оказались из сел с чудными именами – Чулок, Бабенки или вон Закобякино, Гниломедово и вовсе анекдотическое – Бухалово. Однако, в конце концов, обнаружилась-таки на карте района деревенька с самым что ни на есть уместным названием, в жилу, – Ударник! А так как настоящего ударника там тогда не имелось, тем более что по части кукурузы, пришлось срочно сформировать образ с помощью приписок. Никакой комедии в этом не было. Все произошедшее укладывалось в жизненные порядки того времени. Вон же Герман Титов, тогда лучше всех кандидатов готовый к первому полету в Космос, стал в итоге космонавтом номер два: Хрущеву показалось идеологически неправильным, что космическую эру откроет человек с каким-то очень не нашим именем.

Правда, эта встреча в Воронежском обкоме КПСС Никиты Сергеевича с лучшими молодыми кукурузоводами области, так и не состоялась: возмущённые ростом цен на сливочное масло и молоко, на торжественном митинге на центральной площади рабочие областного центра неожиданно встретили Хрущева не аплодисментами и пением «Интернационала», а сердитым лязгом ложек по пустым алюминиевым кастрюлям. Раздались голоса: «Хрущёв, давай мясо, молоко!» Такое поведение горожан очень расстроило Никиту Сергеевича. А тут ещё кое-где на местах не успели к высокому визиту скосить кукурузу и в горячности прицепили к трактору 25-метровый рельс, чтобы ускоренно повалить стойкие растения. Хрущёв так рассердился, что этот случай разрешили опубликовать в прессе. Вышел конфуз. Хорошо, что тогда ещё до танков и стрельбы не дошло в Воронеже. Как через год в соседнем Новочеркаске...

4

Как-то в середине лета вызвал демобилизованного Корнилова новый председатель колхоза «Родина» Алексей Кириллович Тарасов, ещё недавно первый секретарь райкома комсомола. Партия взяла его на заметку как перспективный номенклатурный кадр и приступила к обкатке в сферах власти. Руководить – не рукой водить. Тут и внешний вид многое значит. А в этом плане Алексей Кириллович был весьма природой предназначен для элитных должностей: роста сугубо статного, чуть ли не величественного, но при всем при том весь из себя резвый, и с глазом бдительно зорким, прирожденно начальственным оком.

– Пойдешь, Валя, ко мне личным водителем? – голосом будущего партийно-хозяйственного небожителя предложил Корнилову Алексей Кириллович.

– Пойду! – взволнованно вздохнул Валентин. – А ездить на чём будем?

– На «ГАЗике».

– «Шестьдесят седьмом»?

– На «козле» пусть парторг ездит. Мне из области вчера пригнали новенький «шестьдесят девятый».

– Армейский?!

– Точно, Валя.

– Так я уже видел его! Только подумал, что это какой-нибудь высокий начальник из области промчался по нашему Никишино. Машина – ух! Привод полный? Четыре на четыре?

– А то! И зарплатой не обижу. Знаю, ты теперь старший мужик в семье. Первый кормилец. Тянешь на себе целую ораву мал мала меньше. Не обижу.

Валентин благодарно вздохнул. Слово «зарплата» тогда на селе было ещё непривычным, точно из области иной, недостижимо счастливой жизни. Вместо трудодней и палочек под натуральный расчёт, она была введена у них только два года назад, но до сих пор ещё не шуршала в руках ни у кого из Никишинцев. Так что разжиться «живыми» деньгами можно было разве что на щепном базаре в Воронеже. Но для этого приходилось преодолевать немало всяких разных тормозящих обстоятельств, что не каждому оказывалось посылно: что везти, на чём, как отпроситься и насколько отпустят? А вот где ночевать, так это решалось просто: или у сбежавших в Воронеж земляков, или в Доме колхозника на Никитинской улице возле базара, а то и вовсе не отходя от торгового места в целях пушей безопасности и дешевизны – на своих же мешках под фуфайкой.

– А если паспорт мне для чего потребуется, выдадите? – вдруг смело, даже отчаянно сказал Валентин, так как этот документ на руки колхозникам просто так не отдавали из строго назначенного ему места хранения – сейф председателя.

– Договоримся. Только работай хорошо. Как и служил!

Валентин хватко взял под козырёк. Пружинистая ладонь чуть ли не присвистнула в воздухе. В армии тренируют красивую отмашку. Он ещё в порыве чувств пожал руку молодому председателю.

– Корниловы обратного хода ни в чем не знают... Если пошли вперёд – не остановишь. Назад пятиться дороги нам нет. Вон батя под Прохоровкой, когда снаряды у них закончились, с голыми руками пошёл на фашистский «Тигр»...

«Я зубами собрался рвать его броню...», – вспоминал, бывало, белея лицом, Семён Ильич.

Быть личным водителем председателя колхоза – это особое дело со всеми вытекающими разными обстоятельствами. Валентин в них вписался. Армейская закалка помогла. Как-никак служил он в полку оперативного назначения. Окончил курсы сержантского состава. А держать язык за зубами их с первых салабонных дней отцы-командиры научили. Взводный, прапорщик Криворучко, человек внушительной телесной пространственности и роста, ни с кем в дивизии не сопоставимого своей высоченностью, так тот, даже смеясь, умудрялся бдительно хмуриться. Так вот он по несколько раз на день, точно молебен служа, вдалбливал в зябкие мозги новобранцев: «Наша дивизия, сынки, решает специфические задачи. Не дай Бог повторится Новочеркасск или того хлеще, так нам там быть придётся в первую очередь. И в народ стрелять. В свой, родной. А как иначе? Приказ – святое. А охранять здания ЦК КПСС? Совет министров СССР? Тоже мы! А что про нас в народе некоторые бестолковые люди нелепо гуторят? Одна фантастичность на грани вражеской пропаганды! Будто личный состав дивизии подбирается только из выпускников детских домов, как есть там самые отчаянные сорвиголовы, или что бойцам, то есть вам, салабоны, дают секретные медицинские препараты, лишаящие страха. Ещё враки: мол, подсыпают в обеденный компот специальный порошок на бrome, чтобы вы на девчонок не заглядывались! Я бы подобных болтунов одной берёзовой кашей кормил!»

Одним словом, молодой председатель Тарасов с таким водителем мог, при необходимости, позволить себе «надратся в хлам» и быть сокрыто доставленным и переданным на попечение разъярённой супруге Виктории; мог без страха и упрёка навещать «полюбовниц» как в Никишино, так и в райцентре, а позже в самом Воронеже, где обрёл себе особой стати пассию из балетных солисток музыкального театра – Ангелину Юрьеву.

В общем, Валентин, прошедший хорошую школу спецопераций в знаменитой дивизии, во всём толково прикрывал «хозяина» и порой мужественно брал огонь на себя. Так было, скажем, и в тот раз, когда Тарасов решил, остыв через месяц их пылкой любви с Ангелиной, послать ей по завешенной им куртуазной манере прощальный букет. Само собой, к его разнеможным, словно плачущим капельками влаги густо-жёлтым розам как всегда прилагалось для дамской души нечто более существенное: или модные югославские сапоги из недавно открывшегося воронежского магазина «Морава», или спецталон на приобретение импортной мебели в городе атомщиков Нововоронеже, имевшем режим снабжения повышенной категории, а в тот раз – особая ювелирная изысканность: золотые часики ручной филигранной работы, чешские.

– Погоди, миленький... Твоему начальнику я приготовила ответ! – весело сказала Валентину Ангелина.

С достоинством, неспешно отнеся в дом подарки, она через минуту вернулась, по пути машинально подраспахнув на своей достойной груди черный китайский шёлковый халатик с пучеглазыми драконами, коварно льнущими к ней во всех допустимых и не очень допустимых местах.

– Передай привет моему малышу! – просияла она кинематографической американской улыбкой, видимо коварно имея в виду не самого двухметрового Тарасова, а нечто его частичное, что, тем не менее, тревожно смущало своими аккуратными размерами молодого председателя.

После этих слов Ангелина с восхитительной усмешкой медленно вылила на голову Валентина флакон изысканных французских духов. Кажется, это были знаменитые Climat с романтическим ароматом розмарина, мускуса и бергамота. Для зрелых, уверенных в себе женщин. От легендарного парфюмера эпохи 60-х Жерара Гоупи.

Парфюмерную экзекуцию Корнилов выдержал, не шевельнувшись, едва ли не держа по-армейски руки по швам.

В любом случае, цель Ангелиной была поражена, как говорится, с первого пуска. А от слова «малыш», с эдаким вывертом переданного Валентином, Тарасов зарычал чужим голосом, и первый раз в жизни потребовал валидол. Получилось, правда, так, что тот был употреблён не в качестве лекарства, а словно бы типа специфической закуски с мятным привкусом, – перед таблеткой Алексей Кириллович вогнал в себя подряд два гранёных стакана знаменитого болгарского пятизвёздочного коньяка «Плиска».

Дома, когда Валентин вернулся уже после посещения колхозной бани (сугубо в индивидуальном порядке), тем не менее, у всех братьев глаза на лоб полезли от благородного аромата, разящего от него; сестренки, как видно имея уже в себе задатки женской солидарной понятливости, так те от хохота чуть ли не по полу катались, предполагая особенности пережитой старшим братом адюльтерной ситуации.

Однако Валентин и не то мог стерпеть от жизнелюбивого начальника, только бы ни днём, ни ночью не расставаться со своим любимым «бобиком». Ибо всё и всем мог простить Валентин Корнилов за возможность атакующе пробиться на своем «шестьдесят девятом» через вязкую топь, напрямик прорваться через сочное после дождя, хваткое чернозёмное поле или зимой, сокращая дорогу, на полной скорости взорвать стену рослых сугробов – тучные, заматерелые, они от такого таранного удара чуть ли не на мелкие снежинки разлетались, празднично, по-новогоднему, пыхая игольчатой белесой пылью.

Победив в очередной раз бездорожье, выберется Валентин из машины «неспехом», вразвалочку обойдет её вокруг, колесо бережно пнёт; чутко положит ладонь на капот, а то заранее припасённой чистой тряпицей фары протрёт, если они сейчас с «бобиком» грязь брали на бордаж. А вдруг как тряпица уже замызгана, так платка носового не пожалеет, сестрицами старательно выстиранного и проутюженного.

Однажды через свою машину Корнилов едва не устроил настоящие «кулачки» с главным инженером Мишкой Селивановым на майском полевом стане. Тот без всякой задней мысли принародно, при обществе рассевшихся пообедать на апрельской младенческой травке механизаторов, назвал «бобик» Валентина «козлом». В такой путанице, вообще-то, никакой язвительности не имелось. Тем более, оскорбления. Когда-то предтечу «бобика» ГАЗ-67-й в народе, не сговариваясь, окрестили «козлом». За его тряскую езду с резвым подскоком на каждом выступе проселочной дороги. Позже конструкторы такое изматывающее обстоятельство учли в новой модели, и пятиместный ГАЗ-69А возымел щадящий, почти мягкий ход в дополнение ко всем иным полезным новшествам типа двигателя от легендарной «Победы», обогрева салона, электрических дворников, кожаных кресел и металлических дверей. А кличка «бобик», трогательно связывающая автомобиль с верным другом человека, прилепилась за сходство зауженного капота этого «газона» с добродушным собачьим носом. Однако оставались люди, которые по привычке, абсолютно добродушно, продолжали оба эти автомобиля марки «ГАЗ» по-прежнему называть «козлами» и «козликами».

Итак, в обеденный час Корнилов на крутом вираже лихо остановил свой новейший командирский ГАЗ-69А перед полевым станом. Борщечку похлепать с «мяской». Да и для голодных ртов, ждущих его дома у окна, наполнить трехлитровую банку этим славным варевом. Никто из баб в Никишино

не мог так отменно сладить ни борщ, ни щи как колхозная повариха Ленка, будущая жена его брата Николая.

Дорожная тёплая пыль вёртким столбом подхватила из-под вездеходных шин «бобика» и мягко накрыла всех присутствующих едоков и их быстро пустеющие борщевые алюминиевые миски.

Торопливая аппетитная дробь ложек по металлу мгновенно оборвалась. Главный инженер, бесполезно попытавшийся отмахнуться от беспросветной волны жирной черноземной пудры, в сердцах сказал, покосившись на миски с заметно помутневшим вишнево-янтарным ужористым борщом:

– Как не вовремя наскочил этот наш председательский «козёл»!

– «Бобик», Мишка! – пока ещё снисходительно, но твердо объявил Валентин.

Поняв этот диалог про козла и бобика по-своему, механизаторы с хохотом, переходящим в судороги и залихватистый визг полегли на душистой апрельской мураве.

Корнилов и Селиванов напряженно, бойцовски стали друг против друга.

Высоко над полями тонким звоном переливчато состязались взахлёб азартные жаворонки.

Ленка с удовольствием взяла обоих «начальников» под руки и повела под навес к отдельному столу. Там их в стороне от общего ряда борщевых мисок ласково, многообещающе ждала тонкогорлая бутылка «Столичной».

– Любаша, из схрона для председателя расщедрилась?

Она тихо, колдовски вздохнула:

– Для хороших людей я на всё готовая...

– Мне, того, пить никак нельзя, – уныло смутился Валентин. – За рулём.

– А за «бобика»? – примирительно улыбнулся Селиванов. – Как там наш Юрка Гагарин сказал: «Поехали?!»

5

Как-то на склоне лета Валентин в очередной раз поджидал «хозяина» у райкома партии возле белоснежного гипсового Ильича. Тот, словно уличный гаишник-регулирующий на историческом перекрестке, указывал всем проезд и проход в светлое коммунистическое будущее с золотыми уни-тазами.

В это время в кабину его «газона» с подскока ловко вписался однорукий Кравченко, Сергей Васильевич, секретарь парткома «Родины»: ещё не старый дядька лет сорока. Свежевыбрит до блеска с розоватым оттенком, «шибает» от него только что принятыми на грудь классическими ста граммами водки, но, более того, – одеколоном дерзко зелёного цвета с шипящим прилатнённым названием «Шипр», которым его голову только что с помощью груши щедро «полили» в районной парикмахерской. Кстати, мало кто тогда знал, что в СССР одеколон марки «Шипр», который выпускался фабрикой «Новая заря», был копией марки известной французской серии *Chypre Coty* образца 1917 года! Ко всему он по причине наличия в нём высшего класса этилового спирта, вдохновенно употреблялся продвинутыми алкоголиками.

В общем, подсел Сергей Васильевич возле Корнилова и молчит, положив на колени свою единственную, выдающую виды, мужицкую руку, левую, а другую ему в сорок шестом голодном на поле, когда он с дружкой Коляном на свой страх и риск по сумеркам колоски собирал пшеничные, – немецкая мина-лягушка с корнем вырвала.

Было так: проглядели они бригадира, – тот враз налетел из-за предлинной высоченной скирды на коняге-доходяге (откуда только в ней резвость взялась!) и погнал пацанов с поля плетью. Стегал наотмашь. Судом грозил! За расхищение колхозного имущества. Пока они у дороги на фашистский заряд не нарвались. Со взрывателем нажимного действия. Чтобы тогда выжить, Серёге потребовалась особая Божья благодать. А как ещё можно защитить пацана от 365 стальных шариков шрапнели? Вот только зачем? Что такого особого Серёга принёс в эту жизнь? До сих пор сей вопрос он себе горько задаёт. Вон же Коляну судьба определила враз отчекрыжить голову...

– Учиться бы тебе надо дальше... – душевно глянул в глаза председательского шофёра Сергей Васильевич, хмыкнул и начал обшлёпывать себя в поисках пачки «Беломора».

Наконец нашёл, зарядил рот папиросиной, но курить не стал. Так и продержал в руках зажжённую спичку, медленно её проворачивая, чтобы вся ровно обгорела в аккуратном, ласковом пламени.

– Как тебе с Тарасовым?... – спросил Кравченко, давая понять своей товарищеской интонацией,

что он ждет от Валентина не исповедь или донос на начальство, а как бы сделал зачин для толкового разговора за жизнь.

– Бывает хуже, – усмехнулся Валентин. – Если прямо: буду жалеть, если заберут моего Кириллыча наверх. А вместо него придёт какой-нибудь хмырь.

– Вроде меня? – прищурился Кравченко.

– Ну, что вы, Сергей Васильевич, – уважительно, умно вздохнул Корнилов.

– Ладно, парень, я о другом хотел с тобой потолковать, – сосредоточенно прищурился партсекретарь. – Боюсь вот чего... Голова у тебя ещё свежая, не спился, не успел. А в колхозе одна забава – самогон да драка. Вот и всё наше сельское развлечение. Но ты в этом ещё не увяз по полной. Только боюсь; достаточно скоро и ты сойдешь с рельсов.

– Где наша не пропадала, – себе на уме хмыкнул Валентин.

– Одним словом, учиться тебе надо! Скажем, в Березовском сельскохозяйственном техникуме. Очень приличное учебное заведение. Агрономом станешь или ветеринаром!

Валентин машинально оглядел свои руки, словно оценивал, на что они годны.

– И попрёшь на всех парах вперёд и выше! – объявил Кравченко. – В партию вступишь. Далее институт осилишь.

– Семья на мне, Сергей Васильевич! – строго отозвался Валентин. – Шестеро спиногрызов. Мал мала меньше. Я им за отца.

– Так мать же ещё жива, слава Богу...

– Куда ей одной?!

– Ты раньше деньги часто видел? – искоса поглядел на него Кравченко.

– Иногда, в кино...

– А теперь у тебя самого в руках имеется утвержденная государством законная ежемесячная заработная плата! – с партийной гордостью пафосно проговорил Сергей Васильевич. – Шестьдесят рублей?

– Шестьдесят три!.. – улыбнулся Валентин.

– Вот! Вот и будешь семье деньгами помогать! Я добьюсь, колхоз их тебе оставит на время учебы. Плюс в техникуме стипендию положат. И весьма неплохую. Это точно! Сорок пять целковых. Если выбьешься в отличники.

– Если надо, выбьюсь, Сергей Васильевич! – построжел Корнилов.

– Молодцом! Вот так, значит, товарищ Валя. Коммунистическая партия идёт навстречу чаяниям трудового крестьянского класса. Потому что она сама – плоть от плоти народной.

Валентин деловито улыбнулся, словно вдруг заглянул на миг в свою новую большую светлую жизнь.

– Алексей Кириллович не опустит, – вдруг сказал он тихо, почти обречённо.

– Этот вопрос я беру на себя. Партии нужны достойные молодые кадры. Не дрейфь... Дай пять! Улыбка «шесть на девять»! – он впел своей единственной ладонью в подставленную встречно ладонь Валентина с такой хлесткостью, что и особая армейская подготовка не помогла тому удержаться: Корнилов отлетел на спинку кресла.

– Сила силу ломит, – мальчишески засмеялся Сергей Васильевич. – В общем, прямо сегодня к вечеру выбери момент и подступи к Кириллычу: отпуская, мол, меня на вольные хлеба учиться, и всё тут. Без дураков. Хотя погоди. Давай лучше ты завтра возьмешь его на абордаж. А я с ним сегодня сам неназойливо проведу подготовительную беседу. С точки зрения партийного видения жизни. И помни, Валька, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А построение в нашей стране светлого коммунистического завтра ещё никто не отменил. И не посмеет!

Прищурился бедово:

– Хотя и скинули заразу Хруща, но мы все, как один, под знаменем марксизма-ленинизма продолжаем бодро шагать стройными плотными рядами навстречу заре коммунизма... И всё шагаем, шагаем... Уже подметки стерлись...

Ночь не спал Валентин: на крыльце с матерью просидели рядком, молча. Да что там: они оба ни разу не пошевелились. Лишь под утро, когда вызрела вокруг такая ядрёная роса, что хоть пей её с листа, Мария Ивановна сходила в дом за старым шерстяным одеялом. Валентину показалось, что оно пахнет его детством. Это был унылый запах бедности.

Предрасветное небо закупила сплошная мрачная туча: такая чёрная, что это даже нельзя было назвать цветом. Точно раззявилась гигантская безбрежная дыра в никуда. И в ней понизу медленно нагущался сине-розовый свет подходившего, подпиравшего из глубины Солнца. Но осилит ли оно грузную тучу?

– Ехай, сынок. Сдюжим, – вдруг решёно сказала матушка, шепотком.

В тот же день Алексей Кириллович безо всякого подмахнул заявление своего водителя и широким жестом протянул ему заранее приготовленный заветный паспорт.

– С этой минуты ты, Валентин Семёнович, полноценный гражданин СССР! Без бумажки – я букашка, а с бумажкой – человек. Не помнишь, чьи это слова? Кажется, Маяковский? Есенин вряд ли...

– Не помню, Алексей Кириллович, – мучительно-виновато проговорил Корнилов с такой вдруг внезапной отчуждённостью, словно его уже здесь не было.

Вперёд, заре навстречу...

Или он угадал, как говорится, нужный момент, или сказало слово секретаря парторганизации, а, возможно, сыграло роль купание в изысканном парфюме, устроенное ему балетессой Ангелиной? Вполне возможно, что после этого более чем ароматного события председатель смекнул, что Корнилов отныне знает о сугубо личной жизни шефа сверхдостаточно, и нет смысла далее погружать его в густые дебри тайн своего либидо.

– Через три года жду тебя назад! – прощаясь, напомнил председатель. – И не забывай, что мне нужны сейчас в первую очередь знающие ветеринары. Животноводство в стране на глазах разваливается...

– Есть! Разрешите идти?! – с армейским азартом подал Корнилов внезапно прорезавшийся у него голос старшего сержанта, заместителя командира взвода особого оперативного назначения Краснознаменной дивизии имени Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Даже чуть было не рванул задорным щегольским взмахом правую руку к виску отдать честь, но уже на полпути прервал этот азартный жест, вдруг вспомнив строгий уставной принцип, что к пустой голове ладонь не прикладывают.

При этом весело, влёт подумал: «А она у меня не такая и пустая, ёлы-палы!!!»

Выйдя в коридор, он вдруг пустился впрыска, ловко топоча каблучками по гуляющим доскам, и яростно нахлестывая руками голенища щегольски сияющих, надраенных гуталином, офицерских парадно-выходных хромовых сапог.

В коридоре правления с утра было полно народу, явившегося за разрядкой: не сговариваясь, все принялись подбадривать Валентина аплодисментами, как говорится, не жалея ладоней. А соседская Люся, его одноклассница, секретарь правления и младшая сестра жены Тарасова Виктории, вдруг выскочила перед ним наперёд и закружилась, брызгая озорной дробью каблучков.

6

Вот на этой плясунье Люсе и женился через три года в семьдесят третьем Валентин Корнилов, окончив на отлично ветфак Берёзовского сельскохозтехникума. Правда, там, ещё до первой сессии, он было запал на однокурсницу из Козловки, – соседнего с их Никишино большого села, когда-то волостного центра. Да что-то не заладилось. Или за усердной учёбой упустили они свои чувства? Правда, мать Валентина такому их охлаждению только рада оказалась. Тех, кто жил в Никишино, козловцы называли «москалями», а Никишинцы козловцев – «хохлами». Так вот Мария Ивановна ещё девчонкой туда к ним в среднюю школу ходила, а тамошние мальчишки за то, что она не умела и не хотела на их языке балакать, косы её в разные стороны натянут и заставляют повторять за ними: «Та чога тобі треба? А шо ты собэраеся робыть? Иды корову выгонэ. Он пастух батогом уже хльще». И вообще если кто из Никишино женился на девушке из Козловки, то такую семью у них называли «перевертнями», и такие семьи были исключением.

Кстати, за все время учебы в Берёзовском техникуме у Корнилова по всем предметам ни одной «четвёрки» не было: настырно, дерзко учился, лучше всех – с отрывом! Из библиотеки не вылезал. Ни разу в кино не ходил. Преподаватели на него нарадоваться не могли, а он, со своей стороны, восхищённо заглядывал им в рот, ловя каждое зёрнышко новых знаний. Ему так нравилось учиться, что когда их возили в Воронеж укреплять знания по экономике и ветеринарии в тамошнем СХИ, он

в свободное время по собственной инициативе посещал вовсе не обязательные для него лекции по сельхозмашинам и механизмам, а также экономике, философии и истории. Особенно бередила его душу эпоха Древнего Рима. Так что латынь у Валентина оказалась в самых любимых предметах: *in via est in medicina via sine lingua Latina* – в медицине невозможен путь без латинского языка. Вскоре в СХИ Корнилов сошёлся чуть ли не на дружеских категориях с именитым доктором ветеринарных наук, профессором и членком Георгием Ивановичем Ждановым. Этот благообразный старичок с клинышком седой бородки очень восхотел, чтобы Корнилов продолжил учёбу в их вузе и со временем стал у него аспирантом. Не раз говорил: «Из тебя, парень, большой учёный может получиться. Я уже заметил: ты у нас на учхозе к какой корове не прикоснёшься, все хвори у неё отступают, а надои растут. Одним словом, оживает животинка и расцветает!» В ответ Валентин строго молчал. Про себя только, бывало, вздохнет: «Отец – крестьянин, а я – крестьянский сын... Какой из меня профессор?» Слава Богу, что его шестеро пацанов да девок голода не знали и обносков не носили. Учился он по решению общего собрания колхоза «Родина» с сохранением зарплаты. И так, это 73 целковых. Для сельских условий со своим огородом вполне неплохая сумма, если учесть, что городской инженер тогда в общей массовости 100 рубликов получал, редко более. И так, 73 водительские, да к ним 45 – стипендия отличника: итого немалые по тем временам 128 чистыми, – так как с Валентина, как учащегося, никакие налоги не взимались. Нормально, в общем, выходило. Жить можно. Вполне. Так ведь ещё и подрабатывал Валентин: в гараже техникума стояли четыре грузовика и на них никто практически не ездил, – шофера здесь быстро увольнялись, потому что зарплата небольшая. Так вот выбрал Валентин себе грузовик любимой марки, с круглой крышей кабины, – ГАЗ-51, и на нём с негласного разрешения директора привозил преподавателям и прочим сотрудникам за сходную плату уголь, дрова или сено. Ещё когда вскоре стал он внештатным инспектором ГАИ, так ему и вовсе разные всякие пути-дороги нараспашку открылись в полной доступности дополнительного приработка.

Так что в Никишино семья Корниловых ни дня не голодала. И матушка Валентина ни разу не плакала над безотцовщиной – одним словом, злым языкам не к чему было придираться.

«Всё у нас, как у людей! – приезжая на каникулы домой, и от порога придиричиво оглядевшись в избе, каждый раз гордо объявлял Валентин. – Хотя надо бы нам уже и телевизор купить. Хорошая марка – «Рекорд». Наш, воронежский. Такой в техникуме только у директора в кабинете стоит. Изображение – класс!»

Через три года приехал Валентин в колхоз «Родина» молодым специалистом с «красным» дипломом: с виду точно областной проверяющий прибыл с проверкой. Костюм кофейный югославский, английский «дипломат» с секретными золотистыми замочками и модные, с чёрно-белыми острыми носками туфли. Шёл от автобусной остановки под руку с Люсей, уже законной женой. Шагом степенным, деловым, каким только и идут в светлое будущее. Всем бабам запомнилось тогдашнее Люсино американское длинное платье с чёрным бархатным лифом. Чуть ли не всё село сбегалось на эту молодую пару посмотреть: так хороша была она, будто это здесь и сейчас какое-то интересное кино снимали про образцовую советскую семью. Того и гляди, что из правления выйдет с букетом для молодых сам знаменитый Михаил Ульянов или Николай Рыбников.

Одним словом, встретили Валентина торжественно: зоотехников вечно не хватало. Разве что цветами его не забросали и на руках по селу не несли. А вот шампанским молодых по распоряжению Тарасова поливали. Правда, это произошло уже на следующей неделе, на свадьбе.

Накануне Мария Ивановна робко предложила Вале и Люсеньке венчаться, но молодые её как не услышали. Попробовала настоять – отмахнулись. Когда стала на колени с этой просьбой – расхохотались. Такое веселье устроилось враз, что Ниночка – самая младшенькая – уписалась. Однако это всех ещё больше позабавило.

– Религия, мамочка, – с ласковой внушительностью заговорил Валентин, – нужна несчастным, забитым людям. Кому бедность душу выела. Ибо религия – есть опиум для народа. Мы же, советское общество – передовая, великая формация счастливых граждан. Космос – наш, атом – наш. Мир во всем мире СССР отстоит, ни перед какой капиталистической гнидой не дрогнет. А ты – венчаться... Прости, мама... Да и замок на твоей церкви висит ржавый. Потом же входить в неё страшно. Когда её построили? При царе Горохе три века назад? Вся покосилась. Того и гляди купол на головы прихожанам сядет. Я видел, что поп ваш, как ему туда входить, так крестится у ворот раз за разом. И все ваши богомольные старухи точно так же. От страха!

– Это, миленький, так полагается, – вздохнула Мария Ивановна. – А церковка у нас славная, во имя Михаила Архангела, тёплая, с живым колоколом. Уважьте старуху, бестолочи. И отец ваш порадует там... Я вчера его во сне видела. Такой молоденький! И почему-то в ярком таком белом костюме, какого у него отродясь не было... И все руки-ноги на месте. Перекрестил меня...

И поплёлся Валентин с просьбой о венчании «до председателя». Хотя ответ его заранее знал и ни на что иное не рассчитывал. Кстати, к его приходу Тарасов по недавно заведённой номенклатурной манере уже заправился регулярными двумястами граммами пятизвёздочного «Арарата» цвета позднего увядающего заката и, морщась, досасывал лимонную дольку, мысленно поругивая последнего царя-самодержца за эту введенную им манерность. Лично его более устроил бы крепкий бородавчатый солёный огурчик, пропитавшийся ароматами смородинового листа, маринованного чеснока, укропа и, само собой, яростного хрена.

Войдя, Корнилов машинально сконцентрировался на знатном коньяке.

– Примешь на грудь, жених?.. – глубокомысленно вздохнул председатель.

– Попозже. Я к тебе, Кириллыч, за советом.

Выслушав, тот сказал сдержанно, несколько осторожно:

– Хрущ к великому дню построения коммунизма в 1980-м обещался торжественно показать народу последнего в СССР попа. Его самого, почитай десять лет как скинули заговорщики. Только борьбу с религией партия не отменила. Вон, в Воронеже хотят в главном культовом храме, Покровском, устроить музей атеизма. Думай, Валя, думай. Тебе жизнь свою строить-рядить.

– Внял, Кириллыч! Всё нормально. Жду на торжество! Обязательно с женой, с родителями, с детьми, – решительно, деловито отпечатал Корнилов.

– Типа свадебного генерала?

– Обижаетесь, начальник. Бери выше – самого маршала. Ко всему мы теперь с тобой какая-никакая, а родня!

Гуляли три дня, во дворе на свежем воздухе; когда настраивался дождь, натягивали брезент и санные кожухи. Не приглашённые никишинцы, навалившись на изгородь вокруг двора Корниловых, внимательно обозревали свадьбу и обсуждали самые заметные личности. Им время от времени подносили выпить и закусить. Пели гости и зрители все вместе, но вразлёт. Заглавный тост председателя обе стороны встретили хлёткими аплодисментами:

– В знаменательное время связали свои судьбы наши дорогие Валентин и Люся. Семимильными шагами созидаётся развитой социализм! Американские империалисты с позором изгнаны из братского Вьетнама. Наш «Луноход» первым в мире прокладывает пути-дороги по полям космической соседки! Первую пахоту там начал! И на Марсе будут яблони цвести... А вчера наш горячо любимый Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев на встрече с американским президентом торжественно заявил, что холодная война между нашими странами закончена победой мирных чаяний и надежд! Русского счастья молодым! По-нашему говоря, мир вам да любовь! И детишек куча!

Валентин при этих словах умно, сдержанно вздохнул.

– Когда космические лучи бороздят бесконечные просторы галактической Вселенной!.. – следом начал свой тост Валентинов тесть Федор Илларионович Лымарь, главный экономист колхоза, но так-таки не договорил. Эти слова ему очень нравились сами по себе. Было в них что-то по-особенному величественное, масштабное. А что говорить дальше, он не знал. Федор Илларионович видел мир в цифрах.

– Танцуют все! – чтобы выручить запнувшегося мужа зычно, точно в рупор, объявила его голосистая супруга Ираида Валерьевна, заведующая клубом – полнолицая бывшая красавица с большими чувственно дерзкими глазами. После танца с молодым зятем она так впечатляюще поцеловала Валентина, что все вокруг закричали что-то типа «Ну, деревня! Ну, дает!» На что Ираида Валерьевна негромко, но внятно ответила: «Ещё не дала...» И по-цыгански, на всякий случай, упреждающе замазала ласковый подзатыльник Федору Илларионовичу. Как лекарство от возможной ревности.

Через день Тарасов завёл новоиспеченного свояка к себе в кабинет, заговорил степенно, снисходительно:

– Свезло тебе, парень! Я принял решение не мурыжить тебя и назначить сразу главным зоотехником, – он начальнически улыбнулся, но как-то одними губами, а вот глаза его в этой веселости

почему-то не участвовали. Как бы тем самым давая понять Валентину, что их прежних отношений преданного водителя и снисходительного шефа отныне близко не будет; всё, что между ними когда-то установилось, быльём поросло, а новое неизвестно как сложится и каким боком Валентину выйдет в итоге.

Корнилов сходу, деловито усвоил новый тон.

– Давайте, Алексей Кириллович, сразу объяснимся. Главный зоотехник – это не подарок. Это, как Вы хорошо знаете, очень сложная и тяжёлая работа. Известная каторга.... Из руководящего состава – самая тягостная обуза. Каждый день в три часа вставать и в полночь ложиться. А работать с бабами: злыми, вечно недовольными, потому что жизнь у них такая...

– Выбора у тебя нет, – строго вздохнул председатель.

– Дайте хоть малость оглядеться, обжиться. Ещё свадьба в ушах гудит...

– Ладно. Через неделю приступай. И всё. Баста. Меня за животноводство каждый день в райкоме к стенке ставят. А Корниловы, я знаю, не отступают и не сдаются. На тебя вся надега. Если припрёт – поможем. Что мы, не люди?

Корнилов первый раз посмотрел на председателя как равный на равного.

Он даже несколько смутился такой внезапно объявившейся в нём зрелости: вот что значит лёг ему на плечи груз серьёзной ответственности за людей, за дело. Машинально отметил: он, оказывается, до сих пор своего шефа толком и не знал. Всё в этом плане между ними только начинается: кто есть кто.

– Тебе анекдот рассказать, как колхозники будущему председателю помогали? – оглянулся в дверях Валентин Семенович.

– Его каждая бабка знает, – зевнул Алексей Кириллович. – Ладно, ступай, бери быка за рога. Дивидэ эт импэра! Что в переводе с золотой латыни означает...

Тарасов чуть ли не Цезарем величественно посмотрел на свояка.

– Разделяй и властвуй, – усмехнулся Корнилов, настоящий дока в латыни. – Умно, но подло.

Неделю Корнилов дома не высидел. Уже на третий день в начале четвертого ночи завёл отцовский мотоцикл с коляской и покатил на ферму, судорожно рыская по разбитой колее. Когда в очередной раз влетал в лужу, получал в «физию» ощутимые густые липкие плевки. Но завязнуть на таком девятискоростном бугае, способном по бездорожью волочить противотанковую пушку, было невозможно: машина агрессивно, нахраписто «пёрла» без пробуксовки через любую хлябь. Трофейная техника, вермахтовская. Лет через пять после войны мужики случайно нашли её в здешних болотах. Назывался немецкий мотоцикл странно – «Сахара». В топь его забросила мина, заложенная партизанами на лесной тропе. Раздолбанный механизм никто не смог восстановить, хотя с азартом брались многие. Дураков среди них не было. Сам тогдашний главный инженер Голощеков месяц ходил вокруг мотоцикла кругами, но в итоге смущённо отступил. А Семен Ильич, «обрубок», справился. Машина через месяц рванула у него по просёлку, как наскипидаренная. Или с переляку. Одним словом, зверь настоящий в ней объявился. Перемогая болячки, Корнилов-старший умудрялся на нём иногда ездить, помогая костылём переключать скорости.

У тучной, словно налитой, деревенской темноты был за околицей свой, особый мрачный запах – свежевырытой чернозёмной ямы. Сегодня ни зернышка звёздного, ни лунного серпика, – мгла кромешная, непоколебимая. Хотя в ней, если присмотреться, то там, то этам ощущалось некое потаённое движение: ещё более тёмными пятнами в ночи обнаруживали себя как в ступоре бредущие на утреннюю дойку бабы. С головой закутанные, чем придётся, от волглого едкого холода. Словно оглохшие, хронически не выспавшиеся, они как не слышали дикий рык мотора «Сахары» во все его резвые, бойцовские тридцать лошадиных сил; и некоторые из этих ночных чёрных привидений едва не попали тогда под колеса трофейного мотоцикла нового главного зоотехника, – пьяно, тупо шарахались в сторону. Но ни одна не взвизгнула: мочи не было. И с шагу не сбивались, поспешая: на ферме животину надо вовремя накормить, почистить, напоить, если заболела – лечить без промедления. А за спиной, дома, неуёмная детвора, требовательный хорохористый муж, хорошо ещё, если не вдрызг пьяный.

Для Валентина Семёновича не было секретом: на ферму тогда многие шли, как в ссылку. Редко кто хотел взяться сам по собственному желанию доить коров да ещё вручную, не менее двадцати голов, – три раза в день. В жуткой грязи и неприспособленных помещениях. Ферма как отстойник

кадров считалась. В основном здесь оказывались те, кого с хорошего места турнули за злостную пьянку или хуже того, воровство колхозного добра. Редко попадали на ферму нормальные люди: разве только от крайней нужды или рассорившись вдрызг с начальством, – вот они и становились тут передовыми доярками, скотниками, короче говоря, ударниками социалистического и коммунистического труда.

Со слезой оглядел Валентин Семёнович в тусклом свете фермы своих первых в его жизни подчиненных. Бабы в основном. Щурились они на него кто равнодушно, кто с ехидством, но некоторые с интересной женской мыслишкой насчет того самого, но никто не глядел с надеждой или, чего уж там, радостью...

Напрягся сурово молодой главный зоотехник: «Что они сейчас, горемыки, думают обо мне?.. И думают ли вообще?.. Кажется, им не до этого»...

– Здравствуйте, товарищи! – тихо, как-то смущенно проговорил Валентин Семенович. – Доброе утро, бабы!

И вдруг ляпнул:

– Мужикам особо – физкульт-привет...

Никто не отозвался: сидят в полумраке на корточках да кирпичках не шелохнувшись, – доярки – замотанные, на кикимор похожие, а скотники – так те, чертяки, явно со тяжелого похмела, как пришибленные.

«Как же у нас похабно относятся к людям! – отчаянно подумал Корнилов. – Ни в грош никого не ставят. Превратили людей в скотину. А ещё какой-то там, на фиг, развитой социализм строим...»

Пошли стадо смотреть. Проходя впотьмах мимо линии коров, Валентин Семёнович неловко поскользнулся: взмахнул руками и плюхнулся на сочную, ещё теплую лепёшку. Никто не отреагировал. Здешние коровы утонули по уши в дерьме.

Как бы там ни было, животные в итоге ему понравились: «симменталы» и красно-пёстрые плюс племенные. То, что надо. Самые оптимальные породы для молочного направления. А что вид у них такой загаженный, так это дело поправимое.

Обошли дойных коров, посмотрели молодняк. Тут Валентин Семёнович ненадолго задержался, полюбоваться как их, месячных, доярки нежно отпаивают молоком. Старательно это делали бабы: замученные, заезженные, а всё-таки уважение к скотине не потеряли...

«Талант не пропьешь!» – печально улыбнулся он. Зачем-то спросил и без того ему известное:

– Дойка трехразовая?

– Конечно, Валентин Семёнович! – смутилась бригадирша. – Как у всех: первая – в пять утра, потом в полдень и шестичасовая вечерняя.

– На работу сами добираются?

– Вы же, наверное, видели по дороге... По буеракам. Как в атаку на врага при штурме Перекопа!

– Видел!.. – судорожно отозвался Корнилов, вдруг вновь почувствовав запоздалый стыд от того, как он между бредущих во тьме баб резво, настырно пробивался через бездорожье навстречу своей новой жизни на не знающем износу вермахтовском мотоцикле, на бессмертной «Сахаре».

В общем, за первые два года перевёл он все фермы на механизированное доение; реконструировали навозоудаление. Когда Корнилов пришёл на должность главного зоотехника, в колхозе «Родина» числилось 1200 голов; через 5 лет стало 3000 дойного стада. Когда принимал это хозяйство, 50 отёлов выходило на 100 коров, из них половина погибала. Такие были условия содержания. Вернее, их не было вовсе. И эту практику Корнилов изжил.

А когда всё более-менее отладили, Корнилов свалился. Перенапряжение, самый настоящий нервный срыв. В конце олимпийского лета одна тысяча девятьсот восьмидесятого.

До того Валентин Семёнович без выходных и отпусков крушил-брушил на своих фермах. Чисто трактор. Первым шёл во всяком деле. С наскоку. Как в рукопашной атаке молотил налево-направо. Только на жену времени не хватало; дальше одного ребёнка у них по семейной части не пошло. Сторонних баб вовсе не замечал, хотя некоторые вокруг ходили далеко не украдкой, и порой весьма призывно заглядывали в глаза во всей откровенной простоте своих бесхитростных возжеланий: по причине усиленного самопоноупотребления никитинским мужикам было не до того самого.

В общем, в областную больницу Валентина Семёновича привезли третьего августа. Диагноз написали обширный, на целый лист: астенический невроз, гипертонический криз, тахикардия, а ещё отсутствие аппетита на фоне злостной диареи.

Принимал Корнилова молодой, очень толстый весёлый врач. Он, как Юлий Цезарь, одновременно делал три дела: заполнял документы, пил подаренный кубинский ром «Гавана Клуб» (в связи с Олимпиадой в свободной продаже ненадолго появился и такой дефицит) и вдохновенно отвечал на телефонные звонки: его приятели наперебой взволнованно звонили ему по поводу НЛЮ, будто бы только что приземлившегося в парке «Южный» на Левом берегу Воронежа.

– Может, это Олимпийский Мишка сюда долетел?.. – тоненько, мальчишески всхохатывал доктор по ходу разговора. Точнее, трёпа.

«Какая глупость... Какие, к лешему, инопланетяне?! – дерзко думал Корнилов. – Кому мы можем во Вселенной быть интересны? С нашими бесконечными войнами, с нашей неистребимой борьбой за власть? Эх, дорогой Леонид Ильич! Целовальщик ты наш знатный! А только ведомо тебе, что люди, скрежеща зубами, ездят в Москву под большие праздники за более-менее нормальной колбасой и апельсинами?..»

– Слушай, я сегодня купил в «Утюжке» самое настоящее «Malboro»! – продолжал перекрикиваться с очередным телефонным собеседником дежурный врач. – А ещё мне пообещали кроссовки «Адидас»! Кстати, ты слышал такой новый московский прикол? «Тот, кто носит «Адидас», завтра Родину продаст»?!

– Вас бы ко мне на ферму вместе с Вашими инопланетянами и «адидасами» хвосты коровам крутить, – судорожно вздохнул Корнилов, тревожно глядя в потолок, словно смотреть вокруг уже совсем мочи не было.

Ему вдруг отчетливо послышалась грустная песня, которую Лев Лещенко пел на закрытии Олимпиады. Про Мишку, как тот, выронив медвежью слезу, печально вознёсся над Лужниками на разноцветных воздушных шарах. Словно нашу страну навсегда покинула последняя надежда на светлое будущее. Ибо произошло всё это именно в год обещанного завершения строительства коммунизма – 1980-й. Только вместо светлого будущего народу подсунули Олимпиаду...

На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес...
Олимпийская сказка, прощай.

– А почему так говорят: коровам хвосты крутить? – вдруг озорно сощурился дежурный доктор в сторону Валентина Семеновича, который напряженно сидел, стиснув голову руками так жестко, словно хотел её раздавить за ненадобностью более в этой жизни.

– Вам, юноша, надо бы прежде лет пять в навозе проплавать, ежели желаете в такое толком вникнуть, – скрипнул зубами Корнилов. – Вот, скажем, надо корове укол сделать или кровь взять на анализ. И при этом нежелательно, чтобы она лягнула вас. Поэтому следует крепко взять её за хвост у основания и скрутить его. Корове станет больно, и она уже не будет бросаться в стороны и лягаться. В общем, послушно зайдет в стойло или станок, и вы можете там делать ей всё, что процедурно необходимо...

Он застонал и прижался лбом к холодному стеклу на столе, под которым лежали какие-то порнографические фотки, – их в последнее время некие мутные личности наладились продавать в электричках. Первые ласточки демократизации и свободы личности...

– Вам плохо?.. – смутился доктор.

– Прекрасное далёко... не будь ко мне жестоко, – вдруг тихо проговорил Корнилов. – Кажется, песня такая есть? Вот и допелись мы её, мать-перемать!

– Понял, понял... Ничего! Мы Вас подлечим, – ласково заверил толстяк. – И хвост Вам крутить не станем. Вы будете комфортно смотреть в палате по цветному телевизору замечательный фильм «Эскадрон гусар летучих» и набираться вместе со всем советским народом олимпийского здоровья!

– Чушь! В этом году мы должны были построить коммунизм! – побагровел Валентин Семёнович. – А нам вместо него клоунаду второсортную подсунули.

Кажется, молодой доктор ничего не знал о былых утопических порывах КПСС, и отреагировал на них по-своему:

– Не волнуйтесь. Это у Вас пройдет. Ваш нервный срыв сейчас в той фазе, которая провоцирует сильную раздражительность. Причем, буквально по любому поводу. И без повода. Всё вызывает у Вас злость. У некоторых в это время появляются мысли о самоубийстве...

– Не дождётесь! – тупо проговорил Корнилов. – И вообще хватит ля-ля, ведите меня в палату как можно скорей. Желательно – одиночную.

– Именно такая Вас и ждет! – любезно засмеялся доктор. – А знаете, кому Вы этим обязаны? Сегодня вашим здоровьем интересовался у нашего главврача сам членкор Академии наук СССР заслуженный профессор Георгий Иванович Жданов!

Корнилов не ожидал от себя такой реакции: он вдруг внезапно заплакал. Именно с этой минуты ему стало день ото дня легче.

Тем не менее, выписали его из невралгии только через месяц, но, по предписанию врачей, он ещё почти столько же отлежал дома в комнате с занавешенным окном. И у этого полумрака словно был свой запах: темнота почему-то пахла незаживавшими ранами отца. Успокаивающие таблетки помогали плохо. Так что вся жизнь на Земле казалась Корнилову чьей-то досадной ошибкой, а то и издевательством. Люся заходила к мужу только на цыпочках, а крикливого маленького Эдика на время отдали в круглосуточный садик, в райцентре.

Первый раз Валентин Семёнович вышел на улицу лишь в конце октября. Дойти до правления. Осеннее Солнце дерзко высверкивало отовсюду. Даже с накатанной грунтовки блескуче сияло. В общем, куда не повернешь голову, так оно тотчас на тебя болезненно пыхнет.

Когда Корнилов шёл по коридору правления и когда поднимался на второй этаж к председателю, все смотрели на него как на какого-то незнакомого человека, неизвестно откуда тут взявшегося. У него от всего этого вновь судорожно подступил к горлу сухой острый ком.

Когда с ним здоровались, в ответ Валентин Семёнович только строго кивал: сил не было голос подать.

– Привет королю коров! – зычно встретил его Тарасов. – Оклемался?

– Типа того, – сдавленно вздохнул Корнилов и напрягся. – Я тут тебе, понимаешь, заявление принёс. Не откажи, Кириллыч. Хочу уйти из главных зоотехников.

– Не ду-ри-и-и! – бычьи взревел Тарасов так, что на ближайших фермах коровы, наверное, испуганно оскользнулись.

Валентин Семенович покаянно опустил голову.

– Прошу не от хорошей жизни, – Корнилов устало закрыл глаза. – Силов нет этот воз далее тянуть. Такое впечатление, что там, наверху, зреет большое предательство. Наше животноводство стало никому не нужно. Черт знает что творится в стране. Вот хоть это возьми: мы из кожи лезем, выращиваем мясо, а у нас ни в Никишино, ни в райцентре на прилавках его нет.

– Опасный ты товарищ. Как самый настоящий диссидент заговорил. Ладно, решим вопрос породственному, – великодушно проговорил Тарасов и, не читая заявление, поставил резолюцию: назначить такого-сякого заведующим механизированными мастерскими.

– Согласен? – спросил только для блезира, ибо прекрасно знал: там будет спокойней, совсем иной колер, кто же откажется? Не синекура, но график работы ровный, авралов каждый день точно не будет.

– Вот спасибо, – слабо улыбнулся Валентин Семёнович.

8

Тем не менее, с переходом свояка на новую работу Тарасов так и не смирился. Через день то в шутку, то всерьёз уговаривал Валентина вернуться к родным коровкам.

А как-то однажды на этой почве произошла между ними возле правления и вовсе самая настоящая трагикомедия. В общем, приступил Алексей Кириллович к свояку в очередной раз:

– Не заотдыхался на новом месте? Доярки говорят: коровы по тебе плачут жгучими слезищами. Доятся с тоски, что те же козы.

– Дай своих ребят-девчат на ноги подниму, – поморщился Валентин Семёнович.

– Что же ты меня за нос водишь, своячёк! – взорвался Тарасов. – Тебе осталось Нинку лишь за-

муж отдать. Все остальные пристроены, как лучше не придумаешь. И твой Эдька повзрослел, во второй класс ходит.

– Вроде того...

– Так чего ты тянешь с возвращением?! – вскричал председатель.

– Ин идем флумен бис нон десцендимус, – тупо откашлялся Корнилов.

– Умник хренов! – вскрикнул Алексей Кириллович. – Мы тоже не лыком шиты! Так что Гераклитом не прикрывайся! Не темни! Не идёшь, потому что течёт в тебе злобная кулацкая кровушка! Вот откуда твоя ненависть ко всему советскому!

И тут, вдруг, этот приступ... Захрипев, Алексей Кириллович судорожно рухнул. Какая-то баба ехала мимо на велосипеде, брэнча пустым ведром, увидела случайно, как председатель мертвецки раскинулся поперек дороги, заорала в голос и сама тотчас скovyрнулась в канаву.

Через час Тарасова на тряском «кукурузнике» Ан-2 доставили в областную больницу. Вначале там диагностировали инсульт, потом инфаркт, но в итоге остановились на «нервном срыве», как и у Корнилова: точно соревновались мужики друг перед другом.

В райкоме партии бдительно напряглись: на носу «битва за урожай», а одно из лучших хозяйств обезглавлено. Спешно перебрав перспективные кандидатуры, там пришли к мнению, что лучше Корнилова на колхоз «Родина» им человека сейчас не найти.

«На безрыбье и рак соловей...», – узнав о таком решении первого секретаря, ревниво усмехнулся Тарасов.

Как крыша с грохотом села на голову Корнилову, нежданно-негаданно вдруг ставшему врио председателя. Люся ждала, что повторится его нервный срыв, но он наперекор всему как не знал устали. Хотя отныне практически не спал. Зато успевал везде. Движок председательского «бобика», за руль которого он азартно сел по старой доброй памяти, заклинило через неделю. И теперь вновь выручил отцовский трофейный мотоцикл «Сахара». Корнилов мотался на нём повсюду с такой неистовой оперативностью, что были случаи, когда его одновременно видели будто бы сразу в трёх местах. Скажем, в райцентре, в областном Воронеже и самой Москве, на ступеньках Министерства сельского хозяйства СССР. Что его туда могло занести – неизвестно, но в итоге урожай пшеницы взяли никишинцы невиданный для всей области. За все двадцать последних лет. Не хуже обстояло у них с гречихой и просом. С «королевой полей» в колхозе «Родина» вообще вышел особый случай. Наперекор дождям и засухе получили 25 тонн с гектара. Как на лучших полях капиталистической Европы.

Прослышав о таких победных урожаях свояка, Тарасов тотчас расстался с больницей и властно принял бразды правления хозяйством в свои руки. «Спасибо» Корнилову сказать в суеете забыл. А когда Алексей Кириллович узнал, что в области готовят бумаги в Москву для награждения Валентина Семёновича орденом Трудового Красного Знамени, тотчас вызвал свояка.

– Всё хотел спросить: как тебе удалось так вырваться вперед? Мои прогнозы были значительно скромней. А я редко ошибаюсь...

– Кто его знает, – Корнилов присел на стул, бессильно опустил руки. – Как там древние римляне говорили? Карпе дием?

И тогда Тарасов, болезненно помолчав минуту-другую, вдруг прямо, твёрдо, то есть без всяких там обиняков, объявил, что теперь им вместе никак не работать. Валентин своим трудовым подвигом враз затмил все его прежние успехи. Теперь с Тарасова будут ежегодно требовать ещё больших результатов, ногами на него топтать и грозиться отобрать партбилет, но откуда он возьмет им эти невиданные доселе нынешние центнеры? В отличие от свояка таким загадочным везением он не помечен свыше.

– Будет правильно, если ты куда-нибудь уедешь. Исчезнешь с глаз долой. Хотя бы на пару лет. Страна у нас огромная... Пожалей больного человека. Мы как-никак родственники.

– Да. Я понимаю, – покивал Валентин Семёнович. – Я вам многим обязан.

– Прости..., – чуть было не всхлипнул Тарасов.

А через несколько дней Валентин Семёнович поехал к брату Николаю под Ворошиловград в совхоз «Заря коммунизма». Будто бы проведать, отдохнуть. Готовился тщательно. Как-никак другая сторона. Так что багажник своей «копейки» итальянской сборки Корнилов щедро зарядил разными свойскими произведениями Люсиного приготовления: особого засола огурцы в банках с родниковой

водой, пересыпанные горчицей, помидоры в яблочном соку, варенье малиновое и вишнёвое, – медово густое, которое ложкой так просто и не взять; но заглавным во всём этом аппетитном разномастном великолепии стали вяленый свиной сальтисон сургучного цвета (через печёночную насыщенность) и тёщины котлеты, налитые брызгучим соком, пупырчатые и словно бы загорелые до тёмного румянца – с мужицкую ладонь каждая. Такие прежде «битками» назывались.

То была осень 1982-го, сентябрь. Но припекало в Ворошиловградской области чуть ли не под тридцать пять градусов. Тут так часто случается: степной климат. Чем-то напоминало тогда ещё наш Казахстан или Астрахань.

И вот через три часа езды вот она перед ним, главная улица славного украинского Ворошиловграда, – Советская. И такое при этом ощущение, что Корнилов въехал в родной Воронеж. Столько всего похожего между этими городами... Вот, пожалуйста, их Дворец строителей – точная копия воронежского ДК имени Кирова, фонтан в центре – один в один как в Кольцовском сквере; вход в их парк имени 1 Мая неотличим от каменной арки воронежского Детского сада. А Ворошиловградская гостиница «Советская» – сестрица-близняшка гостиницы «Воронеж» на проспекте Революции у Кольцовского сквера.

Сходства Воронежа и Ворошиловграда закончились, когда Валентин Семёнович зашёл в продуктовый магазин купить бутылку водки – на всякий який случай. Самогон Корнилов, конечно же, вёз. Свойский. Самый что ни на есть искусно справленный, мудрёный, ибо превосходил по части разгульных градусов и хитроумных трав-приправ любую самую дерзкую фантазию. Абы что в него не пичкали: корица там, шафран, ваниль или тмин отвергались однозначно как ненашенские забавы, не родня по крови доброму деревенскому русскому «первачу», очищенному пшеничным хлебушком и молоком. А вот обязательно, непременно, иначе вся затея насмарку, собаке под хвост, – пахучий лист смородины, чабрец, именно на Троицу собранный, и немного полевой мяты. Но подкрашивать самогон пусть и чаем, карамелью или диким сушёным барбарисом – чистое вредительство, полное непонимание восторга от его слёзной мерцательной чистоты, восторженно сияющей в стройном гранёном ребристом стакане с мерным «Марусиным пояском».

В магазине никого не было. Валентин Семёнович поначалу решил, что нарвался на перерыв или санитарный час. А иначе где привычные многочасовые очереди за «докторской» колбасой или синопными жилистыми курами? Что в Воронеже, что в Москве... Везде одна суета по этой части.

– Мне бутылку «Столичной», – наконец, увидев продавца, невнятно сказал Корнилов. – Если можно, экспортную. Где на этикетке по-английски что-то написано...

Продавщица не пошевелилась.

Корнилов хотел повторить, но тут увидел, что заказанный товар уже выжидательно стоит перед ним. Так сказать, по мановению самой что ни на есть волшебной палочки.

Валентин Семёнович смущённо вздохнул и машинально покосился на мягко подсвеченный изнутри прозрачный саркофаг прилавка. Тотчас всякое ощущение сходства здешних мест с Воронежем опрокинулось вверх тормашками. Он почувствовал себя разве что в столичном Елисейском магазине-дворце на улице Горького. Правда, не было тамошних знаменитых белоснежных колонн, крутых завитков золотистой лепнины на стенах, ртутного холодного блеска высоких строгих зеркал и огромной яркой люстры, хозяйски раскинувшейся под высоким потолком. Но здесь, как и там, было всё, или почти всё из области невиданных деликатесов. Одним словом, после родного райцентра (Никишино вообще не в счет), даже после областного Воронежа здешний прилавок крепко осадил Валентина Семёновича: раскидистые развалы колбас разных отменных сортов точно издевались над ним торжественным обилием выбора и своими густыми сочными ароматами! Тут тебе и простецкая «эстонская», и рабоче-крестьянская с жирком блестящим сочно пахучая «любительская», диетическая «докторская» и, бери выше, – «Краковская», «Одесская», потом же полукопченая «Московская» – вся из себя эдакая изящная, пупырчатая, блестящая да кроваво-чёрная на срезе, и как бы аж со слезой. Окорочка разномастные, вальжжные – тот же Тамбовский, Воронежский, какого в самом Воронеже днем с огнем не сыскать! Ветчина, корейка, грудинка красуются нежно... Весёлых пухлых сарделек и изящных сосисок – явная безбрежность: густыми объемными снисками глянцево свисают по стенам, розовеют аппетитно... Есть и мясная нарезка, куры достойные, жирком отороченные, пухленькие, утки смугло-золотистые, чуток дымком тронутые, и вон, вон там гусь цельный неподъёмный лежит во всём своём нагулянном мясистом достоинстве. Масло сливочное

нескольких сортов: «Вологодское», «Крестьянское», «Шоколадное», «Несолёное» и медового отлива «Топлёное». Но когда Валентин увидел в стеклянных чашах ещё и сияющую, улыбочиво-игривую икру красную осетровую, так у него во рту эдак судорожно пересохло. А для полного детского счастья – навалом горы сказочно пахнущих конфет в ярких хрустких обёртках, диковинные рогатые фрукты – бананы, кажется.

Бери-не хочу всего, сколько возжелается, а не так как у них в Воронеже – 1 кг в руки и «гуляй, Вася»...

Не сдержался Валентин Семёнович: по лбу своему активно постучал. Чтобы проснуться?.. Как бы там ни было, но он сейчас чувствовал себя дурак дураком. У них в райцентре в магазинах водки тоже навалом, правда, не отборной, а самой ходовой, «Московской» белоголовки, а в остальном – пусто. Конфеты чуток есть, но никудашные: «Школьные» да «Соевые», а консервы – «Килька» в слащавом томатном соусе и сыр колбасный, крошащийся под ножом, ибо чёрт знает из чего и как составлен.

Он взволнованно принял заказанную им водку «Stolichnaya» с четырьмя золотыми медалями, старательно обёрнутую в лощёную белесую бумагу.

– Я, это, тут у вас... Как в другой мир попал, – ошеломленно признался Валентин Семёнович.

Продавец не поняла и почему-то решила, что «дядька» спрашивает, где тут находится магазин «Детский мир». Она стала объяснять. Корнилов бестолково кивал.

Вышел, и вдруг вернулся, чуть не упав на пороге: спохватился насчёт бутылки «Советского шампанского» для Ленки – Николаевой жены.

– Вам белое или красное? – красиво улыбнулась продавец.

– Самое лучшее, – тупо проговорил Валентин Семёнович.

Он заполучил полусладкое мускатное «Советское шампанское» с горлышком, запаянным холодной серебристой фольгой, словно замороженным. Обошлось в четыре рубля шестьдесят восемь копеек.

И вот тут-то он вдруг возрадованно увидел рядом невесть откуда взявшуюся очередь!

Валентин Семёнович даже вздохнул с облегчением, сдержанно-дерзко усмехнулся.

Только здешние люди стояли в очереди смирней смирного; никто ни на их ладошках, ни на вырванном тетрадном листе лихорадочную запись номеров не учинял с командной решительностью; продавцы не кричали брезгливо, чтобы больше не занимали, потому что товар якобы кончается.

– Зачем стоим? – чуть ли не шепотком проникновенно задал Валентин Семёнович традиционный, жизненно важный вопрос, всегда волнующий рядового советского гражданина, какую бы очередь он не увидел.

– За колбасной нарезкой, – скучно ответил ему аккуратная бабушка, первой стоявшая. Скучно так стоявшая. Без горячности, какую вызывает у нормального человека уже один вид дефицита, когда тот по какому-либо невероятному поводу «выбросят»... на прилавок.

Корнилов тупо смутился: тогда почему она медлит и ту нарезку не берет, которая перед её глазами нахально лежит под застеклённым сияющим колпаком прилавка, явно очень острым ножичком тончайше распластанная, целлофанчиком хрустким элегантно обёрнутая? Почему равнодушно смотрит куда-то в сторону?!

Старушка сердечно усмехнулась.

– Эта нарезка подзаветрилась. С утра тут, чай, лежит. Сейчас мне свеженькую принесут! Уже режут дивки.

Корнилов едва не отшатнулся. В голове так судорогой и пробило, ахнуло: «Они тут что, оборзели?.. Оборзели совсем!!!»

Так что к брату он ехал с самыми что ни на есть раскорёженными чувствами и несколько раз останавливался, чтобы пройтись, встряхнуться. Фу ты, ну ты!

Николай работал трактористом в совхозе «Заря коммунизма». Это пригород Ворошиловграда; до посёлка восемь километров по очень приличному асфальту, какого Валентин Семёнович в своих никитинских краях вовек не видывал. По такому можно ехать, поставив на крышу «жигулёнка» стакан с водой под самый «Марусин поясок» – ни капли не потеряешь.

По пути не мог не заметить Валентин Семёнович своим намётанным крестьянским взглядом, что почва здесь совсем иная. Вышел заинтересованно, пригляделся строго. В отличие от наших словно

бы живых, матёрых чернозёмов, эта земля оказалась подозрительно светлая, местами так и во все белая. Какую не во всех местах лопатой возьмёшь. Мергель это залёг: глинистый известняк с песком. Разве что виноград можно на нём растить, да и то с упорством, с особым доглядом. Бедная земля, никакая.

С Николаем, как свиделись они, так и схватились азартно обниматься, друг друга охлопывать, раскачивать и подкидывать, – чуть ли не полчаса вот так хватко братались. После этой торжественной процедуры Валентин Семёнович с азартной задышкой признался, что привёз Николаю всякой разной снеди своей деревенской, душевно исполненной, чтобы угостить, удивить, порадовать, а тут у них такое в магазинах царское раздолье всякого невиданного дефицитного харча, что и сама столица может кое в чем позавидовать ворошиловоградскому продуктовому обустройству.

– Но особенно люди мне ваши понравились! – бодро объявил Корнилов-старший. – Продавщицы против воронежских вежливые такие, заботливые лапочки и, скажу, без «бэ», терпеливые. Наша с пол-оборота на тебя орать заведётся по поводу и без повода. Она изначально смотрит на тебя с противностью. Ибо нормальный человек такую дрянь, какую она продаёт, вовек покупать не станет. Поэтому ты в её глазах гроша ломаного не стоишь. Или вот в Москву, когда приедешь за той же колбаской или мандаринами под Новый год, так коренные москвичи на тебя со всех сторон шипят: «Голландцы! Деревня хамская! Прикатили наши магазины курочить, сволочи!» А сами из себя жутко интеллигентные... Вылитые профессора и академики. Вроде нашего Георгия Ивановича Жданова. Но он-то – человек, человечие!

– Вот и оставайся у нас жить! Семью перевози! Всё будет рядышком, брат! – расчувствовался Николай, всегда в глубине души носивший тоскливое ощущение вины перед Валентином, что тот свои молодые годы потратил на них, на целую орду безбашенных спиногрызов.

И когда устроили Корнилова-старшего с дороги отдыхать, он какое-то время ещё слышал, что на кухне Николай и его Ленка всерьёз, запальчиво обсуждают, как им наладиться, чтобы рядышком тут быть обеим семьям, вполне по-родственному.

– Брат у меня что надо! Он нас всех братьев и сестриц в люди вывел! – порывисто втолковывал жене Николай, подливая себе рюмку за рюмкой. Моментами было слышно, как он аппетитно ломает на зубах сочный родной никитинский огурчик. – Мы ему по гроб жизни обязаны... Кормил, поил, одевал! Такой добрый, щедрый. Всё – для нас. А работающий! Со всяким делом влёт управится. Потому что способный, жуть! И высшее образование имеет. Почти высшее... Плюс – непьющий. Эх, ему бы в Политбюро, рядом с Брежневым! Чтобы тому на смену! А то позор один от этого шамкающего целовальщика...

Николай густо всхлипнул...

Проснулся Валентин Семёнович, как всегда, в пять утра, по-деревенски. Собрался с мыслями, вслушался в себя. Там внутри было ясное, здоровое желание начинать ему тут новую, иную жизнь.

На братовой кухне его ждала блескучая яичница с хрустящими сочными шкварками и чай с бодрящим душистым ароматом, индийский, из пачки со слонем, а к нему – баранки украинские со знаменитым вологодским сливочным маслом, которого в Воронеже давно не видели.

Когда искали директора совхоза Петренко, им подсказали идти к пруду.

– Как я сам не догадался? – похмельно поморщился Николай. – Это у Тараса Николаевича с утра самое любимое место. Знаешь, как он этот пруд в шутку называет? «Лох-Несское» озеро! Кстати, а чем оно, настоящее, так известно? Будто бы в нем инопланетяне живут?

– Потом, – строго вздохнул Корнилов-старший.

Петренко сидел у воды в тени старой, столетней ивы с красно-бурыми глянцевыми ветвями, и поникшая великанская грива её пушистых листьев мерцала серебристо-седой изнанкой при всяком порыве ветра. На таком почти что фантастическом фоне и сам Петренко тоже казался эдаким сказочным духом-покровителем удалого запорожского воинства. Ибо являл собой пусть и человека роста не особенно высокого, но в крутых плечах разворотистого, со вздутой широкой грудью, одним выдохом которой явно можно было средней силы костёр враз осадить, – и с большими, раскидистыми «козацкими вусами»; левый сиял белее моржового клыка, правый – густо-смоляно блистал с антрацитовым отливом. Так было у них из рода в род по мужской линии. За что имели вековое прозвище «Белоусы». Правда, непонятно почему игнорировавшее наличие усища чёрного цвета. Но народу лучше знать.

Петренко только выхватил из пруда резвого, верткого золотисто-красного карасика граммов на двести, и тот метался перед ним, судорожно норовя сорваться.

– А я до вас, Тарас Николаевич. Брата привёл. Хочет к нам устроиться, – несколько смущённо проговорил Николай, глядя то на полное, свежее, азартное лицо Петренко, то на лихорадочно плещущегося перед ним яркого, чудно ошалевшего карася. Они будто некую игру затеяли: директор и рыбёшка.

Петренко пальцем указал Николаю отойти подальше. Высоко, как-то недоуменно поднял подбородок, словно рассматривал новоявленного неведомого мужика ноздрями, плотно забитыми зарослями блестящих седых волос. Могло показаться, что он бельма на него навел.

– Выпьешь? – сказал, наконец, скользнув беглой улыбкой.

– Вообще-то я не на работе, – усмехнулся Валентин Семёнович. – Но всё равно не охота. Без дельного повода. Так что проехали тему?

– И откуда ты такой взялся? – крикнул Петренко, всё ещё пытаюсь сцапать прыгучего карасика.

– Из Никишино. Колхоз «Родина».

– Слышал. Хорошее хозяйство. Кажется, Тарасов у вас вождит? А чего ты до нас? У вас там всемирный потоп?

– Особые обстоятельства...

– Он там был главный зоотехник! – взволнованно, гордо крикнул Николай, всё ещё стоя поодаль и чуть ли не на цыпочках. – А этим летом временно исполнял обязанности председателя! Да ещё как! Рекордный урожай взял!

Петренко всё же, наконец, ухватил рыбу, мгновение цепко подержал в руке, чувствуя её судорожное, раздражённое напряжение.

Забавно глянул ей в выпученные раскоряченные глазки.

– Премудрый карась... Жить хочешь? – усмехнулся он и ловким взмахом руки скинул его в пруд. Рыбка вёртко, штопором ушла на глубину.

– И спасибо не сказал, плескун! – засмеялся директор. – Значит, зоотехник, говоришь ... Главный?!

Он отёр руки о густо нависавшие ветки ивы и подал Валентину Семёновичу свою достойную мужицкую пятерню:

– А мне нужен зоотехник отделения... Ой, как нужен! Ты и представить себе не можешь! Пойдешь?

– Пойду.

– Про зарплату, что не спрашиваешь? – усмехнулся Петренко.

– Жду, когда скажите.

– Сто восемьдесят. И не рублем больше.

«У нас на такой должности больше 110-120 не дадут...», – мельком отметил Корнилов, но вида не подал.

– Жить будешь у брата?

– Желательно самому. Угол у кого снять подскажете?

– Угол?... – Петренко атаманом глянул на Валентина Семёновича. – У меня для нужных специалистов и дом найдётся. Или квартира, если твоя жинка пожелает. Новая. Многокомнатная. Хоромы, одним словом, царские! В общем, если честно, рад я тебе парень... Нутром чую, что такой гарный хлопец мне зараз и был нужен. И кто только мне тебя послал? Господь Бог? Или его Величество Случай? А может карасик, которого я сейчас отпустил в пруд?

Два дня положил Валентин Семенович себе на сборы в Украину. Чтобы мать не сразу ощутила его отсутствие, выправил, наладил всё, что на глаза попадалось: в огороде, саду, не обошёл стороной закут и хлев. Ещё и вырыл свежую яму под картошку в зиму, потому что как Воронежское водохранилище залили десять лет назад, так с тех пор даже у них в Никишино в погребе весной вода стала по колено подниматься.

На ферму проститься с народом не пошел – знал, там непременно слабину покажет. Даже если для твёрдости духа рвануть пару стаканов самогона. Понятное дело, себя провожать он тоже всем запретил. Кстати, Тарасов в эти дни, так случилось, отсутствовал: был вызван в область на совещание по вопросам реализации продовольственной программы.

Когда под вечер Корниловы уже были готовы ехать, их задержало стадо домашних бурёнок, занявшее всю дорогу на целых полчаса. Именно в это время, перед заходом солнца, они возвращались с выпаса. Сумеречные высеребренные лучи над Никишино растопырились по горизонту. Копыта глухо ступают. Кто никогда не держал скотину, так и те выходили за ворота поглядеть на такую внушительную церемонию.

Под девяносто коров (восемьдесят семь, если желать точности) в четыре ряда, перекрыв дорогу, цугом величественно вступили в село. Шли плотно, устало, с чувством исполненного долга. Никакая не дёрнется, не взмычит попусту. Вымя у каждой, натружено, увесисто свисает между ног. Переполненное, туго налитое, грациозно, тяжело колеблется. От стада пахнет молоком, травами и кизяками. А ещё, как поравняется с тобой какая буренка, от неё чувствуется живое тепло. Особое такое, чуть ли не материнское...

Валентин Семёнович глядел на эти устало колыхающиеся ряды, строго поджав губы, со слезой: того и гляди руку к своей кепке приложит, то есть честь отдаст коровкам старший сержант запаса.

Одним словом, он как прощальный парад принимал у Никишинских бурёнок.

(Окончание в следующем номере)



Проза

Алексей Новгородов

Алексей Викторович Новгородов родился 12 апреля 1961 года в Подмоскowie. Служил в воздушно-десантных войсках, затем – двадцать лет солдатом правопорядка, от слушателя Московской высшей школы милиции МВД СССР до руководителя подразделения центрального аппарата МВД России. Участник первой и второй боевых чеченских кампаний. Был ранен. Полковник милиции. Награждён четырьмя Орденами Мужества (1998, 1999, 2000, 2008), медалями, в том числе медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат премии «Фемида» (2010). Лауреат премии Фонда Всехвального Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы России «За Веру и Верность» (2014).



Серый

(У механизма победы в шестерёнках сотни зубцов)

Повесть

Магушка-земля заботливо принимает всё, что придается ей с любовью, обильно политое потом кровью и слезами: от налитых золотистых зёрен, чтобы заколосились бескрайние хлебные поля, до закопанных бессчётных сокровищ и кладов, укрываемых от лихих людей, для процветания потомков, на будущие благие дела. Да и тела наши бранные, поливаемые слезами расставания, принимает земля со скорбным отпечатком на лице погоста. Всё-всё принимает с материнской заботой. Одно не приемлет ни под каким видом, больно ей, когда вонзают в неё занозы поганые.

Даже через мягкую подошву кроссовок я ощутил, как земля делает вдох, чтобы кашлем отторгнуть изрыгнуть несколько килограммов тротила, сконцентрированного в заложенном по всем правилам минно-взрывного дела фугасе. Пережая короткую команду – «Ложись», я распластался на обочине дороги, вжимаясь всем телом в придорожную насыпь. Уткнувшись лицом в грязь, сжал руками голову, закрывая ладонями уши и затылок. Гром взрыва прервал команду «ложись» на последнем слогe, жёстко саданул по ушам, почти одновременно с ударом горячего спрессованного молота взрывной волны.

Дорога встала на дыбы, и в небо устремился растущий столб камней грязи и дыма, и не найдя в небесах поддержки раскрылся зонтиком, шляпкой ужасного, ядовитого гриба. Я не видел его, с закрытыми глазами втягивая на вдохе расплюснутыми ноздрями всякую гадость, – я его знал. Нет, это не гриб, это огромный бутон цветка, смертельно-серого цветка, мгновенно вырос и расцвёл на пути группы инженерной разведки ежедневно разминирующей дороги, работающей на грани нервного напряжения, где расслабление смерти подобно. Один неверный шаг, неверное движение, и распускается этот цветок, вырастая на месте, где благодатной почвой для него, становится смертельная ошибка, либо дьявольская гримаса судьбы в виде радиоуправляемого фугаса.

Вырвавшийся из преисподней, адский бутон распускается, разделяя жизнь на «до» и «после». Вырастает мгновенно, и чтобы отличаться от встающей дыбом, опаленной Чеченским солнцем придорожной земли, разукрашивает свои мерзкие, серые лепестки, фрагментами солдатских тел – руками, кишками, ногами, вырванными из благоухающего всеми прелестями цветущего и по-матерински нежно-ласкового начала кавказского лета.

Не успел ещё развеяться дым, а сапёры мгновенно откатились, приняли боевой порядок, ошетилившись оборонительным кольцом, отработанным до автоматизма не на учениях, а в самых что ни на есть боевых условиях, ожидая внезапной атаки, либо подлого обстрела из засады.

Старший лейтенант, которому, судя по возрасту и абсолютно седой голове, давно уже пора командовать полками, осипшим голосом на понятном только ему и его бойцам языке прокричал пару

отрывистых коротких фраз, делая упор на выкрикиваемые цифры, и, получив такие же цифровые ответы, стал бледнеть на глазах. Его одутловатое круглое славянское лицо вмиг осунулось, выделив неестественно огромные пульсирующие желваки. На похолодевшем, бледном лице, медленно краснели, наливаясь кровью, некогда добрые голубые глаза. В этих глазах была и боль, и злость и ненависть. Этим озверевшим взглядом он шарил по «зелёнке», прожигая, как лазером, деревья, кусты, и всякую поросль, стеной подошедшую к дороге, выскивая тварей, скрывающихся в зелёной непроглядной чаше.

Вспомнив о своём существовании, он повернул голову, оценив меня больше как обузу в данной ситуации, нежели помощника, продолжил отдавать команды своим бойцам и в радиоэфир, координируя действия идущего на удалении автомобиля «Урал».

Мозг армейского офицера кардинально отличается от мировосприятия оперативника: для него взрыв – это только начало, и он обшаривает взглядом всё вокруг, просчитывая, и выскивая, как и откуда ожидать дальнейшее развитие угрозы. Я же, как оперативник, воспринимаю взрыв как произошедший факт, поднявши голову, первым делом воткнулся взглядом туда, где ещё всё слабо просматривается из-за расплывающихся, оседающих клубов пыли, профессионально фиксируя место происшествия и только потом расширяя сектор внимания.

«О! БОЖЕ!!!» – оседающие клубы пыли открыли корчащееся посреди дороги тело солдата.

Вскакивая из своего укрытия, отталкиваясь одной ладонью от земли, а второй рукой опираясь на зажатое мёртвой хваткой цевьё автомата, я сделал рывок в сторону бедняги, готовый в несколько прыжков оказаться рядом с ним. Но в то же мгновение стальная хватка за лодыжку и мощный рывок назад, распластали меня на земле, как лягушонка.

– Урод!..., Кретин!..., Дебил! – «старлей» не стеснялся в выражениях, и крыл меня используя весь богатейший словарный запас ненормативной лексики, хотя перед выходом, изучая мой РОШевский спецпропуск, почти, что клялся в любви.

– ..., Дебил!, Ещё тебя потом вытаскивать, урода! Дорога душманами, как в тире пристреляна, а место вокруг закладки – особенно! Откуда только таких дебилов присылают!?!

Но наверняка в душе всё-таки оценил мой порыв – вытащить пацана из этой мясорубки. Да и ему самому было невольно видеть, как корчится от боли его раненный боец, являясь приманкой для стрелков, засевших в «зелёнке». Набрав полную грудь воздуха, надрывно, вкладывая всю злость и упор на букву «Р» растягивая слова, чтобы, не дай Бог, не быть не услышанным, и не понятым, прорычал:

– Тр-р-ретий, пятый! Сектор-р-р обстр-р-рела с полвосьмого до одиннадцати – Огонь!!! – и под прикрытием шквального огня по «зелёнке», он, согнувшись, бросился к раненому. Ни мгновения не задерживаясь, я рванул за ним.

Одновременно мы рухнули с двух сторон от бойца, и, не переводя дыхания, хотя я, наверное, последний раз вдохнул только на старте, схватили его за плечи бронежилета, и, отползая на боку, подгребая локтём, и отталкиваясь ногами, поволокли бедолагу к обочине. Стон, переходящий в протяжный вой подгонял нас быстрее оттащить бойца в безопасное место и впрямь ему обезболивающий укол, чтобы хоть на время облегчить его страдания.

Маленькие фонтанчики пыли и грязи, брызнувшие в полуметре от нас, ужасом ждали все внутренности внизу живота. Животный страх мгновенно отключил все мысли. Оцепенение. И уже находящаяся, где-то над телом душа, готова увидеть, как следующая пулемётная очередь пройдет кровавыми фонтанчиками по нашим застывшим телам, и почему-то обязательно должна размозжить мою дурную голову. Не стовариваясь, мы вскочили, и, согнувшись, бросились к спасительной обочине, не обращая внимания на дикий вопль раненого бойца. С такой скоростью, тем более в такой позе, не передвигалось ни одно Божье создание на земле. Обогнав пущенный нам вслед смертоносный рой свистящих пчёл калибра 7,62 мм, мы упали в придорожную яму, навалившись своими телами на раненого, усугубив его страдания.

Где-то там далеко-далеко, как будто на другой планете, за пределами нашей спасительной ямки, на противоположной стороне дороги завязался скоротечный бой, а «старлей», и неизвестно каким чудом оказавшийся здесь санинструктор никак не могли разжать мою ладонь сжимающую плечо бронежилета; рука как окаменела в том состоянии, в котором тащила раненого бойца. Спазм с низа живота поднялся вверх, и стал щемить в левом боку, одновременно выдавая такую жёсткую пульсацию, что рёбра еле выдерживали от этих ударов изнутри.

– Обосрался ты не на шутку, но ты молодец! – грубо вернул меня в реальность «старлей».
 – Я думал – конец, – не стал я оправдываться.
 – Да, я и сам..., – сделал он глубокий вдох. – Со времен Афгана, так близко эта старуха с косой не проходила.

– А почему ещё «старлей»-то??? – задал я глупейший в данной ситуации, но почему то свербивший меня вопрос. – Прости за глупость, если обидел.

– Да, глупость это не твоя! На Украине отказался принимать «незалежную» присягу, а здесь тоже оказался не нужен. Болтался по ЧОПам, а как запахло жареным, так и призвали.

– Товарищ старший лейтенант! – прервал наш разговор санинструктор. – Машина подошла, Серёгу грузить надо.

– Так грузите!!! – прорычал «старлей».

Человеческий мозг – удивительное создание – отчётливо зафиксировал всякую мелочь: не до конца отстиранные пятна синей краски на рукаве «старлея», валяющегося на спине опрокинутого жучка, дёргающего лапками, старающегося перевернуться и убежать от этого кошмара, но как появился БТР, как он обработал «зелёнку», и как прямо над нами очутился многотонный «Урал», я даже под пытками не расскажу, потому как это было в каком-то параллельном мире.

Это ложь и обман, что параллели никогда не пересекаются: чувства страха и отваги, глупости и мужества, любви и ненависти – все параллельные миры Вселенной сегодня сошлись здесь в одной точке в лесу за перекрестком дорог между Аргуном, Мескер-юртом и Джалкой.

Армейский организм отработал, как часы. Каждый винтик, каждая шестерёночка выполняла свою задачу. Каждый боец делал свою работу осознавая, что он частичка того великого, которое сойдёт, сорвётся, заскрежет и умрёт, или, как минимум, перестанет работать без него маленькой, но очень нужной в данный момент шестерёночки. Только я, как пятое колесо в телеге, оставался «здесь и сейчас» памятником бесполезности в этом слаженном механизме.

– Не стой истуканом! – без злобы выпалил мне «старлей», выстраивающий свою команду для продолжения выполнения боевой задачи. – Машина уходит, везёт раненного. Может тебя забросить в Аргун?

Эти безобидные на первый взгляд слова задели меня за живое.

– Ты что, меня за барышню кисельную принимаешь??? – взорвался я. – Я с тобой не по бульвару погулять напросился, а работа здесь у меня не слаще твоей будет. Пошел ты...!

– Не кипятись! – не понял он моего эмоционального взрыва. – Ты чё???

– Отвали от меня!!! – планка приличия упала в голове, и, уже не владея собой, выпалил я ему:

– Да, пошёл ты!!!..

А он неожиданно схватил меня за плечи, тряхнул так, что недосказанные слова застряли между лязгнувшими зубами и прикусанным языком, а мозги, прыгая в голове, встали на место, готовые снова воспринимать мир в его реалиях.

– Ты прости, подполковник, но не уважаю я «ментов». Нет, не всех, конечно, вы РУБОПовцы – трудяги, и пашете, и головы кладете наравне с нами, а кто-то карманы в это время набивает. Понимаю – не турист ты здесь. Не хотел я тебя обидеть, но и лукавить не привык – бойцы плохо реагируют на неприкаянных.

От этих простых и откровенных слов мне стало ужасно стыдно перед человеком, с которым несколько мгновений назад мы могли вместе навеки остаться на этой дороге, взявшись с двух сторон за бронезилет раненого солдата.

– И ты прости, – обнял я его. – Нервы ни к черту! Не каждый день в такую задницу попадаешь. А работать я буду вон там, за теми кустами, – и тут же прикусил язык, поняв, что на «нервяке» сболтнул непростительно лишнего, чего не должен произносить даже на дыбе, чтобы ни намеком, ни полусловом, ни взглядом, ни даже вздохом, не создать цепочку, указывающую дорогу к внедрённому сотруднику. И незаслуженно обижая хорошего человека, резко повернулся, давая понять, что разговор окончен, одновременно прокручивая в голове заученный ещё на инструктаже в Москве стишок: «Русские домой, (с одним “С”) – значит пятьсот метров от поворота на Мескер-юрт, слева по ходу движения на Гудермес – контейнер с информацией».

Но «старлей» оказался в сто крат умнее меня, а вернее мудрее. Он как-то игриво ударил в плечо, вроде толкнул, но не отталкивая, а лишь обозначая крепкую мужскую руку с увесистым кулаком,

впился в меня каким-то грустным взглядом, и с тяжёлым вздохом, как будто прощаясь навсегда, произнес:

– Давай хоть пару человек с тобой отправлю. Понимаю твою секретность, но за тебя, дурака, страшно. А мальчишки молодые, даже не поймут... – и, как бы уговаривая, с надеждой добавил:

– Подумай?!?

Мне подкатил к горлу ком, перехватило дыхание от такой искренней заботы совершенно незнакомого человека, с которым даже не успели по-человечески познакомиться.

– Спасибо, брат! Спасибо!!! Не надо. Извини, но если что..., то пацаны не помогут. А грех на душу брать не хочу, да и ты себе не простишь. А я, надеюсь, отработаю быстро, и выберусь к вам. Ты, кстати, дай команду сразу не палить из всех стволов по кустам. Я ведь как раз из «зелёнки» возвращаться буду.

И выдавив, как из тюбика, на грустное лицо неестественную улыбку, ударил ответным коротким джебом в его плечо.

– С Богом!!! – «старлей» развернулся на каблуках, поднял в прощальном приветствии полусогнутую руку с крепко зажатым кулаком, и быстрым шагом направился к своим бойцам, оставив меня работать.

* * *

На появившуюся глубоким вечером на торце дома напротив временного отдела милиции города Аргун корявую надпись «Русские домой», отреагировали абсолютно все по разному. Кто-то вскипел праведной яростью, готовый прикончить наглеца, кто-то испугался – не дай Бог, что после этого что-то случится – кто-то даже восхитился смелостью писавшего, и только я обрадовался.

Эту надпись я ждал с момента назначения начальником отдела по борьбе с организованной преступностью Оперативной группировки МВД России в Чеченской республике. Она, как «чёрт побери» для турецких контрабандистов в фильме «Бриллиантовая рука». Но только для нас это не кино, а гораздо серьёзней. Бриллианты слов «Русские домой» означают, что есть срочная информация от внедрённого в бандподполье сотрудника, и она дожидается меня в контейнере в условленном месте.

Нельзя найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет, гораздо легче найти иголку в стоге сена – контейнер, скрытый в лесу от посторонних глаз, закамуфлированный под складки местности, когда на сто процентов знаешь, где и чего искать.

Вытащив плотно скрученную фотографию с пояснительными надписями на обороте, я заложил Каземиру подробную инструкцию о других средствах экстренной связи, так как повторение «Русские домой» – прямой путь к провалу и рванулся догонять группу инженерной разведки.

Внутренний порыв бегом, сломя голову, броситься из неудобного, и пугающего леса, сдерживался двумя вескими причинами одна серьёзней другой. Во-первых, надо так же скрытно, как подкрался, так же незаметно и покинуть место закладки контейнера, даже не потревожив постоянных жителей – зверушек, зверьков и зверей разных мастей, и предательских птиц, испуганно взмывающих вверх, обозначая присутствие чужака. Второй причиной пренебрегать не менее опасно, чем первой. В лесу мин, растяжек, и иных сюрпризов, наставленных одними против других, теми против этих, этими в ответ против первых, в итоге насовали так, что сами рвутся на своих же, и, как месть, ставят ещё больше и изощрённее смертельных ловушек, усугубляя и так уже до невозможности непроходимость леса.

Выбравшись на дорогу, я производил вид человека вернувшегося из преисподней. Солдаты группы инженерной разведки спокойней бы отреагировали, если бы перед ними в обнимку прошли министр обороны с президентом. Моё появление из леса, откуда одинокие путники живыми не возвращаются, ввергло их шок, а бледно-серое лицо от пережитого страха и нервного напряжения дополняло вид ходячего покойника.

– Спиртика прими. Тебе сейчас в самый раз, – извлекая откуда-то из закровов многочисленных карманов плоскую, выдавшую виды фляжку ещё с гербом Советского Союза, скороговоркой выпалил «старлей», искренне обрадовавшийся, что снова видит меня в полном здравии.

– Не-е-е..., мне бы срочно в Ханкалу. Или хотя бы в Аргун, а там разберусь.

– С чем ты разберёшься? С тобой всё нормально? – посмотрел он на меня как-то подозрительно.

– Более чем... Спасибо. Дай лучше связь, машину вызвать, – прижимая рукой, непонятно для чего, и так наглухо застёгнутый карман с полученной от Каземира посылкой, внутренним чутьем осознавая, что у меня в руках такая информация, что сейчас каждая минута на вес золота, сказал я.

Оказавшись в относительной безопасности, я стал беспричинно суетиться, дёргаться, усугубляя и без того очевидный образ подвинувшегося разумом. В голове было какое-то опустошение, я односложно отвечал на все вопросы, и в то же время бормотал всякую чепуху, мысленно убегая куда-то далеко-далеко от злополучного перекрёстка.

Вдруг как-то резко стало отпускать нервное напряжение после пережитого за эти неполных два часа. А вместе со стрессом стали покидать и физические силы, как будто из меня вытащили батарейку. Навалилась невероятная тяжесть. Я еле передвигал ноги, тащась в хвосте группы инженерной разведки, проклиная нерасторопность выехавших за мной моего бессменного заместителя Долгова с СОБРовцем. А перед глазами навязчиво стояли, возвращая в совсем недалёкое прошлое, бурые солдатские берцы с разорванной шнуровкой, в некоторых местах блестящие от ещё не запёкшейся крови. Они, и камуфляжные, заляпанные грязью штаны бойца группы инженерной разведки Серёги, поменявшие цвет с бело-зелёного на пугающий чёрно-бордовый, кровавый. Слышал его душераздирающий крик, истошный вопль, пронизывающий до мозга костей.

– Боже!!! Почему они??? Сопливые пацаны, некоторые даже толком не потискавшие девчонок, становятся седовласыми ветеранами, вычеркнув из жизни самые полноценные, самые бесшабашные и счастливые годы, время проб и ошибок, время мечтаний и исполнения желаний.

* * *

УБОПовский «жигулёнок», появился неожиданно, как в принципе и всё в этой жизни, чего очень сильно ждёшь, подгоняешь, нервничаешь, торопишь, а появляется совсем внезапно.

Долгов, сильно удивившийся, что вместо утреннего совещания, он находит меня «Бог знает где» в полуобморочном состоянии, да ещё через посыльного от «воjak». Он не скрывал своего недовольства по поводу полного неведения планов своего руководителя, чьим заместителем он является по службе, и другом по жизни.

Я что-то лепетал ему в оправдание, скрывая даже от него истинную цель своего появления в столь ранний час на дороге в лесу под Джалкой. В то же время я жадно искал взглядом «старлея», чтобы от всей души сказать ему и его бойцам человеческое спасибо.

А «старлей», наверное, и не выпускал меня из вида. Увидев рядом со мной УБОПовцев, он сам подошёл, протянул руку, и когда рукопожатие не смогло уже передавать тех чувств которые мы испытывали друг к другу, не разжимая руки рванул меня к себе и похлопывая по спине сжал в стальных мужских объятиях.

Долгов, не скрывая раздражения, грубо прервал наше прощание:

– Там Шаравин ужом вьётся, отмазывая тебя. Генерал Хотин просто «рвёт и мечет» – где начальник ОБОП?!!!

– А он-то откуда узнал?

– Посыльный воин сначала в штаб прибежал, а в штабе есть твои «доброжелатели», которые не преминули вложить тебя по полной программе со всеми прилагающимися в таких случаях своими интерпретациями.

– Вот за это я и не люблю «ментов»! – встрял в наш разговор «старлей». – Хотя, чего греха таить, и в наших штабах подонков хватает.

– Не от профессии, а от человека зависит «подлючесть» его натуры, – вступился за правоохранителей Долгов. – А хороших «ментов» всё равно гораздо больше, как, в принципе, и в войсках нормальных пацанов.

– А у меня из головы этот парень не выходит – солдатик твой раненый – которого мы вытащили с дороги, – находясь ещё в каком-то ступоре и не успевая за ходом разговора, пробормотал я.

– Серый, что ли?

– Да. Сергей.

– Отличный боец! Способный, смысленный, хороший парень! Его все любили. Дай Бог, врачи спасут его, сейчас вся надежда на медиков.

– И на Господа!

Долгов понимая, что он опять не в теме разговора, вспомнил о генерале, и, осознавая, что самое страшное ещё впереди, поёжился, представляя какой гнев обрушится на наши головы, командирским голосом, не терпящим возражений, как будто начальник он, а не я, прорычал:

– Викторыч, пора! Понеслись!

Захлопнувшаяся дверца «жигуля», сжала пространство и время, которое понеслось, не задерживая память ни на одном последующем отрезке этого сумасшедшего дня.

Осознание реальной действительности пришло только когда я нос к носу столкнулся с генералом Хотиным, поджидавшим нас у входа в хитросплетение нагромождённых УБОПовских кубриков-вагончиков. Хотя выражение «нос к носу», явно не подходит к описанию нашей встречи, скорее это было похоже на столкновение с Голиафом, где не то, что до носа, – у него под мышкой можно пройти не нагибаясь. Поэтому, оперевшись прямым взглядом в зажим на генеральском галстуке, я как можно нечленораздельней пробормотал, что готов прийти с докладом через пятнадцать минут, в душе даже не надеясь получить этот так необходимый зазор времени.

Оказывается, генералы тоже допускают ошибки. Смерив меня сверху вниз грозным взглядом, и, нагоняя страха и ужаса, чтобы впредь неповадно было, используя принцип наказания, что ожидание смерти, страшнее самой смерти, он прорычал, сотрясая знойный воздух над Ханкалой, как царь зверей лев своим ревом оглашает застывшую в испуге саванну:

– Через пятнадцать минут вдвоём с начальником криминальной милиции ко мне в кабинет!

Не знаю, за что Господь так милостив ко мне, выдавая авансом столько времени, чтобы из труса, дезертира, предателя, оборотня и ещё Бог знает каких смертных грехов военного времени, какими успели обмазать меня в глазах генерала за время моего отсутствия улыбочивые доброжелатели, дать мне шанс снова вернуть свою репутацию, причём извернуться так, чтобы ни слова не проронить о истинных целях моего самовольного исчезновения.

– Слушаюсь!!! Через пятнадцать минут быть в Вашем кабинете! – уже забегая ему за спину и выискивая взглядом старающегося держаться подальше от начальства незаменимого штабиста, педанта до мозга костей Скорнякова, бросился я в штабной кубрик. И, нисколько не ошибившись в расчетах, я нашёл его у дверей штаба. О том, что это штаб УБОПа, гласила изготовленная им лично табличка, но самое главное, там была прямая связь с Москвой.

– Петрович! – заталкивая его в дверной проём, и захлопывая за собой дверь. – Срочно связь с начальником ГУБОП!

– С кем?!? – его природная осторожность и устоявшаяся нелюбовь к общению с высоким руководством, от которого ничего хорошего ждать не приходится, стала включать тормоза, дабы сгоряча не натворить чего худшего.

– Викторович, ты не охренел??? Ты бы ещё Министру позвонил!!! Не надо быть Д.Артаньяном, и вызывать на дуэль сразу весь мушкетёрский корпус! Это только у Дюма в книжках удаётся, а тебе для растерзания и одного Хотина хватит.

– Ты не понял?!? Срочно связь с начальником Главка! А сам с той стороны за дверью встань, чтобы ни одна тварь не вошла, пока я разговаривать буду.

И пока Петрович с опаской за последствия дозванивался в Москву до начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, я, повернувшись к нему спиной, достал записку от Каземира. В ней была любительская, но довольно-таки качественная фотография, на которой стояли шесть бородатых ублюдков в камуфляжной одежде, обвешанные оружием, как новогодняя ёлка игрушками, и бросался в глаза явно выделяющийся на общем фоне второй слева боевик со славянскими чертами лица, на которого указывала нарисованная шариковой ручкой стрелка. На обороте фотографии этой же ручкой написано: «Степан Луценко. Знает, где запланирован теракт, выезжает в Москву для организации. Знает, где зарыта взрывчатка. Знает исполнителей в лицо».

Холодок пробежал по спине, и к горлу подкатил ком щемящего чувства тоски по дорогим и любимым людям, оставшимся там, в суетливой московской обыденной жизни, по которым скучать начал уже в пути, даже ещё не увидев красоты и жестокости седых Кавказских гор. Осознание последствий готовящегося террористического акта, стало растворять, размазывать эти милые дорогие лица, соединяя их в одно пепельно-серое обезображенное видение, пугающее своим непоправимым ужасом, и всё это медленно-медленно накрывает пелена до сих пор стоящего перед глазами растерзанного камуфляжа сапёра Серёги, пульсирующего потоками бурой крови.

Сильный тычок в спину, прогнал это нарисовавшееся в мозгу видение. Скорняков, даже не желая подавать голоса, несколько раз ткнул меня телефонной трубкой в спину, и когда я разворачиваясь, машинально схватил её за чёрный изгиб между наушником и микрофоном, он тут же молча, но, как показалось, с гораздо большим удовольствием, бросился выполнять приказание – раствориться за дверью.

Сквозь шипение, непонятные щелчки и трескотню, я услышал слегка раздражённый голос:

– Ну-у-у, докладывайте!.. Не молчите!!!

– Товарищ генерал-майор! – чётко проговаривая каждое слово, начал я и машинально вытянулся по стойке смирно, услышав голос начальника Главка. Хотя если бы я даже и сидел, развалившись на стуле в неприличной позе, он никак не оценил бы нарушение служебной дисциплины. Как в принципе не оценил и мою вытянувшуюся по струнке фигуру, так как в кубрике я находился один. Даже мухи, комары и старающиеся без надобности не попадаться на глаза паучки исчезли, почувствовав секретность и напряжённость момента.

– Давай без приседаний. Что у тебя случилось?

– По линии «ОВ» получена информация о готовящемся в Москве террористическом акте. Есть фото организатора, которую отправлю нарочным! – на одном дыхании выпалил я в трубку.

Запнулся, вспомнив о Хотине, стал подбирать слова, чтобы генералы связались между собой и сняли недоразумение, связанное с особой секретностью моих действий.

– Никаких нарочных! Завтра в 11.00 на доклад к первому заместителю министра. Ты охренел!?! Ты вообще осознаёшь серьёзность информации? Совсем расслабились, страх потеряли вы там, в своей Чечне!!!

Щелчок и глубокая тишина в динамике означали, что собеседник закончил разговор и положил трубку. Осталось только догадываться: он бросил её вгорячах, судя по последним произнесённым словам, либо, не теряя времени, стал перезванивать заместителю министра – начальнику службы криминальной милиции России, хотя могло быть и то, и другое. Одно радовало, что голову мне оторвут не сегодня, а завтра, и в более высоком кабинете в Москве. Но вновь всплывшее перед глазами видение готовящегося теракта заставило плюнуть на генеральский гнев и незамедлительно включиться в работу как вычислить и обезвредить этого упыря со славянской внешностью и душой дьявола.

– Петро-о-ович! – во всю плотку заорал я, пытаюсь докричаться до самого далекого уголка УБО-Повских закоулков, приоткрыв дверь, и не увидев неприступной скалой стоящего на охране секретных переговоров Скорнякова.

Я всегда удивлялся его спокойствию в экстремальных ситуациях, продуманному, но не переходящему грань допустимого пофигизму.

– Чуть не зашиб! – бубня себе под нос, медленно вышел он из-за двери, и, уже обращаясь ко мне, в несвойственной ему манере говорить нравоучительные вещи, добавил:

– Успокойся, Викторович, всё будет хорошо.

И это прозвучало не банально успокаивающе, а с какой-то теплотой и внутренней надеждой, что так оно и будет, обязательно будет. Иногда всё-таки лучше воспринимаются не слова, их значение и то, кем они сказаны, а главное, как они произнесены. И от этого вновь появилась уверенность в своих силах и рвение совершить больше, чем даже можешь.

– Твои слова, да Богу бы в уши, – выпалил я ему в ответ, стараясь, чтобы это прозвучало в его же манере, но с долей сарказма.

Но ни на шаг не отступающая мерзкая картина надвигающейся где-то там в Москве катастрофы, не дала до конца насладиться возникшей атмосферой дружеского взаимопонимания и душевной поддержки.

– Петрович, срочно найди по закрытой связи Лавсова из ОИО.

– Откуда???

– Отдел информационного обеспечения Главка. Ты совсем расслабился, страх потерял, здесь в своей Чечне, – процитировал я генерала Овчинникова и рассмеялся в голос. – Тебе ещё в Москву возвращаться, а ты всё позабыл напрочь, – договаривал я уже сквозь смех.

Скорняков, не ведая, что эта фраза произнесена уже второй раз в течение пяти минут и переадресована ему от самого начальника ГУБОП, удивился странности моего поведения, но за компанию хихикнул, на всякий случай. И поспешил к аппарату закрытой связи.

Эфирный шум, состоящий из какофонии скрипов, свистов, трескотни и ещё Бог знает каких противнейших звуков, не смог заглушить радостный крик Лавсова Вовки:

– Лёха!!! Здорово!!! Как ты там?!? Что случилось??? У тебя всё нормально??? – сыпал он вопросами, как из пулемета.

И опять я поймал себя на мысли, что поток этих вопросов далеко не формальный, а реально беспокоящий его., что он желает получить на них такие же откровенные ответы, которые ему не безразличны, потому, что он ГУБОПовец, надёжный коллега и настоящий друг искренне волнуется за меня. Он и сам провёл здесь не одну командировку.

– Вовка, прости, что не поздравил тебя с Днём рождения! – прервал я водопад его вопросов, почему-то первым делом подумав, что это очень важно извиниться за несделанный звонок. Я ведь раньше, никогда не забывал его поздравить, потому что у нас разница всего в один день. Друзья находили возможность поздравить меня любыми способами, используя даже недоступные им средства, а я, имея в распоряжении стопроцентную связь, не использовал её под каким-либо благовидным предлогом.

– Хрен с ним, с Днём рождения. Ты-то как?!? Подожди, сейчас Ирка Семёнова подойдет. Поверь, она сильно обрадуется, услышав тебя. Она ведь увольняется, прикинь – какая потеря. Ирка вообще супермозг, и человек замечательный, тяжело без неё будет.

– Володь, тормозни!!! Записывай: Луценко – Леонид, Ульяна, цапля, Елена, Николай, Константин, Ольга имя Степан. Всех с такими данными, выехавших, выезжающих, и забронировавших билеты на Москву и ближайшие регионы по всем видам транспорта, с любого направления, особый упор сделать на наше направление и Украину. Но отработать надо всех. Ответ нужен завтра до полудня. Извини, не могу больше говорить. Иришке большой привет с поклоном, а по поводу её увольнения, ты меня сильно расстроил.

* * *

Ханкала – это, выражаясь по-русски – большая деревня. На Кавказе говорят по-другому: на одной горе чихнешь, с другой тебе «Будь здоров!» скажут. А по-ментовски звучит так, что «скорость стука превышает скорость звука». И по этим самым причинам я шел на «взбучку» к генералу Хотину, как сквозь строй: с одной – сочувствующие, с другой – злорадствующие взгляды. Знали все и всё, хотя и неточно.

Дверь кабинета была открыта, и было видно, что генерал широкими, тяжёлыми шагами ходит из угла в угол, погружившись в свои мысли. Что-то не складывалось у него в голове. Моё появление прервало ход его мыслей, а чеканящая речь подкосила его ноги. Хорошо, что он, как Цезарь, остановился, возложив руку на спинку кресла, на которое потом и опустился.

– Товарищ генерал-майор! Я незамедлительно отбываю в Москву на доклад к первому заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации! Во время моего отсутствия мои обязанности будет выполнять подполковник Шаравин, а в его отсутствие подполковник Долгов.

В кабинете повисла гробовая тишина. Слышно было с каким рёвом и грохотом приземлилась на стол ничего не подозревающая, беззаботная муха с зелёным брюшком, и опять тишина, затянувшаяся бы на вечность, если бы не взорвал её сломавшийся в руках генерала карандаш.

– Ты сам это придумал, или надоумил кто?

– Это приказ начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, согласованный с начальником службы криминальной милиции, первым заместителем Министра! – так же чётко отрапортовал я.

– И что? – не ожидая такого разворота событий, как-то ошарашено и неожиданно даже для самого себя произнёс генерал, не понимая как выйти из сложившейся ситуации, не потеряв лицо, и в то же время порычать и дать понять, что здесь и сейчас всё-таки он хозяин положения.

– Олег Валентинович, поймите: это очень-преочень важно! – сменив тон с официального на душевно-дружеский, с интонациями уважения и доверия к генералу, попавшему в непростую ситуацию по моей же вине, сказал я, заглядывая ему в глаза.

Он обмяк, опустил подбородок на сложенные кулаки, опираясь локтями о ворох бумаг разбросанных на столе, и посмотрел на меня каким-то сочувствующим взглядом. Он смотрел на меня так, как отец смотрит на сына делающего всё правильно, всё по совести, чему сам же и

учил, но понимая, что очень много неприятностей из-за этого свалится на мою голову. Лишь бы не сломался. И в этом взгляде друг другу в глаза как-то незаметно пропал разделяющий нас холодок.

– Дурак ты, Лёха! Про твои похождения уже столько рапортов написано. Ты сейчас и дело сделаешь, и поблагодарят тебя за это, и даже по плечу похлопают. Пройдёт время и всё забудется, а бумага с дерьмом останется, и отрыгнётся она тебе в самое неподходящее время. Это жизнь, сынок. А рапорта, поверь, пишут не только мне; самые ретивые и на меня тоже.

И как-то сразу, без пауз и каких-либо переходов:

– А ты, вроде бы, москвич? Знаешь, что: я даю тебе три дня. Дома хоть побудешь, отдохнешь, своих обнимешь. Сейчас «вертушка» на Шелковскую летит, оттуда в Моздок, прыгай в неё, а дальше уже «бортом» на Москву.

– На Шелковскую говорите? Уж лучше сразу на «Щёлковскую» – метро такое в Москве есть, – резко подскочило у меня настроение. Я ведь даже не подумал, как буду добираться в Москву, да ещё к строго обозначенному сроку.

Но попасть в уходящий вертолёт – не простая задача, и если бы не прямое указание начальнику криминальной милиции любыми способами отправить меня именно этим бортом, идея провалилась бы, даже ещё не начавшись.

Удивительное явление, вызывающее уважение, переходящее в неподдельное преклонение – это вертолётчики, работающие далеко за гранью возможностей предусмотренных как техническими регламентами, так и человеческими возможностями. Они выполняют боевые, хозяйственные, транспортные и ещё Бог знает какие немыслимые задачи, часто совмещая их, соединяя несоединимое. Командир экипажа начал с традиционного категорического «Нет», и ни звания, ни фамилии не произвели на него никакого впечатления. И только по-человечески сказанное, что от этого зависит жизнь многих и многих мирных граждан, убедили его взять ещё восемьдесят килограммов живого веса, не отягощённого никаким скарбом. Ибо, как монах «в чём живу – с тем иду», даже вечного помощника и спутника своего – «посох» марки АКС-74 калибра 5,45 мм, и того оставил я в УБО-Повском кубрике под замком.

В Моздоке, ломая боевую привычку высыпаться из вертолёта, как горох, при первом же касании колёсами земли, мы ещё минут пятнадцать катались по бетонному покрытию закоулков военного аэропорта, пока наш аппарат не остановился за земляным валом, с трёх сторон защищающим стоянку винтокрылой машины. На небольшом удалении стоял военный УАЗик, от которого неестественно-прыгающей походкой направился в нашу сторону молодой офицер в лётной куртке без знаков различия.

– Кто из вас начальник ОБОП? – окидывая взглядом прибывших пассажиров вертолёта и не найдя по своему внутренне нарисованному образу подходящей кандидатуры на эту должность, обратился он ко всем сразу.

– С какой целью интересуетесь? – вопросом на вопрос ответил я, дав понять, что диалог касающейся борьбы с организованной преступностью ему лучше всего вести со мной.

– Быстро в машину! Мне не до шуток; «борт» в Москву на «Чкаловский» скоро улетает, а тебя ещё в маршрутный лист вписать надо и соблюсти ещё ряд необходимых формальностей.

«Довоевались... Чем ближе к Москве, тем больше формальностей», – подумал я, молча усаживаясь на заднее сидение УАЗика, больше не вступая в какую-либо полемику с молодым офицером, старающимся всем видом показать свою исключительную значимость. Тем более, что я – полный «профан» в вопросах того, что и как надо делать, садясь «на хвост» уходящему спецрейсом военному самолёту.

После прохождения, выражаясь словами сопровождающего меня офицера, «ряда формальностей» и оказавшись рядом с серым фюзеляжем самолёта АН-12, я залюбовался его изящной фундаментальностью. Невольно пришла в голову мысль, что, несомненно, флагманом военно-транспортной авиации, конечно, является ИЛ-76, олицетворяющий собой красоту, силу, надёжность и вообще гениальность инженерной мысли, но как-то всё-таки незаслуженно обходят восторженными эпитетами неприхотливого ветерана, трудягу поднебесья. Когда-то и мы станем уходящей натурой, и нам на смену придут более перспективные и грамотные «семьдесятшестые ИЛы», которым не стыдно будет передать результаты нашего дела.

С этими мыслями о великом, но недалеком будущем, я вошёл в салон самолета, где мне резко ударил в нос букет медицинских запахов: спирта, валерьянки, формалина и ещё какой-то гадости, усиленный ненавидимой с детства вонью мази Вишневского, вернув меня на грешную землю. По бортам друг над другом в два ряда были закреплены носилки с ранеными бойцами и так необходимое им в полёте медицинское оборудование. Бортинженер лайнера по-хозяйски усадил меня между носилками в хвосте самолета, поставив в известность человека в белом халате с абсолютно лысой до зеркального блеска головой, одетому в не отличающийся стерильностью камуфляж, который был явно не рад моему присутствию в его владениях.

– Чёр-те-чо! – брезгливо изрёк «халат». – Устроили здесь проходной двор! Ходят здесь не пойми кто, в не пойми чём, а здесь всё-таки, как ни крути, медико-санитарное учреждение, хоть и летающее.

И, уже хватая за рукав бортинженера, с какой-то обидой в голосе:

– А Вы пробовали, когда-нибудь без разрешения с сумками зайти на территорию УБОП? На них даже красный крест был нарисован, а меня мордой в землю... Я, ведь просто хотел к земляку зайти, а они меня, как цыплёнка табака, по земле распластали! Радует только, что сухо было и трава мягкая.

– Странно; а мне об этом даже не доложили, – привставая с места, вклинился я в их разговор.

Бортинженер одарил меня благородно-благодарственным кивком головы и мгновенно исчез заниматься более необходимыми в данный момент делами, оставив меня выслушивать леденящую кровь историю о встрече человека в белом халате с монстрами из УБОП. А медик, поперхнувшись на полуслове, упёрся в меня рентгеновским взглядом, увидев прямо перед собой причину своего трёхдневного душевного дисбаланса.

– Земляка-то хоть увидел? – с чувством иронического сочувствия, улыбнувшись, спросил я.

А он рассмеялся открыто, от души, по-детски растворив в откровенном смехе всю обиду, которой, я уверен, и не было, и быть не могло у этого милого, заботливого жизнелюба, отдающего всего себя без остатка бойцам, лежащим на носилках по бортам самолета.

– Какое там – повидал?!? Было у меня пять минут, вот я их и провалялся в травке под бдительным присмотром этих головорезов. Единственное, что порадовало – есть ещё у нас специалисты! Очень профессионально сработали, и даже извинились потом.

Сквозь нарастающий рёв двигателей самолёта слабый, полубредовый стон – «Пи-и-ить!», прервал наше игривое настроение поуморить в обсуждении нелепой ситуации, в которую попал доктор, выражаясь его же словами «третьего дня тому назад».

Резко вернувшись в свое постоянное состояние, он сделал шаг к носилкам, заботливо положил руку на голову раненого бойца, проявляя к нему отеческую заботу, и одновременно с этим профессионально определяя температуру и состояние находящегося пока ещё под действием обезболивающих препаратов, солдата.

– Потерпи, сынок. Сейчас взлетим, я ещё укол сделаю – тебе полегче будет.

И обращаясь уже ко мне полушёпотом, но с непререкаемой твёрдостью в голосе:

– Не вздумай ему по простоте душевной воды дать! Губы ваткой смочить – не больше. У него минно-взрывное ранение, с внутренними органами полная беда, бронезилет только частично спас, но что после такого удара происходит «не приведи Господь»! Да и ноги ему разворотило; скорее всего, под ампутацию. Без меня никаких действий! Уловил?

– А где ватку с водой брать?

Но усиливающийся рёв двигателей не дал ему услышать моего глупого вопроса, а мне какого-либо вразумительного ответа. Лётчики, осознавая, что на борту у них не простые пассажиры, отдавая дань пацанам, выполнившим до конца свой долг, подняли многотонную машину с таким комфортом, что я – человек, имеющий за плечами опыт десантника и невероятное множество гражданских авиаперелетов, только через некоторое время осознал, что мы уже давно плывём в воздушном океане. Я не почувствовал традиционного, вдавливающего в кресло стартового рывка в начале разбега, не было закладывающего уши отрыва от земли и резкого набора высоты. Мы просто перестали ощущать удары шасси о стыки бетонных плит на взлётно-посадочной полосе, а прервавший наш с доктором разговор рёв двигателей, медленно перерос в монотонный свистящий гул.

– Пить..., пи-и-ить..., дайте воды, – настойчиво просил совсем ещё молоденький солдатик, перебинтованный почти до самой груди, чем-то напоминая старую египетскую мумию с картинок в учебнике по древней истории. Но именно этот парень здесь и сейчас своей жизнью написал несмыслимым, жирным шрифтом в нашу, современную историю понятие патриотизма и ратного служения Родине.

Обмакнув ватный тампон в пластиковый стакан, я обильно смочил водой его потрескавшиеся губы, которые он инстинктивно поджал, не давая испариться ни единой капле, жадно облизнул, проведя по ним распухшим и неестественно белым языком. У меня защемило сердце, и я, осознавая, что не сделаю большого вреда, нарушив жёсткую инструкцию, выдавил несколько капель с тампона в полуоткрытый рот.

Его выступающий кадык сделал глотательное движение, щедро делаясь образовавшейся во рту свежестью, провожая её к горящим нестерпимой болью пострадавшим органам. Ясные, подернутые поволокой боли на изможденном, пепельно-сером лице глаза одарили меня благодарным, проникающим в самую душу, искренним взглядом.

– Братишка, – обратился он ко мне. – Посмотри, что у меня с ногами? Я совсем не чувствую ног ниже колен. Ляжки жжёт, колени горят, а ниже ничего. Вообще, есть они у меня там? Может, взрывом оторвало, а может, врачи отрезали.

– Я тебе так скажу: после ампутации, со слов пострадавших, сильно болят именно отрезанные органы, так, что если не болят, радуйся.

– Нет, ты посмотри. Ты мне честно скажи, что там у меня.

– Всё нормально, все перебинтовано, как надо

– Нет, ты скажи, всё забинтовано? Во весь рост или только до колен?

Я понял, что прямые и односложные ответы его и раздражают, и ещё больше убеждают в застрявшей в задурманенной голове мысли, что все ему врут во благо, и со скорбными лицами отводят взгляды, искренне сочувствуя, успокаивают, выдавая желаемое за действительное.

Демонстративно смерив его несколько раз с головы до ног так, чтобы он мог проследить за моим взглядом, я изобразил самое глупейшее выражение лица, на которое только был способен, и, констатируя увиденное, трагическим голосом произнёс фразу, от которой он, наверное, впервые со времени своей трагедии, рассмеялся:

– Если ты был метра три ростом, то метр с копеечками наверняка оттяпали! А так где-то метр восемьдесят – восемьдесят пять оставили и аккуратненько упаковали. Плотненько так забинтовали, по всем правилам медицинской науки.

Его глаза блеснули надеждой, и он закатился таким смехом, каким могут смеяться только чистые душой, ещё не битые жизнью, беззаботные дети. Но неожиданно искренний смех перерос в какой-то тяжёлый внутренний кашель, искаживший болью и без того бледное лицо.

Копошившийся неподалеку и краем глаза одобрительно наблюдавший за нами доктор, улавливая в пол-уха наш разговор, резко отгеснил меня своим внешне хрупким, но мускулистым телом. Одной рукой он ловко выдавил из шприца воздушный пузырь фонтанчиком лекарственного раствора, который, блеснув в солнечном луче, продравшимся сквозь заляпанный иллюминатор, тут же рассыпался на мелкие изумрудные капельки. Другой рукой, резкими движениями протерев уже до синевы исколотый изгиб руки бойца, без поисков и лишних манипуляций очень профессионально вколол в вену содержимое шприца.

Вместе с растекающейся по венам живительной жидкостью, отступала болезненная гримаса, искажавшая совсем юное с легким пушком над верхней губой красивое славянское лицо.

– Док, не ругайся на лейтенанта, он ничего плохого не сделал, это я сам...

– Что ты сам?... Сам он... «Самалка недоструганная», – улыбнулся доктор. – Сейчас за тебя само молиться надо, а ты за здорового мужика лезешь заступаться.

– Не прогоняй его. Прости, Док, но он..., – запнулся солдатик, подбирая слова, и по-детски покраснев, продолжил, – ...за мной впервые так по-человечески ухаживают! А ещё и офицер, целый лейтенант.

Я опешил. Как он умудрился в своем состоянии увидеть на моём застиранном, выгоревшем на солнце и находящимся в состоянии не первой свежести камуфляже вышитые и почти исчезнувшие с погон две затёртые, зелёные звездочки?! Хоть и подполковничьи, но при отсутствии просветов их

вообще легко можно перепутать не только с лейтенантскими, но и просто с элементами камуфляжной расцветки. Ну что ж, пусть будет так: лейтенант – так лейтенант.

А вот насчёт ухаживания, тут ты, парень, не прав. Так не только лейтенанты да подполковники, а генералы должны за тобой дерьмо выносить, да кланяться тебе в ноги за службу твою ратную. Без вас, серых и незаметных, самоотверженно выполняющих свою рутинную, черную, но смертельно опасную работу, не будет ничего. Вы – опора, вы – фундамент всех побед. На вас ложатся самые тяжёлые будни, в которых вы, необструганные пацаны, теряете здоровье, ломаете психику, и погибаете, оставаясь неузнанными, не прославленными и даже не помянутые теми, за кого отдаёте жизнь, оставаясь в памяти только родных и близких.

– Да, здесь он! – обернувшись вдруг ко мне, с какой-то двусмысленной интонацией, обращённой к нам обоим, но для каждого со своим подтекстом, сказал доктор.

– Я здесь, Серёжа, – подал я голос из-за его спины. – Я никуда не делся, просто подвинулся, чтобы док тебе укол сделал.

Боец аж дёрнулся, услышав своё имя.

– Обалдеть. Откуда ты знаешь моё имя? Меня так только мама называла. А все в основном по фамилии. Фамилия у меня соответствующая – Серый. Даже те, кто фамилию и не знает, всё равно Серым зовут. На улице всех Сергеев «серыми» кличут, а я ещё и Сергей Сергеевич, это уже как печать. И только мама..., нежно так, растягивая букву «Ё», только она... И вот у Вас сейчас так же получилось. Спасибо тебе, лейтенант.

– Ладно тебе, Сергей Сергеевич. Рано ещё в меланхолию да воспоминания уходить, у тебя вся жизнь впереди. А Серёжей, признайся, тебя ведь ещё какой-нибудь небезразличный тебе человек, называет.

– Да уж, наверняка какая-нибудь рыжеволосая зазноба вздыхает на Родине, – ехидно хохотнув, поддержал доктор.

– И никакая она не рыжая! – вспыхнул Серый, и, поняв, что его, как мальчишку, раскрутили на сокровенную тайну, залился до самых пяток красной, как помидор, краской, так, что даже белые бинты на его растерзанном теле не смогли скрыть юношеского стеснения при затрагивании любовной темы. Хотя какая это тайна; о НЕЙ он готов вздыхать днями напролёт, доставая самые тёплые и нежные чувства из закровов своей большой и светлой души. Но, стараясь оградить чистоту своих отношений от ненужных домыслов, он беззлобно выкрикнул:

– Дураки, вы все!!! – и залился очередной порцией красной краски, вызвав наш дружеский смех, к которому он сам с удовольствием присоединился.

Самолет сделал крен, и мирно спящий на подушке Сергея солнечный зайчик прыгнул, осветив его лицо, а потом побежал по всему салону в сторону кабины пилотов, из которой неспешно, широко расставив ноги, вышел бортиженер и медленно пошёл вдоль носилок, проверяя надёжность крепления и фиксации раненных бойцов.

– Скоро посадка. Вы бы присели, да пристегнулись, а то ржёте тут, как лошади, – обратился он к нам, по-человечески завидуя нашему настроению и не скрывая своего уставшего вида, подтянул ремень крепления прибора над головой Сергея. – Сильный боковой ветер. При посадке болтанка может быть, – предостерег он, продолжая свой обход.

Разбив нашу дружную компанию на отдельных пассажиров, бортиженер удалился в свою обитель. И вскоре самолет несколько раз неприятно трянуло, подбросило и начало заваливать на левый борт. Какое-то холодное, щемящее ощущение подкатило к низу живота от чувства своей беспомощности в данной ситуации. Но после основательной тряски колеса шасси ударились о посадочную полосу, подпрыгнули, и окончательно зацепившись за бетон полосы, покатались с нарастающим грохотом двигателей тормозящих многотонную машину.

Доктор вскочил, не дожидаясь команды, и даже попытался бежать в начало салона, болтаясь из стороны в сторону, безошибочно определив, кому сейчас он нужнее всего. Я поспешил за ним в надежде, что могу оказать какую-нибудь помощь. Однако увидев чёткие, выверенные движения рук, несуетливые, но очень быстрые, отработанные годами практики его действия, я остановился, поняв, что буду только мешать. Встал у него за спиной, надеясь, что хоть чем-нибудь могу быть полезен, и он обратится ко мне для оказания какой-нибудь неквалифицированной работы.

Доктор переходил от одного бойца к другому, не замечая меня, а я следовал за ним, как тень.

- Да отойди, ты!... – почти выкрикнул он, резко обернувшись ко мне. – Только раздражаешь.
- Извини. Я-то хотел как лучше. Может, помочь чем?
- Отвлекаешь ты сильно, – более спокойно сказал он. – Лучшая помощь – это не мешать.

И, помолчав, уж совсем дружелюбно добавил:

– Не обижайся. Одному мне как-то сподручней, привычней. А ты иди лучше нашего Серого «Ромэо» поддержи. У него сейчас наступает самый ответственный момент; главное, чтобы он в госпитале духом не сломался.

И поспешил к очередному стонущему бойцу.

– Да, уж, – вслед ему непроизвольно вырвалось у меня. – Работёнка у тебя, не приведи Господь! Хоть благородная, но страшная, морально тяжёлая... Ты сам не сломайся, находясь среди этого ужаса и боли. Удачи и сил тебе, Док.

Развернувшись, и с двояким чувством жалости и неподдельного восхищения этим человеком в белом халате с зеркально лысой головой, круглосуточно, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году, находящимся там, где он нужнее всего, я побрёл в конец салона, где, как мне показалось, с надеждой ждал меня Серый Сергей Сергеевич.

Его немигающий взгляд замер на какой-то точке фюзеляжа у него над головой, но было понятно, что рассматривал он не детали самолета, а философски-испугано смотрел в своё неопределенное будущее. Но когда Серый Ромэо, как окрестил его доктор, увидел моё расплывшееся в улыбке лицо, он сам просиял, обозначив на щеках милые ямочки.

– Ну, что ж, Сергей Сергеевич, Москва. Прилетели. Теперь точно всё будет хорошо. Я побежал дальше работать, а ты выздоравливай. Ты – боец! Ты – настоящий защитник Родины. Удачи тебе! Держись! Даст Бог – увидимся.

– Спасибо, лейтенант. И тебе удачи. Я обязательно выздоровею. А про Родину я тебе так скажу: я хочу, чтобы ОНА любила нас так, как любим ЕЁ мы.

Я взял Сергея за руку и, понимая, что не могу его обнять, склонился и, выражая высочайшее чувство признательности, прижался лицом к его голове.

* * *

Вступив на грешную землю, я даже зажмурился от яркого солнца, и свежего воздуха ослепивших и окутавших меня разноцветьем аэродромных запахов, вызвав безостановочное чихание.

Проморгавшись, прочихавшись и прокашлявшись, я уперся взглядом в стоящие рядом разномастные, выдавшие виды кареты скорой помощи; белые и зелёные, с мигалками и без, объединенные лишь тем, что на борту каждой нарисован большой красный крест. И совсем не вписывающуюся в картину их стройных рядов, чёрное, сияющее новизной, никак не предназначенное для перевозки раненых бойцов, ухоженное «BMW». При виде этого разящего взгляд несоответствия, грешная мысль пробежала в голове: жалко этого бойца с влиятельными покровителями. Ведь неудобно же в этой шикарной машине, хоть и с пафосом, но лежащему больному добираться до госпиталя. Это авто явно не за Серым.

– Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров!!! Ты уже здесь всё обчихал, соплями забрызгал. Невозможно к тебе подойти поздороваться, – неожиданно знакомым голосом пожелал мне здоровья человек, подходящий с ослепляющей солнечной стороны.

– Серёга... Осокин! – больше по интонации и сопровождающему смеху опознал я надвигающуюся на меня фигуру. – А, ты-то что здесь делаешь?

– Не поверишь, сам начальник Главка выделил машину и приказал встретить и доставить тебя к нему не позже десяти.

– Превосходно! Просто здорово!! Ну, так поехали! Мне до генерала ещё к аналитикам в отдел информационного обеспечения заскочить надо. Надеюсь Лавсов Вовка на месте.

– Да, куда ж ему из его каморки деться? – пошутил он с серьёзным лицом, и, переходя на полусшёпот, хотя вряд ли кто имел желание в данный момент подслушивать наш дружеский трёп, спросил:

– Лёха, у тебя всё в порядке? Я не знаю, кто и чего шефу в уши налил, но он со вчерашнего дня с твоей фамилией на устах ходит. Если помощь какая нужна, знай: мы всегда рядом.

– Спасибо, Серёга, всё в порядке. Генеральский ропот – это всё по работе. Ничего личного, это же я сам такую волну суматохи поднял. А то, что доверяете и верите мне, спасибо. Это дорогого стоит.

Улыбка вновь вернулась на его лицо.

– Отлично! Камень с души снял. Ну, всё, карета подана, – с подчеркнуто наигранным поклоном он открыл заднюю дверь роскошного «BMW», жестом руки приглашая занять почётное место начальника Главка.

– Красиво жить не запретишь. Хотя на генеральском автомобиле с ветерком прокачусь.

И, усаживаясь на удобное кожаное сидение, я бросил прощальный взгляд на летающий госпиталь, из которого выносили раненых бойцов, распределяя по машинам скорой помощи. В одной из них Сергей Сергеевич Серый покатит навстречу очередным испытаниям в своей нелегкой судьбе.

Водитель «BMW» с каменным лицом даже не обернулся ни из любопытства, ни для того, что бы высказать взглядом свое отношение нагледцу, усевшемуся на место шефа, ни даже для приветствия намеренного почётного пассажира, встретить которого поручено на машине первого лица Главка в сопровождении старшего важняка.

– До десяти ещё куда-нибудь заезжать будем? – не поворачивая головы, спросил он у усевшегося рядом с ним Осокина, хотя через зеркало заднего вида буравил меня злым взглядом, наверное, за то, что я своим появлением поломал его далеко идущие личные планы.

У меня чуть было не вырвалось: «Включи голову!... Конечно, будем!... Я дома не был почти полгода, а на войне день за три! Вот посчитай и подумай, будем ли мы при наличии кучи свободного времени куда-нибудь заезжать и угадай – куда именно.

Но что-то щёлкнуло, ёкнуло, кольнуло, и защемило внутри, перекрыв так бурно вспыхнувшие эмоции. «Чуйка» – оперативное чутьё, ещё не сформировав ни мысли не слова, но четко выдала решение: в Главк! В Главк, и как можно быстрее. И повинувшись этому звериному чутью, на уровне подсознания всё начало складываться, приходить в порядок, хотя головой я никак не мог понять – зачем? Но «чуйка» свербила, торопила – «в Главк!»! Гнала быстрее, быстрее, быстрее.

Водитель, обрадовавшийся этому решению, нажал на акселератор, заложив стрелку спидометра за отметку в сто пятьдесят километров в час, ещё надеясь вернуться в намеченный им личный график, что явно совпадало с моим внутренним порывом побыстрее оказаться в стенах славного ГУБОП МВД России.

Пролетавшие за окном метро Щелковская, родные районы Гольяново, Преображенка, Сокольники, – каждый оставляли свой шрам в израненной душе, разрывая сердце между «хочу» и «надо». Как я хочу крикнуть водителю: «Остановись!» – и опрометью броситься к дому, который я проводил взглядом, чуть не свернув шею! Сгрести в едином объятии всех дорогих мне людей и остаться там, больше никогда-никогда не расставаясь с ними ни на миг. Но твёрдое, непреклонное «надо» пронесло всё это мимо со скоростью сто пятьдесят километров в час, сбросив обороты лишь перед тяжёлыми воротами дома графа Гендрикова – комплекса Спасских артиллерийских казарм, в которых сейчас, продолжая ратные боевые традиции, расположилось Главное управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Главк был в своём нормально-рабочем полупустом состоянии: кто-то уже убежал работать в поля на оперативные просторы, кто-то ещё не вернулся с боевых мероприятий, рискуя жизнью, задерживая вооруженных отморожков, а оставшиеся закрылись по кабинетам, планируя ликвидацию очередной банды, либо избличение зажавшихся коррупционеров. По этой самой причине, не отвлекаясь на рукопожатия, обнимания и формальные ответы в стиле культурного – «нормально» с явным подтекстом – «отвяжись», на банальный вопрос – «как дела?», я поднялся на третий этаж и остановился, склонившись перед мемориальной доской памяти с трехсот двадцатью двумя фамилиями сотрудников службы БОП, сложивших голову в борьбе с организованной преступностью. Ещё не просохшая на моих берцах чеченская грязь, и не успевший выветриться с рано поседевшей головы запах пороха, наиболее остро не то что головой, а всей кожей, всем нутром заставили ощутить «ТУ» огромную жертву которую они принесли, отдав свои жизни ради чувства защищенности, чтобы не было страха в душах людей, ради справедливости, ради беззаботного смеха детей.

От неожиданного прикосновения к моему плечу я даже вздрогнул. Повернув голову, я увидел тихо подошедшего и остановившегося рядом со мной заместителя начальника Главка Елина Александра Николаевича, присоединившегося к моему молчаливо-неподвижному стоянию, а вернее состоянию души, которое говорит гораздо больше, чем самые выразительные, громкие и проникновенные сло-

ва. Он заглянул мне в глаза, и чувство единения, что мы видим, думаем, дышим одинаково, окутало меня. Что мы настолько близки по духу, что не нужны нам никакие слова, которые даже будут лишними в данный момент.

Генерал, наверное, испытывал такие же чувства, поэтому, не произнеся ни слова, он одобрительно похлопал меня по плечу и молча пошёл по коридору в сторону своего кабинета, а я, перепрыгивая через три ступеньки, опрометью побежал вниз в отдел информационного обеспечения.

Лавсов даже не удивился, увидев меня, широко распахнувшего дверь каморки с беспорядочно, но строго в его логике заставленной компьютерами, ксероксами, факсами, телефонами, разного рода диковинными техническими приспособлениями, заваленной кипами бумаги, ворохами каких-то распечаток, заданий, карточек, в которых мог разобраться только он.

– Вход только по кодовому шифру. Ты как сюда проник, гадёныш?! – вскочил он и радостно бросился обниматься. – Если бы не твой клиент, ты и не заглянул бы к старому другу, – без малейших признаков обиды, не выпуская из крепких объятий, съехидничал он. – Рад тебя видеть, бродяга!!!

– А разве натырканные камеры при входе не предупредили тебя?!? Твой код на дверном замке, это «секрет полишинеля», только никто сам к тебе по доброй воле не полезет. Проникать в твои владения боятся все шпионы всего мира, потому что они заблудятся и точно с ума сойдут в твоём бардаке, – парировал я его «гадёныша».

– Лёха, потом поговорим! И чай я тебе, как всегда, не предлагаю, потому, что слушай сюда: не чаем ты сюда из Чечни прилетел. Вычислил я твоего Луценко Степана. В Москву прибывают только три человека с такими данными. Один по возрасту не подходит, ветеран, инвалид войны. Второй – гастарбайтер; каждые три месяца въездную визу делает, мотаясь туда-сюда. А вот по третьему я поковырялся. Документы родные. Все в полном порядке. А дальше интересное кино получается. В Москву он прилетает из Киева – не подкупаешься. Но на Украине он был всего один день, так как прилетел из Турции. А в Анталии у него вообще был стыковочный рейс, который прилетел из Минеральных вод, а это, как ты понимаешь, твой любимый северный Кавказ. Зачем человеку такими крюками да огородами до Москвы добираться – это уже твой вопрос. Я «на всякий пожарный» поковырялся, нашёл его фото, и на тот же самый «пожарный» распечатал несколько штук. Думаю, тебе пригодятся. Поверь, я сделал всё что мог и даже больше. Дальше твоя компетенция, хотя всю жизнь мечтаю: хоть младшим опером, но в бой.

Пока он говорил, я внимательнейшим образом рассматривал фотографию, с которой на меня смотрел тот же колючий взгляд, что и с фотокарточки Каземира. Только на Вовкином фото этот убудок был немного моложе, ухоженнее, и в приличной одежде, примерно так он и будет выглядеть, спускаясь по трапу в аэропорту «Внуково».

– И самое неприятное, – продолжил Лавсов свой монолог, – его самолет приземляется без десяти одиннадцать, летит он наверняка без багажа, поэтому у тебя нет даже этой прибавки времени. У тебя меньше двух часов с учётом всех формальностей.

Последние слова окатили меня, как ушатом холодной воды. Оперативное чутье гнало меня в Главк, как подорванного, но даже оно не успело договориться с простым человеческим везением о каком-то небольшом, но крайне необходимом сейчас отрезке времени. Тупик. Ситуация поставила меня враскоряку.

Без доклада и согласования с первыми лицами я не получу необходимые силы и средства для решения задачи. Ведь одному мне не окружить аэропорт, не отследить и не отработать все контакты клиента, а, потеряв время на разрешения, эта помощь, к сожалению, будет уже не нужна.

От состояния безысходности струйка холодного пота, образовавшаяся в районе поясницы, неприятно щекоча, побежала вниз. Холодный пот и холодный разум – две несовместимые вещи; мозг кипел, но не выдавал никаких решений, усиливая потоки неприятной влаги, струящиеся по спине. Я встал перед выбором: либо «кинуть» начальника ГУБОП МВД России вместе с первым заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации и незамедлительно броситься в аэропорт без поддержки, без какого либо плана и с непонятной перспективой, либо вообще упустить прилетающего организатора готовящегося террористического акта.

В ошарашенном состоянии я, наверное, рассуждал вслух, потому что Лавсов подытожил мои мысли русской присказкой: куда ни кинь, везде клин. И, как бы извиняясь и выводя меня из ступора, подталкивая хоть к каким-нибудь решительным действиям, выдал, четко произнося каждое слово:

– Из-за здоровья сейчас я тебе не помощник.

И после паузы:

– Вот номер рейса и время прибытия. Удачи!

Не теряя времени на расшаркивания, прощания и даже банальное «спасибо», я выскочил из Лавовской конуры в надежде ещё застать водителя, примчавшего меня в Главк, и, вконец испортив с ним отношения, до конца переломав его личные планы, оседлав его и вверенный ему автомобиль, умчаться в аэропорт.

В дверях я нос к носу столкнулся с Вовкой Просветовым, обвешанным кучей рюкзачков, чехольчиков и всевозможных пакетиков со спецтехникой, понуро бредущим по коридору и не замечавшим никого, гоняя в голове какие-то свои оперативно-технические мысли. От неожиданности он чуть не рассыпал свою поклажу, а бурное проявление радости встречи было настолько искренне, что он, как мне показалось, даже подпрыгнул. Его и без того круглое лицо, расплылось в улыбке, сделавшись идеальным эталоном для милых, добрых детских мультиков. Он бросился обниматься, не выпуская из рук своей ноши, что со стороны смотрелось, наверно, очень комично, потому как тяжелые пакеты, перелетев ко мне за спину, со всего маха ударили чуть ниже поясицы, а сползающие с него чехлы и штативы, заставили его изогнуться так, чтобы не уронить и не разбить дорогостоящую технику. И в этой смешной искривлённо-умилительной, позе, он всё-таки умудрился сковать меня в своих объятиях.

– Здорово, Лёшка!!! Ты вернулся!?! – не то обрадовано констатировал, не то с надеждой на положительный ответ, спросил он.

– Не то и не другое; мелкая командировочка образовалась в родной Главк. Вовчик, как я рад тебя видеть!!! Ты даже не представляешь!!! Вечером обязательно пересечёмся, поболтаем, а сейчас извини... – и вдруг что-то необъяснимое, большое и светлое как сам «Просвет» вместе с его объятием обняло меня, окутало, осенило:

– Вовка! Да мне тебя сам Господь послал. Бросай всё. Хватай своих бойцов и срочно во Внуково. Вот номер рейса и фотки объекта, которого надо встретить, сесть ему на хвост, а при помощи вашей суперсовременной скрытной фото– и видео– аппаратуры фиксировать все его даже незначительные контакты. Вы же технари, это ваш хлеб, лучше вас это всё равно никто не сделает. Мне тебя точно Господь послал!

– Лёх, тебя случайно там, в Чечне не контузило?!? Ты это серьёзно? – отшатнулся он, поменявшись в лице. – Мы вообще-то сейчас по официальному заданию международного отдела уже вторые сутки сидим на хвосте очень серьезного коррупционера, сюда заскакивали только аккумуляторы, батарейки и кое-какую технику поменять.

– Да мне большую кучу наложить на твоего коррупционера!!! – вспыхнул я. – Да и сам он тебе большое спасибо скажет, если лишние сутки на свободе погуляет, никуда он от вас не денется. А сейчас, ты пойми, это важнее всего на свете.

– Лёшка, ты чего-то потерялся в этой жизни. Мы же не «шарашкина контора» – с кем хочу, с тем и работаю. Ты, вообще, откуда свалился? Причём на мою голову. Я тебя ценю и люблю, но я на службе.

– Это не я, а ты потерялся, а точнее совесть потерял. Я тебя как близкого друга и как профессионала прошу настоящую работу сделать, а не заглядывать в спальню и сральню к чиновнику, который всё равно потом сухим из воды выйдет, а здесь могут пострадать люди! Наши простые люди!! И, не дай Бог, мои или твои родные и близкие....

– Не ори! – резко прервал он меня. – Причём на весь коридор! Ты меня толкаешь на преступление и орёшь, чтобы об этом узнал весь Главк.

И вновь, улыбнувшись своей милой улыбкой:

– Зараза ты, Лёшка. Один геморрой с тобой, а без тебя как-то хреново. Значит так: часа три мы погуляем за твоим клиентом. Думаю, Димка один это время под нашим чинушей продержится, но потом не обижайся: мы снимаемся, иначе меня повесят. Дальше сам решай.

Я просто завизжал от радости.

– Вовка!!! Ты просто супер!!! Я тебя люблю!!! Я тебе миллион процентов гарантирую, что тебя никогда-никогда не повесят, а как настоящего, достойнейшего русского офицера – расстреляют.

– Спасибо тебе, родной! Утешил! – рассмеялся он.

Мы ещё раз обнялись и разбежались в разные стороны. Я – топтать ковры высоких кабинетов, а Вовка – к своему боевому зелёному фургончику. Как мне показалось, он с большим вдохновением и энтузиазмом, побежал спасать настоящее дело и своего друга, прекрасно осознавая, что на конце этого его решения в перспективе у него могут быть огромные неприятности.

Бросив взгляд на удаляющуюся фигуру, я, переполненный чувствами благодарности и осознания настоящей дружбы, крикнул ему в спину, и эхо вторило мне, усилило и разнесло по всему пустому коридору, на разных концах которого были только два человека – он и я:

– Вовка, ты соответствуешь своей фамилии. Ты – яркий просвет в моей серой, с блёстками радости, судьбе. Спасибо тебе, что ты есть, и что ты именно такой и ни какой другой!!!

Мое появление в приёмной начальника Главка не стало неожиданностью. Референт-помощница, непреклонным взглядом и категорическим «Занят» сдерживающая попытки руководителей разного ранга прорваться в кабинет шефа, привстала, натянуто улыбнулась, и на зависть ожидающим произнесла.

– Присядьте, я доложу, что Вы в приёмной. Николай Александрович ожидает Вас, – но не предложила ни чай, ни кофе, что из многолетнего опыта общения с секретарями и помощниками является дурной приметой, не сулящей ничего хорошего.

Примета оказалась верной на все сто процентов. Генерал был мрачнее тучи, метая гром и молнии в телефонную трубку, и не мудрено, ведь у него и без меня проблем да забот хватает на сто лет вперёд. Я вообще не понимаю, как ему удаётся решать эти разноплановые ребусы планетарного масштаба, сыплющиеся на него, как из рога изобилия, а тут ещё появился я с перспективой террористического акта и полнейшим отсутствием какой-либо дополнительной информации после телефонного звонка из Чечни.

Прервав на полуфразе моё формально-уставное «Здравия желаю, товарищ генерал!» простым «Здравствуй!», он крепко пожал руку и сразу перешёл на деловой тон, присев за приставной столик, рукой указав место напротив.

– Давай ближе к делу. Времени совсем нет. В 11 часов мы с тобой на докладе у первого зам. министра. Введи меня в курс дела быстро, чётко, и только факты, без воды. Воду лить я и сам умею.

Расстегнув карман, я положил перед генералом Каземировскую посылку.

– От внедренного в бандформирование оперативного сотрудника по каналу тайниковой связи получена фотография организатора готовящегося в городе Москве террористического акта с пояснительной надписью на обороте его неполных установочных данных... Фигурант установлен, – как заправский крупье очередную карту, выложил я на стол рядом с Каземировской фотографией распечатку Лавсова. После этого, выдержав театральную паузу, дав генералу ознакомиться и с этим документом, вдохнув полную грудь воздуха, переведя свой взгляд и увлекая взгляд генерала на настенные часы, добавил:

– Разрабатываемый прибывает в Москву сегодня самолетом в аэропорт Внуково рейсом Киев-Москва в 10 часов 50 минут.

В кабинете повисла гробовая тишина. Неестественно медленно-медленно поворачивающаяся от часов в мою сторону голова генерала, навсегда зафиксировавшая в глазах стрелки на отметке 10 часов 17 минут, отразила глубокий шок безысходности из-за отсутствия времени на предотвращение неизбежно надвигающейся беды.

– Мы даже не успеем отправить группу в аэропорт, – затухающим голосом, подчёркивающим всю трагичность ситуации, сделал ударение на слово «даже», произнёс он, как приговор.

Сберегая нервы генерала от тех страшных эмоций, которые я сам недавно испытал в коморке Лавсова, я громко, может быть даже слишком, так, что он ошарашено вскинул брови, выдал очередную порцию информации.

– Вашим устным приказом, я снял техническую группу, работающую по заданию международного отдела, и направил во Внуково сесть на хвост фигуранту. Прошу продублировать Ваш приказ начальнику технического отдела Вами лично.

На его лице отразился весь букет эмоций, причём всех сразу, которые он и не пытался скрывать. В потухших глазах блеснул луч надежды вперемешку с искрами возмущения.

– Нагле-е-е-ц!!! – растягивая слово, произнес он, чтобы до конца осознать всё происходящее, как в калейдоскопе ежесекундно меняющейся ситуации. – Нагле-е-е-ц!!! – с ноткой одобрительности за моё вынужденное нагло-неправомерное, но единственно верное решение. В то же время, искренне возмущаясь грубейшим нарушением всех принципов субординации, дисциплины и элементарной этики... – Это всё? Или ещё чего от моего имени приказывал? Ты не стесняйся... Чего уж там!?! Давай наверняка..., сразу от имени Президента.

– Я ради дела готов на...

– Сбавь обороты! – резко прервал он. – Громкие слова оставь для трибун! Или для тех, кто любит на чужом горбу в рай въехать, а сами кроме как красиво говорить, ничего не делают, и за свою головокружительную карьеру не приняли на себя ни одного мало-мальски взвешенного решения. Не уподобляйся им. А сейчас приведи себя в человеческий вид, через десять минут выезжаем.

Он встал, давая понять, что время пошло.

Не теряя драгоценных минут, я устремился во второй корпус, где в третьем оперативно-розыском бюро по борьбе с терроризмом, я точно найду то, что сделает меня милиционером в «человеческом виде». Среди сменной одежды, мундиров, и других бесполезно пылящихся вещей, которые висят в шкафах почти в каждом кабинете, я выбрал подходящий по размеру китель, преобразившись из зелёного камуфляжного человечка в подполковника милиции. Только с форменной обувью не повезло, и при небогатом выборе пришлось поменять удобные кроссовки на туфли, больше моей ноги на пару размеров. После чего без малейшего удовольствия поскрёб найденной здесь же одноразовой бритвой по щекам, окультуривав свою бородку типа «геолог», и через десять минут уже сидел в известный мне с утра автомобиль, только теперь в сопровождении не Серёги Осокина, а самого начальника Главка. Водитель, находясь в неизменно дурном настроении, через зеркало заднего вида наградил меня очередной порцией колючих взглядов, но, будучи профессионалом своего дела, сокращая пространство и время помчал нас на улицу Житная в «святая святых» правоохранительной системы – Министерство внутренних дел Российской Федерации.

* * *

Четвертый этаж Министерства, где почти у каждой двери с официальным номером кабинета красуются таблички руководителей, аппаратов, должностей, фамилий, при одном упоминании которых произвольно возникает ощущение, что вступаешь во владения недостижимых небожителей, вершащих судьбы и всю политику внутренних дел страны. Однако в противовес этому греет душу то, что делаем-то её – эту политику, мы – «менты», двадцать пять часов в сутки ползающие на брюхе по земле, разгребающие дерьмо, погибающие от бандитских пуль, забывающие о личной жизни, но всё равно любящие и любимые.

С такими мыслями, далекими от обдумывания предстоящего доклада, я вышагивал рядом с генералом по необычным ковровым дорожкам, где нога, не погружаясь в мягкое тело ковра, на миг задержавшись, сваливается в сторону, вперёд, назад вместе со сгибающимся коротким, но плотным ворсом, в только ему ведомом направлении, дающим понять о шаткости и необходимости осмысления каждого шага в этом коридоре. Хотя, переступив порог приёмной первого зам.министра, я ничего сверхъестественного не увидел. Она ничем не отличалась от многих других приемных высокопоставленных руководителей – диван, кресла, вешалка, неизменный ковёр во всю приёмную и главный атрибут мебели – девушка за столом с кучей телефонов и натянутой улыбкой.

– Здравствуйте... Вам назначено?... Как доложить?

– Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом! – с раздражением почти выкрикнул ей генерал, всем видом и интонацией подчёркивая значимость подразделения которое он возглавляет и что этой «козе» пора бы уже знать его в лицо. После чего, обернувшись ко мне, резко сменив напор и громкость, шестым чувством поймав витающее в воздухе дурное настроение шефа, по-отечески ограждая меня от неизвестности, которая ожидает за массивной дверью высокого кабинета, добавил:

– Подожди здесь. Тебя пригласят попозже, – решил он принять на себя возможный гнев заместителя министра в этой неопределённо-двусмысленной ситуации, а в крайнем случае вообще умолчать о моем присутствии.

– Проходите, Вас ожидают, – проблеяла красотка из-за стола.

Генерал уверенной походкой, скорее даже подчёркнуто вызывающей, чтобы показать ей своё превосходство в незримой борьбе интонаций, жестов и не прописных возможностей, спрятанных за натянутыми улыбками и смазливо ядовитыми комплиментами, шагнул к двери, не забыв съязвить.

– Спасибо! Вы как всегда любезны.

И уже взявшись за ручку, он оглянулся, как-то очень тепло улыбнулся, чуть склонил в затяжном поклоне голову, слегка прикрыв глаза, всем видом показывая мне заботу и поддержку, вселяя уверенность, что всё обязательно будет хорошо, хотя в данный момент поддержка больше нужна ему самому.

В ответ, понимая, что вряд ли в данной ситуации я что-нибудь смогу для него сделать, я скорее интуитивно, призвал ему в подмогу Божью помощь, скромненько почти незаметно на уровне груди осенив его крестным знаменем, как это всегда делала мудрая и заботливая бабушка Даша, провожая нас «непутёвых», тихонько бормоча себе под нос, то ли молитвы, то ли причитания о нашем благополучном возвращении.

О ГОСПОДИ!!! Мысль – она всё-таки материальна, причём тяжёлая и разящая, как удар нокаута. Осознание очевидности, ввело меня в состояние грогги. Это малозаметное крестное знамение мгновенно расставило всё по своим местам. Почему эта мысль влетела в мою, а не его голову?!?

Я знаю! Я ТОЧНО ЗНАЮ, когда эти ублюдки планируют террористический акт, и даже знаю – где. Господи!!! Но это же должно было осенить Николая Александровича. Сейчас ему это в стократ важнее, но дверь за генералом уже захлопнулась, оставив меня один на один с работающей в сумасшедшем ритме головой, облекать в словесную форму неожиданное прозрение.

Мир – это постоянная борьба добра и зла, а мы сейчас на острие этой битвы. Число, оно же и знак дьявола – шестьсот шестьдесят шесть. Сегодня третье июня, значит, через три дня наступит шестое ноль шестое, а третью шестёрку они выбрали извращённо, почти так же, как четыре года назад в Москве на улице Гурьянова, перевернув шестёрки вверх ногами, организовали теракт, взорвав жилой девятиэтажный дом номер девятнадцать девятого ноль девятого девяносто девятого года. Сейчас же на шестое ноль шестое назначено крупное молодёжное шествие, посвященное предстоящему «Дню независимости». Шествие – это и есть третья шестёрка; оно очень созвучно недостающей цифре – «ШЕСТЬвие». А резонанс получится огромный, ведь освещать мероприятие планируется на весь мир: движение молодежи молодой России в первую годовщину официального переименования праздника из длинного и практически незапоминающегося «Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России» в поистине народный «День России».

Размах извращённой бесчеловечности шайтанов, сатанистов-маньяков превышает все мыслимые и немыслимые фантазии. Эти нЕлюди, даже не радикальные исламисты, хотя на каждом углу кричат «Аллах Акбар», не осознавая и не понимая, а в душе, наверное, насмехаясь над значением произносимых слов. Эти твари оскверняют мусульманство, извращая веру, издеваются над неугодными муфтиями, насилуют женщин, расстреливают почитаемых во все времена стариков, стравливают, вбивают клин между веками дружившими народами, проживающими не только на Кавказе, но и по всей матушке России.

– Вам плохо? С Вами всё в порядке? – как-то неестественно протяжно и как будто откуда-то издалека, из параллельного мира послышался сначала неопределённый, но с каждым мгновением более узнаваемый мелодичный голос секретаря-референта. – Может воды?

– Спасибо. Всё нормально, – скорее на автомате ответил я, и полностью вернувшись в реальность, осознав, где и зачем я сейчас нахожусь. – Спасибо, а вот от стаканчика водички не откажусь.

Она быстро повернулась к стоящему у неё за спиной шкафчику, наклонилась за бутылочкой минералки, представив к рассмотрению под натянувшимся платьем пропечатавшиеся округлости женских прелестей, мгновенно поменяв в моей голове тяжёлые мысли на мечтательно-платонические. После чего, поставив на небольшой металлический поднос идеально прозрачный стакан, очень изящно налила в него воду и протянула мне. Схватив всей пятернёй, я залпом, в три глотка, осушил немаленький стакан, чем вторично удивил, и, может быть, даже оскорбил своим мужланством ее высоко утонченные эстетические чувства, окончательно убедив в том, что моим воспитанием занималась исключительно улица.

Но высказать свое «фи» по этому поводу и провести воспитательную работу она не успела. Еле уловимый звонок переключил её внимание на телефонный коммутатор. Сложив ухоженную ладош-

ку вдоль трубки, которую секретарша грациозно подняла, наложив точёный указательный пальчик с неброским, но дорогим колечком на верхнюю сторону наушника, она не спеша поднесла его к уху, держа на приличном расстоянии от дорогих серёжек.

– Да... Хорошо... Поняла.

Так же величественно положив трубку, она окинула меня оценивающим взглядом, как будто впервые увидела, натянула на лицо дежурную улыбку.

– Вас приглашают войти.

Кабинет оказался не настолько огромным, каким его рисовало моё воображение. В отличие от утренней встречи, хозяин кабинета сидел за своим рабочим столом под портретом Президента и, не перебивая, выслушал длинное по звучанию, душевно холодное, но чёткое по сути, уставное – «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник! Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью в Чеченской республике Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе по Вашему приказанию прибыл». Я понял, что эти длинные доклады нужны им для того, чтобы у руководителя было время по каким-то только ему ведомым признакам изучить представшего перед его взором подчиненного. Потому что меня сверлил ясный, прожигающий насквозь, проникающий в самое сердце взгляд глубоко посаженных глаз на строгом лице.

Закончив доклад, я замолчал, и в кабинете наступила напряжённая тишина. Я лихорадочно переводил взгляд с первого заместителя Министра на начальника ГУБОП, сидящего за приставным столом, впервые оказавшись на острие внимания руководителей такого ранга.

– Ваши предложения, – неожиданно звонким голосом заставил меня встрепенуться продолжающий сверлить взглядом мою скромную фигуру хозяин кабинета. – Только повторяться не надо, Николай Александрович всё подробно доложил.

Ничего себе задачка?! Вы о чем-то договорились в моё отсутствие, а мне как об этом догадаться? Да ещё и не повториться – «красавцы»! Не-е-ет, в Чечне проще. Там хоть обповторяйся, лишь бы задача была понята и выполнена точно и в срок. А здесь??? Ну, ничего; генерал доложил абсолютно всё, но только не предполагаемую дату теракта.

– Через три дня шестого ноль шестого состоится...

– Я же просил не повторяться. Николай Александрович уже аргументировал предполагаемую дату теракта взрывом двухтысячного года в переходе на станции Пушкинская произошедшем восьмого ноль восьмого, где использовано восемьсот грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Вам больше нечего добавить?

Я подошел вплотную к столу, протянул руку к лежащей Каземировской фотографии, которую я увидел среди других документов рядом с рапортом и Лавсовской распечаткой.

– Позвольте?

Заместитель министра, обалдев от такой наглости, автоматически взял фотографию и протянул мне. Я в ответ протянул ему оставшуюся стопочку фотографий, сделанных Лавсовым, начиная комментировать свои действия металлическим голосом, чтобы даже не возникло мысли перебивать меня.

– Данная фотография не совсем соответствует внешнему виду фигуранта, прибывшего в Москву для организации террористического акта. В связи с этим изготовлены именно эти фотографии для узнаваемости и идентификации лица. Поэтому предлагаю подключить к технической группе ГУБОП, уже негласно сопровождающей фигуранта, специалистов наружного наблюдения для выявления и документирования всех его контактов с целью обнаружения мест хранения взрывчатых веществ и оружия, приготовленного для совершения террористического акта, а так же установления лиц, причастных к подготовке данного преступления. После чего одномоментно провести задержания силами специального отряда быстрого реагирования.

– Если больше нечего сказать, то Вы свободны.

Я что-то начал говорить про молодёжное шествие, но заместитель Министра, сверкнул недобрый взглядом, оперевшись руками о край стола, стал медленно привставать.

– Я Вас больше не задерживаю.

Не собираясь играть на нервах, усугубляя дурное настроение большого шефа и испытывать его терпение своим присутствием, ведь то, что хотел, я уже донёс до понимания генералов, а теперь

главное, вовремя ретироваться пока они не вспомнили про фотографию, оставшуюся у меня в руках.

– Разрешите идти!?! – не то вопрошая, не то констатируя факт, и уже не слушая, что у меня происходит за спиной, я строго по-военному развернулся на каблуках и быстро исчез за дверью.

Приемную я проскочил не задерживаясь, лишь повернул голову и, мило улыбнувшись секретарше, прошелестел ей лилейным голоском:

– Спасибо, до свидания.

В коридоре я тоже чувствовал себя некомфортно, поэтому решил дожидаться генерала около машины. Заодно и попытаться наладить отношения с водителем, ведь он наверняка хороший человек, потому что шеф не будет держать около себя всякое отребье, уж шеф-то в людях точно разбирается. Но машина оказалась закрытой, а водитель наверняка наблюдал за ситуацией вокруг автомобиля откуда-то со стороны, ещё раз подтвердив свой высокий профессионализм.

Начальник появился неожиданно. Его раскрасневшееся лицо сильно контрастировало с аккуратно постриженными седыми усами, указывая на напряжённость и тяжёлое завершение состоявшегося разговора. Он шёл, переваривая полученные указания, количество которых, судя по озабоченности, трудно уместить в одной голове.

Увидев меня, он искренне улыбнулся открытой улыбкой, добавив к седым усам обнажившийся ряд ровных белых зубов, а подойдя ближе, уже совсем рассмеялся, после чего, немного передохнув, спросил:

– Ты зачем утащил фотографию со стола первого заместителя Министра? Он сильно возмутился. Отнеси обратно, передай секретарю.

– Нет, товарищ генерал, не отдам!

У него аж подскочили брови. Округлое лицо вытянулось в недоумении и молчаливом вопросе.

– Не отдам, товарищ генерал. Я сам внедренец, в ГУБЮП я начинал службу в отделе внедрения и не один десяток раз был внедрён в организованные преступные группировки, где на высшем уровне работала контрразведка. А здесь вообще к услугам бандитов специалисты спецслужб всех дружественных и недружественных стран. На обороте фотографии почерк внедренца, находящегося сейчас среди бандитов, а это прямой путь к нему. Да и как это фото у него оказалось, куда делось, и как оказалось в «ментовке» – извините, товарищ генерал, в милиции – это совсем расстрельные вопросы. Я не думаю, что первый заместитель Министра оставит фотографию себе на память, а сколько рук она пройдет и где оседет – одному Богу известно. И я не уверен, что она не попадет на глаза какому-нибудь продажному ублюдку. Хоть расстреливайте. Не отдам!

Генерал опешил, осознавая мою безоговорочную правоту. И, казалось бы, детский вопрос – взять и просто отнести фотографию – обернулся огромной проблемой. Он повернулся к машине. Слегка наклонившись, опёрся локтями о крышу автомобиля, охватив руками голову, и замер, продумывая возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, в которую я своим неординарным поведением в очередной раз вогнал его, подставив перед первым заместителем Министра.

– Значит так!... – он резко повернулся ко мне, заставив от неожиданности даже отшатнуться, сделав приседающий шаг назад. – Значит так! Сейчас пулей летишь к Смирнову в отдел внедрения, пусть он вшивает твоё злополучное фото в самое секретное дело, к которому даже прикоснуться страшно, оформляет по всем правилам, чтобы расшить и вытащить было невозможно. Ну, Виктор Александрович – специалист. Он знает, как это сделать. Потом конвертирует, печатывает всё дело и через час привозит сюда. Я сам передам пакет заместителю Министра в руки, в таком виде он его точно с собой таскать не будет. А ты, Алексей, быстро возвращайся и спрячься в своей Чечне, пока всё не утрясётся, забудется и встанет на свои места. С информацией мы здесь разберёмся – ты не переживай. Да и от тебя сейчас мало чего зависит, ты своё дело сделал. Ты – молодец! Спасибо за службу! Да, кстати..., Булатов тебе замену начал готовить – Серебров. Ты не возражаешь?

– Серый!?! Ой, извините, товарищ генерал. Сергей Григорьевич? Отлично! Грамотнейший руководитель и, как опер – бульдог. Ему не страшно будет дела передать; точно не развалит и доведёт до конца. Спасибо, товарищ генерал.

– Всё. Вперёд. Не теряй времени.

И опять понеслась автомобильная гонка на бешеной скорости в жестокой борьбе за убегающие минуты.

Обогнув Главк, мы подлетели к четвёртому корпусу, где уже при входе встречал меня начальник отдела внедрения.

– Алексей!!!

– Вик Саныч!!!

Мы обнялись, похлопывая друг друга по спине.

– Пойдем ко мне в кабинет. Мне шеф уже позвонил, там всё готово.

И вдруг, хитро сверкнув глазом:

– Слушай, а можно ли тебя к себе пускать? Ты у меня ничего не сопрёшь? – рассмеялся он в голос, давая понять, что в курсе последних событий. И лихо подсел на волну дружеских подколов:

– А, может, у Министра чего стыришь? Там много чего хорошего. Там есть чем поживиться.

– Для Вас, оболтусов, стараюсь, чтобы у вас, бездельников, хоть одна новая бумажка в деле появилась, – пытался я парировать его шутки.

– Ну-ну, – не унимался Виктор Александрович, – коли уж на то пошло, ты по кабинетам Администрации Президента пройдишь. Там много интересных бумажек..., тогда точно нас всех «оптом» вместе с тобой расстреляют, хотя если с тобой..., то, скорее всего, четвертую.

И через паузу, уже серьёзно, даже с восхищением:

– Молодец, Алексей. Уважаю! Сейчас всё сделаем в лучшем виде.

Мне кровь бросилась в лицо; получить похвалу от человека, прошедшего все стадии оперативно-внедрения и ставшего руководителем этого подразделения, не потерявшим ни одного сотрудника, – это дорогого стоит. Но продолжая игривое настроение, впервые за долгое время расслабившись в окружении родных стен, подталкивая его в спину, накручивая свою значимость, в игриво-приказном тоне произнёс:

– Пошли, пошли..., твой кабинет – это не мой масштаб. Ничего, кроме стакана чая я у тебя не поймаю, хотя пожрать я бы не отказался.

– Не то, что пожрать, даже на чай не рассчитывай – улетаю в Министерство прикрывать твою задницу. – И снова залившись звонким смехом, – Давай сюда свой свежееукраденный портрет.

Он бережно взял помятую по краям фотографию, с благоговением, как берут дорогую реликвию, осознавая неоценимую значимость информации и её смертельно опасный путь из бандитского логова в далеких горах до сверкающей беззаботными огнями Москвы. Многострадальное фото с запахом кавказской войны.

– Алексей..., у меня нет слов!.. А сейчас извини; я исчезаю, но на счет пожрать, я тебя вечером приглашаю в абсолютно любой ресторан, какой ты сам выберешь, какой тебе по душе.

Он крепко обнял меня, не дав ни обдумать, ни слова сказать, после чего резко повернулся и быстро исчез за дверью кабинета. А я стою посреди коридора, «как дурак без подарка», и удивляюсь его профессионализму. Как мило он расстался! Нисколько не обидев, не пустил меня в свой кабинет; дружба дружбой – и Виктор Александрович её бесспорно ценит – но дела, тем более дела личного состава внедренцев, не должен видеть НИКТО даже краем глаза! Для них это гарантия жизни.

Здорово получается: за сегодня в родном Главке меня дважды прокатали с «халявным» чаем; сначала Вовка Лавсов, теперь Смирнов. Одна отрада, что хоть в Министерстве стакан воды налили, но от этого жрать меньше не хочется. С этими мыслями я брёл ко второму корпусу – вернуть позаимствованный подполковничий мундир и избавиться от крайне неудобных, огромных форменных туфель.

– Лёха! Здорово! – Бросился на меня неизвестно откуда взявшийся на совершенно пустом лестничном пролете начальник третьего ОРБ.

– Здравия желаю, Владимир Иванович!

– Я тебя по всему Главку разыскиваю. Пошли со мной! – потащил он меня в свой кабинет. – Мне шеф приказал найти тебя и срочно отправить по месту несения службы.

– Так извините..., я здесь в ГУБОПе и служу, – пытался я отшутиться. – А на Кавказ я только откомандирован. Хоть и очень давно, но откомандирован.

– Ладно, не умничай, заходи. Что будешь? Чай, кофе? Ирина сейчас сделает.

– (Ура!!! Фартонуло!!!) Я бы и от бутербродов не отказался, – решил я наверстать всё недополученное материально-желудочное внимание друзей по Главку, удобно располагаясь за журнально-

переговорным столиком в углу кабинета. Но Владимир Иванович совсем не разделял моего игривого настроения.

– Не знаю, что у тебя там произошло, но шеф приказал собирать всех руководителей бюро, где задачи поставит сам лично, а пока он не вернулся, велел, чтобы я срочно организовал твою отправку обратно в Чечню.

– Да я ещё и дома не был, – попытался я возразить.

– Слушай сюда! – надрывно металлическим голосом, даже слегка подав вперед сухое крепкое тело, непререкаемым тоном сказал он, как отрезал: – Приказы не обсуждаются!

Но в глазах читалось, что он и сам не понимает, зачем такая спешка. Что он с радостью лично отвёз бы и передал меня в объятия родных и близких, не выпуская из дома неделю минимум.

– Сколько у меня времени? Я вообще-то рассчитывал на двое суток, в Чечне руководители и генерал Хотин в курсе. У сына каникулы, у сестры отпуск, они с матерью уехали в деревню в Мордовию. Я бы слетал к ним; на машине это шесть часов туда, шесть обратно. Ну, хотя бы сутки.

– Боюсь, что даже в Климовск не успеешь посидеть с братом за рюмкой чая, – как факт, констатировал Владимир Иванович. – С рассветом из «Чкаловского» должен вылетать борт МЧС. О том, что они тебя берут, уже есть договорённость. Точного времени вылета, как ты понимаешь, нет. Поэтому они просили прибыть тебе не позднее двадцати двух часов. Моя машина в твоём распоряжении.

Бутерброд в прямом и переносном смысле этого слова, застрял у меня в горле. Нарисованные в голове радужные планы исчезли, как утренний туман. Перспектива хоть чуть-чуть вкусить наслаждение личной жизнью опять отодвигается на неопределённое время.

– Ладно, выше голову, – своим чеканным голосом скомандовал Владимир Иванович. – Чтобы улучшить тебе настроение, – он поднялся и пошёл к своему столу, – тебя ещё с девятого мая дожидается медаль «За боевое содружество МВД России». Хотели тебе торжественно при личном составе вручить, но тут такое закрутилось, поэтому считай, что сейчас награда нашла героя, и уверен, что следующую тебе будут вручать в Кремле.

Он протянул мне красную квадратную бархатистую коробочку, закрытую прозрачной крышкой, выдавленной по контурам медали.

– Служу России! – чётко отрапортовал я, демонстративно вытянувшись по стойке «смирно», хотя в кабинете мы были вдвоём.

Парадокс. На меня свалилась куча свободного времени, но ровно столько, чтобы я не смог его использовать по своему усмотрению. Поэтому, смирившись с неизбежным, я вновь приступил к уничтожению бутербродов и пустился в пространные разговоры, краем глаза любуясь неожиданно полученной наградой, и в мыслях уже ощущая её на своей груди.

Владимир Иванович, как раз наоборот, не был настроен на пустую болтовню, но чувствуя передо мной какую-то вину, скрепя зубами терпел моё присутствие, односложно отвечая на сыплющиеся на него, как из рога изобилия, вопросы. И вдруг меня пробило.

– Слушай, Иваныч, дай, пожалуйста, команду узнать в какой госпиталь направили доставленного сегодня самолетом из Чечни раненого солдата Сергея Сергеевича Серого. Я через полчаса забегу за информацией, а пока пройду по кабинетам, пособираю новости и сплетни, гуляющие по Главку. Заранее спасибо.

И, цитируя мультяшного Виннипуха:

– Ну, раз у Вас больше ничего нет, – бросил прощальный взгляд на пустую тарелку от бутербродов, схватив со стола медаль, осчастливил начальника ОРБ мгновенным исчезновением.

* * *

Своим наличием, похоже, я не вызываю позитивных чувств ни у одного персонального водителя в нашем Главке. Уже второй был ввергнут в шок моим появлением в его жизни, переворачивающим личные планы вверх дном. Водитель Булатова сейчас с радостью раздавил бы меня, как гниду. Испепеляя своим взглядом, он понимал, что теперь терпеть ему моё общество придется до десяти часов вечера минимум, а при хреновом раскладе может и дольше. А я по своей простоте душевной попросил ещё заехать в военный госпиталь имени Бурденко, предварительно остановившись у овощной палатки.

Набирая всякие вкусности для Сергея Сергеевича Серого, я увидел обыкновенную авоську, висющую над кассой на гвоздике, как во времена Советского Союза. Что-то тёплое, ностальгическое всколыхнуло душу. Я вспомнил, как в детстве мне, шкодливому, вечно травмируемому ребенку, приносили в больницу апельсины именно в авоське. Это было великое счастье – увидеть сквозь тонкие нити прозрачной хозяйственной сумки вкуснейшие оранжевые мячики, возбуждающие обильное слюноотделение.

Мне так захотелось принести Серому именно апельсины и именно в авоське, рассказав ему о своем счастливом детстве, подтвердив свой рассказ вещественным доказательством. Тем более, памятуя строгое наставление летающего доктора, что кушать ему пока ещё наверняка нельзя, что ещё утром даже поток воды для него мог быть смертельно опасен. А вот поднять ему настроение, украсив свой рассказ аппетитными оранжевыми шариками, которые в принципе и не обязательно съедать, это как раз то, что надо.

Продавец – необъятных габаритов немолодая уже женщина с очень добрым материнским лицом – одобрительно кивнув головой, сложила апельсины в авоську

– В больницу идёте?

– А как Вы догадались?

– Дорогой мой!.. Мы с Вами из одного детства. Апельсины в авоське – это больничный бренд посетителей. А эти авоськи моя старушка вяжет. Говорит, что делает их для хороших людей, чтущих историю своей страны через мелкие, но запоминающиеся детали. Она у меня учительницей истории в школе работала, её в районе все помнят.

– Спасибо Вам! – приподняв над головой авоську с апельсинами, покачав ею из стороны в сторону, я, демонстрируя своё не выветрившееся с годами мальчишество, вприпрыжку вышел из овощной палатки и плюхнулся на заднее сидение автомобиля.

Водитель, смирившийся со своей участью, обречённо спросил:

– Теперь в Бурденко?

– Да. В госпиталь! – буркнул я, погрузившись в свои мысли, пытаюсь представить старушку, таким чудным образом трогающую людей за тонкие струны их личной памяти, чтобы сохранить в мелочах детали неповторимости нашей общей истории.

Перескочив по мосту закованную в бетонные берега реку Язу, мы сделали ещё один поворот с госпитальной улицы на госпитальный вал, и медленно поехали вдоль комплекса добротных, старинных зданий, высматривая контрольно-пропускной пункт, чтобы проникнуть в самый первый Российский госпиталь, основанный ещё в XVIII веке по Указу Императора Петра первого.

Проехав сначала в одну, затем в обратную сторону по Госпитальному валу, мы с трудом обнаружили вход, который не нарушая архитектурного стиля. Он был оборудован в левом крыле двухэтажного здания, и единственным опознавательным знаком его была красная табличка с надписью «Главный военный клинический орден Ленина и Трудового Красного знамени госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко». Но найти вход оказалось совсем несложным препятствием по сравнению с тем, на которое я напоролся, распахнув стилизованную входную дверь.

За высоким – под потолок – турникетом в стиле вертушки из двенадцати хромированных параллельных труб, похожих на огромные зубья трёх гигантских расчёсок, крутящихся на одном валу, стоял щупленький тщедушный солдатик. Совсем ещё ребенок, что даже неуклюже болтающийся у него на ремне штык-нож, вызывал больше улыбку, чем восприятие вооруженного часового. Но этот оловянный солдатик, невзирая на подполковничьи звезды на моем камуфляже, удостоверение сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и даже на спецпропуск Регионального Оперативного штаба по Северному Кавказу, где во всю оборотную сторону было написано: «Всем военным и гражданским властям, правоохранительным органам! Предъявителю настоящего пропуска оказывать помощь и содействие! ВСЮДУ!», зафиксировал намертво вертушктуруткет, заладив как попугай:

– Без пропуска не положено.

Уговоры, аргументы, объяснения, запугивания, логические обоснования и всевозможные психологические приемы наталкивались на безучастное: «Без пропуска не положено!»

Поняв, что легче уговорить русалку сесть «на шпагат», я бросился искать бюро пропусков в надежде на то, что в это время там хоть кто-нибудь ещё по чистой случайности задержался. К моему

счастью, бюро пропусков находилось с противоположного торца этого же здания, в полуподвальном помещении, месторасположение которого, как пленный партизан, почему-то скрывал дежуривший на проходной солдатик с болтающимся в районе паха штык-ножом.

Спустившись в полуподвал, я пробежал весь мрачный зал с полукруглым сводчатым потолком, остановившись в его противоположной стороне у открытого окошка.

– Девушка, – обратился я к даме уже не первой свежести с огромным шиньоном на голове, – Как я рад, что застал Вас на рабочем месте. Выпишите, пожалуйста, мне пропуск к больному Серому Сергею Сергеевичу.

Женщина в окошке, не разделяя моих восторгов, захлопнула у меня перед носом жалюзи со словами:

– Приходите завтра.

Я стал кричать в закрытое окно, что мне очень надо именно сегодня, что завтра я никак не могу, что я сегодня улетаю.

Жалюзи резко распахнулись, и в окне снова появилось неприветливое, уставшее, женское лицо с покосившимся на голове шиньоном, расстроенное тем, что и так-то пришлось задержаться на работе, а здесь ещё этот безумный подполковник орёт, отвлекая, не давая закончить неотложную работу.

– Товарищ подполковник, не кричите! Я же Вам сказала, приходите завтра, – как будто совсем не слышала моих доводов, произнесла она.

И демонстративно подчеркивая, что уже достаточно уделила времени моей скромной персоне, крикнула, обращаясь к сидящему на кушетке мужчине:

– Подойдите к железной двери, Вас сейчас проводят.

И снова захлопнула жалюзи.

– Простите! – подошел ко мне высокий широкоплечий мужчина, к которому обращалась дама из окошка. Судя по его одежде, профессия стилиста, кто это такой и чем занимается, ему в принципе неизвестно. Мужчина был одет во всё новое, но с каким-то провинциальным вкусом: пёструю клетчатую рубашку, строгие чёрные брюки и коричневые туфли с вызывающе блестящей пряжкой. На VIP-персону и влиятельного человека или хотя бы приклатнённого, ради которого дама в окошке пожертвовала личным временем, он явно не был похож.

– Простите! Вы интересовались Сергеем Серым. Вы с ним служите? Вы с ним воевали? Я его отец! – и через паузу: – Серёжа утром позвонил мне и сказал, что он здесь в госпитале. И я, чтобы не беспокоить мать, быстренько приехал сюда: выяснить, в чём дело. А меня не пускают к сыну! Говорят, что начальника сейчас нет, поэтому мне надо пройти к заместителю начальника госпиталя по личному составу и воспитательной работе. Безобразие здесь у вас в армии! – подытожил он.

Гаденькое чувство ущипнуло меня изнутри при упоминании о заме по личному составу. Но в это время открылась металлическая дверь, и такой же щупленький солдат, как и на проходной, пригласил моего собеседника пройти с ним.

– На откорм их что ли сюда присылают? – чуть не вырвалось у меня при взгляде на провожаемого. Но необъяснимое чувство тревоги не дало даже самому улыбнуться при этой мимолетной мысли.

– Передайте Сергею, – протянул я отцу авоську с апельсинами. – Скажите, что от лейтенанта из самолета. Пусть он быстрее выздоравливает. Он молодец, он настоящий боец.

– Подождите. Не уходите. Дождитесь меня, пожалуйста! – настолько искренне, заглянув мне в глаза, попросил Серёгин отец, что я, невзирая на ограниченность во времени, ответил, что буду ждать его в сквере через дорогу. Но у меня не больше минут тридцати-сорока, и поэтому ему неплохо было бы поторопиться, если он хочет о чём-то спросить.

Выйдя из мрачного полуподвала, я подошел к водителю и сказал, что у него есть время распорядиться по своему усмотрению полчаса плюс-минус десять минут. После чего надо забрать меня в сквере недалеко от входа, за трамвайными путями, и, уже никуда не заезжая, летим в «Чкаловский», где он оставит меня и может быть свободным. Похоже на такой подарок водитель совсем не рассчитывал, поэтому, чтобы не дай Бог я не передумал, он, проявив мгновенную реакцию, нажал на акселератор и умчался со своими мыслями в своём, одному ему ведомом направлении.

А я, убивая время, дожидаясь Серого-старшего, бесцельно, не спеша побрёл по парку. По привычке на подсознательном уровне придерживаясь ближе к толстым стволам деревьев, автоматически по-военному оценивая их сначала как источник опасности, потом как потенциальную защиту. В то же время, наслаждаясь яркими всплесками осознания того, что я спокойно иду по «зелёнке» и не нахожусь на прицеле какого-нибудь обкуренного душмана. А гуляющие неподалеку две молоденькие мамы с колясками дополняли это умиротворяющее состояние.

Сквозь деревья я увидел белоснежный храм с куполами цвета десантных беретов и золотыми крестами. Желание зайти и поставить свечу за здоровье болящего Сергея охолонилось большой вероятностью разминуться с его отцом. Поэтому, постояв немного, любуясь уходящими в голубое небо и плывущими на фоне пушистых облаков крестами, я трижды размашисто перекрестился, чем вызвал легкий саркастический смешок молодых мамаш, пока ещё не нашедших свою дорогу к Богу. Бросив на этих несмышлёнышей осуждающий взгляд, я потерял к ним всякий интерес, и с необъяснимым чувством нарастающей тревоги, развернувшись, пошёл в сторону госпиталя.

В сгорбленном, поникшем, еле передвигающем ноги старике я не сразу узнал высокого, широкоплечего, энергичного мужчину, по первому же звонку приехавшего за сотни километров решать проблемы сына, скрыв пугающую информацию от его матери. Он шёл, опустив голову, с бледным, как полотно, лицом, не видя ничего перед собой. Споткнувшись о бордюр перед трамвайными рельсами, он выронил авоську с апельсинами, даже не обратив на это никакого внимания. Оранжевые шарики, вырвавшись из сетки, покатались по дороге яркими, неестественно-пугающими вестниками чего-то непоправимо страшного.

Боясь даже произнести вслух свою уже очевидную догадку, я подошёл к нему, взял под локоть и проводил до ближайшей скамейки. Он молча опустил голову, не поднимая головы отрешенно смотрел себе под ноги, до конца ещё не осознавая свалившегося на него горя. Тихо присев рядом с ним, понимая, что любые слова для него будут только продолжением рвущего душу трагического известия, я просто по-мужски обнял его, спрятав у себя на груди так долго скрываемые, хлынувшие из его глаз слёзы.

– Ну как же так?!? Он же сам мне позвонил, и вдруг «...не совместимые с жизнью...»?.. – вскочив, с надрывом закричал он. И снова уткнувшись мне, вскочившему вместе с ним, в грудь лицом, зарыдал в голос.

Проплакавшись, он тихо опустил голову на скамейку, обхватил голову руками, оперевшись локтями в колени, и складывалось впечатление, что он даже перестал дышать. Только изредка вздрагивающее тело говорило об обратном.

– Серёжа так хотел стать врачом, хотел лечить людей, – не поднимая головы, обращаясь не к нам, а куда-то туда..., ещё в не переломанное войной прошлое, когда они были счастливы и строили планы на долгую-долгую жизнь.

– Он хотел спасти людей, и он спасал их! – делая жёсткий упор на словах «хотел» и «спасал», взорвался я, повышая голос, не успокаивая, а констатируя факт, заставляя его гордиться сыном. – Он спас сотни жизней, но, к сожалению, не сохранил свою. Он хотел отдавать себя людям, и он делал это, став настоящим воином.

Я полез во внутренний карман и достал красную бархатную коробочку с медалью, на аверсе которой над эмблемой органов внутренних дел крупно в три строки написано «За боевое содружество». И со словами «Он настоящий боец!» протянул отцу награду.

Он вскинул на меня красные заплаканные глаза с неммым вопросом.

– Поймите правильно; ведь в самом смысле фразы «Боевое содружество» подразумевается явно не один человек!

И попросив у молча наблюдавшего за нами водителя ручку, я в удостоверении к медали, повторяя каллиграфический почерк написания данных награжденного, в строке над своей фамилией написал «Серый» над именем и отчеством Сергей Сергеевич. После чего наложил поверх этих записей размашистый автограф, подтверждая от первого награжденного лица, что это законно и неоспоримый факт.

Он дрожащими руками взял награду, положил её на сложенные лодочкой ладони, долго-долго смотрел на неё, потом медленно сгибая руки в локтях, прижал её к лицу, закрыв огромными, натруженными кистями рук лицо вместе с медалью, и снова заплакал, вздрагивая всем телом.

Молча стоящий водитель дотронулся до моего плеча, привлекая моё внимание, рукой показал на полубегущего со стороны госпиталя уже немолодого человека в светло-зелёном, просторном спеckоcтyюмe c коротким рукавом, такого же цвета свободных штанах и белых прорезиненных тапочках типа «кроксы», рыскающего по сторонам взглядом, пытаюсь кого-то найти.

Увидев нас, он просто бросился к Серому.

– Вы куда пропали?!? Я на минутку отошёл в процедурную за уколом, вышел в коридор, а Вас уже нет, – как бы оправдываясь и в то же время возмущаясь бубнил доктор, хватая Серого – старшего под руку и увлекая за собой. – Немедленно пойдёте со мной!

Убитый горем, не способный в данной ситуации что-то осмысливать, Сергей Серый – старший, теперь уже, к великому ужасу, единственный, безропотно повинуюсь, медленно, совсем не поднимая ног и ничего не замечая перед собой, побрёл, ведомый доктором обратно в сторону госпиталя. А мы, сглатывая подкатывающий к горлу ком, провожали его взглядом, ощущая каждый его шаркающий шаг, скребуший коричневыми туфлями с вызывающе блестящей пряжкой не по асфальту, а по открытой, кровоточащей ране в душе.

До «Чкаловского» мы доехали, не перебросившись ни словом, думая оба об одном и том же. А в это время уже полным ходом разворачивалась крупномасштабная операция ГУБОП МВД России и спецподразделений ФСБ по предотвращению террористического акта, изъятию из тайников взрывчатых веществ и оружия с задержанием всех причастных к подготовке этого преступления, не оставляя ни единого шанса ублюдкам-убийцам.

Прощаясь, водитель долго не отпускал мою руку. Уже в последний момент вдруг сгрёб меня в охапку, сжал в крепких объятиях и, прижавшись губами к уху, прошептал:

– Береги себя. Пожалуйста, береги себя!

* * *

Самолёт набирал высоту, а я, развернувшись в пол-оборота, уткнулся лбом в иллюминатор и неотрывно смотрел далеко-далеко..., на десять..., двадцать..., тридцать лет вперёд. И вдруг поймал себя на мысли, что на вопрос моего будущего, пока ещё не родившегося внука, который, с детским любопытством и фамильной гордостью будет разглядывать, доставая из шкафа, старый милицкий парадный китель:

– Деда, а почему у тебя среди медалей «За боевое содружество» ФСБ, «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны, нет милицeйcкoй, «За боевое содружество МВД России»? Ты же милиционер.

У меня уже готов опережающий его рождение ответ:

– Милый, дорогой мой человечек! Она находится в семье более достойного этой награды человека – воина Сергея Сергеевича Серого, отдавшего свою жизнь за то, чтобы ты, мой родной, спрятавшись от всех земных бед, забрался ко мне на колени, уютно примостившись подмышкой, и, обняв своей детской ручкой мой уже не маленький живот, мог задать этот наивный, погружающий в тяжелые воспоминания вопрос.



Поэзия

Геннадий Иванов



Геннадий Иванов родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство начиналось в деревне, в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Кандалаксиу на Кольский полуостров – там жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи. Окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Автор двенадцати книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Ф.И.Тютчева «Русский путь». Первый секретарь Союза писателей России. Живёт в Москве

* * *

Смотрю – лубок с изображеньем рая:
Цветы диковинные, солнце, терема –
Все старшие поют, а дети все играют...
Здесь, кажется, ликует жизнь сама.

Нигде ни слёз, ни жалоб, ни истерик –
У всех единый благодарный взгляд!
Кругом стена – высокая – и двери,
И двое в них с трезубцами стоят.

В их разговорах: колдуньи да бесы,
Сказки, догадки о снах –
Всё о таинственном, всё о чудесном,
Мало о тяжких трудах.

И над испугом моим посмеются...
Снова я слушать их рад:
Чай подливают в уютные блюда,
Долго, легко говорят.

* * *

С ВЕТОК ПАДАЮТ СВЕТЛЫЕ КАПЛИ

С веток падают светлые капли
В запорошенный листьями пруд.
Постою элегической цаплей
И пойду приниматься за труд.

Только всё ещё жалко забыться
И по глине размокшей уйти,
Где-то в угол надолго забиться
Да из памяти сети плести.

Как уйти! Облака дождевые
Так свободно, так живо летят!
И немногие листья живые
Всё ещё на ветру шелестят.

* * *

Выйдет луна – всё светло до опушки,
Снежные горы блестят.
В нашей избе соберутся старушки
И допоздна говорят.

Желтоклювые чайки кружат над зелёной водой.
Солнце дымчато всходит, и палуба чисто блестит!
Я, как раннее утро, сегодня такой молодой!
Я вернусь – и любимая женщина всё мне простит.
А теперь ухожу.
Под ногами машины стучат.
Впереди много миль – и опасны они, и грозны.
Но машины стучат, и голодные чайки кричат,
И ожившее сердце томительно ждёт новизны!

ПОМОРСКИЕ МОТИВЫ

1.

Лодка спала на песке.
Ранняя дымка текла.
Лодка спала на песке,
Словно без вёсел плыла.

Берегом девушка шла.
Грустно ей было одной.
Берегом девушка шла,
Встретилась с лодкой-сестрой.

«Милый забыл про меня,
Нынче гуляет с другой.
Милый забыл про меня,
Стал обходить стороной».

Слёзы ручьями бегут,
Падают в белый песок.
Слёзы ручьями бегут –
«Как он забыть меня мог?»

2.

Расступались волны синие?
Расступались!
Поднималось солнце красное?
Поднималось!
Уплывали лодки за море?
Уплывали!
Тосковали жёны юные?
Тосковали!
Обращались жёны птицами?
Обращались!
На ладони
 мужей
 опускались!

* * *

Костёр горит, и варится уха
Из выловленной нам на ужин сёмги
В ведре эмалированном. Дымок
Над берегом летит от моря к лесу.
Там крикнет ворон, чайка пролетит
Над головами – зло и дико пискнет,
Ей что-то бросят в волны, и она
Безумно рада – бросится, ныряет...
Другие подлетят, начнётся драка.
Старик-помор нам за вино дал рыбу,
К столу нас пригласил – и всё молчит:
Туристов ушлых здесь бывает много,
Он их не любит, хоть вино берёт.
Мы уходили утром. На лесинах,
Давно на берег выброшенных бурей,
Роса лежала. Холодил туман.
Стояло солнце, но ещё не грело,
И к лодке шёл с помощником помор.
Мы попрощались: он кивнул – и только,
И вышел в море сети выбирать.

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Однажды ко мне в дверь
Залетела маленькая шаровая молния –

Она искрилась, пульсировала, смеялась...
По идее, она должна была вылететь
В форточку, ведь был сквозняк.
Но она осталась.
И даже сделалась хозяйкой дома.
До сих пор она искрится,
Пульсирует, смеётся...
Но ещё она научилась плакать.
Что будет дальше? Не знаю.
Шаровая молния – это не шутка.
С ней нелегко.
Но и ей нелегко,
Не сумевшей мгновенно иссякнуть –
Превратиться в привычное нечто,
Что есть и чего как бы нет.

Старые мастера

1. БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ

(Слепые)

Цепочкой идут.
Слепые.
Держась друг за друга.
По склону.

Первый упал в трясины,
Падает второй,
Тревожится третий,
Прислушивается четвёртый.

А два последних идут –
Улыбаются:
Вспоминают, как только что
Их накормили неплохо...
И их ждёт трясины.

Это тяжёлая картина:
В каждом узнаешь себя.

2. КАРАВАДЖО

(Неверие Фомы)

Чтобы поверить в чудо,
Он жёсткий палец
Всовывает в рану мученика,
Он морщит лоб,
Напрягает голову,
Пучит глаза – он думает...
И не замечает,
Как больно тому.
Он хочет знать истину!

3. ГОЙЯ

(Девушка с кувшином)

Как победно смотрит
простонародная девушка!
Расставила ноги, кувшин на бедре!

Она не знает,
О чём думает
Старый, глухой художник,
Когда рисует её...

Да ей это и ни к чему.
Она знает, что она молода, свежа,
И у неё достаточно ума,
Чтобы не каждому кавалеру,
Целующему её через окно,
Обещать большее!

4. ВЕЛАСКЕС

(Пряхи)

Земная девушка Арахна,
Тебе ли спорить с богиней?
Твой ли ковёр будет лучше?

Но всё позабыла Арахна
И пряжу мотает в клубок!
Намокла рубашка,
Но руки совсем не устали,
И быстрюю песню
Она напевает себе!

...И знай – если ты победишь,
Богиня Афина тебя превратит в паука.

Но смертная девушка
Начисто всё позабыла –
Склонилась к станку,
Высоко засучив рукава!

5. ДЖОРДЖОНЕ

(Спящая Венера)

Чёрные волосы, белая грудь – всё в ней чудо,
Всё в ней совершенство.
Но всего чудесней,
Что я смотрю на эту картину,
И мне хочется долго жить
и долго работать.
Вот она тайна старого мастера!

* * *

Опять о мире и войне... И кто-то плачет.
А для кого-то всё кругом так мало значит.
И то и это, и проблем в России масса.
Но всё идёт на задний план в виду Донбасса.

По крайней мере, так должно быть в эти годы.
Иначе жизни там конец, а не свободы.

Там наша русская душа.
Там наши братья...
И мы должны их заключить
в свои объятия!

18. 08. 17 г.

* * *

Листья падают и корчатся,
И становятся трухой...
Эта жизнь однажды кончится
С бесконечной чепухой.

Чепуха-то чепуховина,
Но по полю вот идёшь
И тебя, как от Бетховена,
Вдруг охватывает дрожь!

16. 11. 2017 г.

Я ШАГАЮ ПО БЕЛОЙ ДОРОГЕ

Ещё рады шагать мои ноги.
Ещё рада дышать моя грудь.
Я шагаю по белой дороге,
Это иней покрыл мой путь.
Надвигаются белые сроки,
Надвигаются холод и мгла...
Время старческой всякой мороки.
Но – навстречу горят купола!

Но навстречу горят ещё зори!
Но навстречу летят снегири!
Но навстречу – и поле, и море!
И – смотри! И – живи! И – твори!

Поэзия

Владимир Фёдоров

Фёдоров Владимир Николаевич – поэт, прозаик, драматург. Лауреат Большой литературной премии России, международных премий «Триумф» и «Литературный Олимп», всероссийских премий Николая Гумилёва, Николая Лескова, «Золотое перо Руси», Государственной премии Якутии и других писательских наград. Автор более двадцати книг – сборников стихов, нескольких повестей, романа, ряда изданий по традиционным верованиям, а также более десяти пьес, в том числе – показанных в Москве и Санкт-Петербурге. Родился, вырос и долгое время жил и работал на Крайнем Севере, в настоящее время возглавляет писательскую газету в Москве.



РОЖДЕНИЕ

Там, где мыс золотой до камушка,
Где серебряны гривы трав,
Приняла меня Лена-Бабушка^{1*},
Повитухой моею став.

И подвесила, лунолицая,
У Вселенной всей на виду
Колыбель мою лёгкой птицею
За Полярную, за звезду.

Приголубила вьюгой-песнею,
Синеву вдохнув мне в глаза.
И качался с ней в поднебесье я –
Сто веков вперёд, сто назад.

И плыла внизу осиянная,
Молодая, как вечный пир,
Свет-земля моя восьмигранная,
Мой желанный Срединный мир.

И летел мой смех в обе стороны,
И росла со мной коновязь,
И цвели на ней в полдень вороны,
В ясных соколов обратясь.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА

Я сошёл с небес в твой далёкий лес,
Здравствуй, моя родина...
Только больше нет здесь твоих примет,
Даже огонька.
И, не зная рук, разрослась вокруг
Чёрная смородина.

Как она горька,
Как она горька,
Как она горька!

Сколько разных стран сквозь чужой туман
Было мною пройдено.

Сколько громких слов,
Сколько лишних строк
Вывела рука.

А вот тут дрожит в немоте обид
Чёрная смородина.

Как она горька,
Как она горька,
Как она горька!

Как же это вдруг твой замкнулся круг?
Что с тобою, родина?!

В чёрный крутояр, в мёртвый окоём
Плещется река.

Как следы от пуль, на крыльце моём –
Чёрная смородина.

Как она горька,
Как она горька,
Как она горька...

КРАСНЫЙ АНГЕЛ

На краю простуженной Вселенной,
Еле слышно крыльями шурша,
С берегов заледеневшей Лены
Вознесётся русская душа.

Обогнув морозы и туманы,
В небесах найдёт она окно.
И омоет белым гулом раны,
И снегами причастится, но

¹ Якуты издревле называют реку Лену «Бабушкой».

В рай её, советскую, не пустят,
В ад не вторгнут – нет таких грехов,
И удержат алый сгусток грусти
Только крылья тонкие стихов.

Наверху вздохнёт седой архангел,
Сатана внизу слезу утрёт...
И тревожный ярко-красный ангел
Между ними в вечность поплывёт.

РОДИНА

Она ушла на дно, как Атлантида,
В зелёные и жёлтые моря.
И плачет зря российская Исида,
Над травами бездонными паря.

Не разорвать ни вестом, ни норд-остом
Терновых пут над родиной моей,
И лишь кресты качает над погостом,
Как мачты затонувших кораблей.

В пучинах трав былое утопает,
И где-то там, на равнодушном дне,
Оно бессильно к памяти взывает
На недоступной людям глубине.

Я на закате этот зов услышу,
Но не увижу рати за спиной.
И, как на копья, упаду на крышу,
Пронзённую безжалостной травой.

Померкнет сон, как старая икона,
Но в полночь вспыхнет, словно наяву:
Очнулся я,
Отбил косу до звона,
Перекрестился
И шагнул в траву...

ДОМОВЫЕ

За Чёрным Мысом, где клубятся ели
И смотрят звёзды в чёрный окоём,
Они устало у костра сидели
И что-то пели грустно о своём.

От песни этой сумрачной и древней
Сникали травы в тишине лесной,
И только где-то призраки деревни
Дрожали миражами за спиной.

И только где-то, на погосте старом,
Сокрытые годами и листвою,
Вставали тени белые по парам
И горько в такт кивали головой.

Их голоса кружил по долу ветер
Среди деревьев тёмных и чужих...
Нет ничего печальнее на свете,
Чем песня трёх бездомных домовых.

* * *

Дрожит от пурги перегида
Мой Север, свернувшийся в круг:
Куда ни пойдешь отсюда,
Любая дорога – на юг.

Застыли Шекспир и Неруда,
Упрятали руки в золу:
Куда ни пойдешь отсюда,
Любая дорога – к теплу.

Но дремлет частицею чуда
Забывшее солнце в крови:
Куда ни пойдешь отсюда,
Любая дорога – к любви.

И что мне на окнах простуда,
Распяты сосны в мольбе:
Куда ни пойдешь отсюда,
Любая дорога – к тебе.

* * *

Ветра гиперборейские задули,
Их песне без привычки не подпеть.
И снег такой, что в нём завязли пули,
Что до меня пытались долететь.

Хранит мой дом ревушая отрада.
Или хоронит в снежной глубине?
Ушла в сугробы с головой ограда,
Часы навек застыли на стене.

Который день я в белом саркофаге
Не отличаю ночи ото дня.
Лишь строчки проступают на бумаге,
Когда её поддержишь у огня.

ПРОФЕССИЯ

Я лечу среди ночи над землёю болезной,
Чтоб по первому зову своё сердце отдать.
Я лечу, словно ангел, только ангел железный:
Я без крыльев железных не умею летать.

Я лечу – битый ангел из российского ада,
Где смола над кострами плывёт через край.
Я – неправильный ангел, но кому-то же надо
Поднимать эти души в придуманный рай.

Я трублю – хриплый ангел,
ведь кому-то же надо,
Чтобы голос надежды над неверием плыл.
Я спешу – глупый ангел, и по курсу награда:
Двести граммов пластида для оторванных крыл.

* * *

На закате встретившись с Россией,
На брусчатку я с небес спущусь.
На собор Блаженного Василия
Как на дом свой бывший окрещусь.

Усмехнётся зло столица Родины,
С паперти собьёт меня пинком:
Нужен ей совсем другой юридический –
С отсечённым русским языком.

* * *

Катит дождь дырявую телегу
Над московской серой мостовой.
Как же я соскучился по снегу,
Как же истомился, Боже мой!

Я шагаю сумрачным илотом
На неверный свет чужой свечи.
На Болотной чавкает болото,
Да кричат кикиморы в ночи.

В чёрном баке тощая жар-птица
Доедает чьи-то пироги.
Недовольным псом рычит столица,
Но кормильцам лижет сапоги.

Купола сникают в летаргии,
С серостью и пошлостью смирясь...
Нет снега – вот и нет России!
Всю втоптали, бедолагу, в грязь.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

«Пятым элементом» в секретных документах ГУЛАГа называли уран, который добывали на Колыме и Чукотке.

Призраком ползёт по дороге в ад
Чёрный «Виллис».
Сросся навсегда с чёрною скалой
Сталинский цемент.
Здесь не пролетал на своем такси
Брюс Уиллис.
И не вез сюда пятый элемент,
Пятый элемент.

На Бутугычаг стянута петлёй
Дорога.
В темноте кишат тени пулемётных
Лент.
Пятый элемент, как его вокруг
Было много.
Как он страшен был, пятый элемент,
Пятый элемент.

На щетине мха черепов распиленных
Груда.
Для любого зла хоть куда готов
Постамент.
Пятый элемент, он у нас не от
Голливуда.
От ГУЛАГа он, пятый элемент,
Пятый элемент.

Снова я проснусь, снова закричу ночью:
«Мама!»
Снова не дождусь от своей страны
Хоть глотка любви...
Пятый элемент мне всю жизнь нести
К стенам храма.
Храма на крови. Храма на крови.
Храма на крови...

ШАТУН

Бросив вызов миру целому,
Под отчаянной звездой
Я бреду по снегу спелому
Не заснувшей бедой.

Я наспался за столетия,
Я устал от жалких снов:
подавай мне лихолетия
С потрясением основ!

подавай мне ширь раздольную,
Мне другим уже не стать,
Не смогу я волю вольную
На берлогу променять.

И хотя прекрасно знаю я:
Ждёт меня последний пир,
Но со снегом подминаю я
Под себя ничтожный мир.

Я ворвусь в конюшню вечером,
Заломлю я коня –
Не люблю я человечины,
Пусть уж ест она меня!

Холод, голод и лишения
Я вонжу клыками в плоть,
И отпустит прегрешения
Мне звериный мой Господь.

Я наполнюсь дикой силою,
Задымлюсь от куража,
Пусть трясутся руки с вилами,
Пусть стволы скулят, дрожа.

Я зайдусь в смертельной радости
Главным гостем на пиру...
В этой жизни нету сладости,
Слаще смерти на миру!

МАРТ

Ещё от ветра вытирают слёзы
Берёзы на обочине реки
И в подворотнях прячутся морозы,
Позёмки намотав на кулаки.

Но золотой уже распахнут улей,
И ворохнулись в омуте сомы,
И воробей серебряною пулей
Пронзает грудь растерянной зимы.

И что-то шепчет домовой на ушко,
И в голос входят утром петухи.
И сладкой тайной светится опушка,
Где в скорлупу снегов стучат стихи.

ТЕНИ

Мы шли впервые рядом в это час
И даже рукавами не касались,
Но наши тени в двух шагах от нас
Уже напропалую целовались.

* * *

Полыхнёт под утро озаренье,
Подарив пронзительный итог:
Это ты мое стихотворенье,
А не то, что сохранит листок.

Всё вместив от ада до эдема,
Ослепляя белой строфой,
Ты – моя великая поэма,
В час безумства созданная мной.

Я испит до дна твоею ночью,
И слова пустые не нужны
Родинок плывущих многоточью
На поляне золотой спины.

Как вести с тобой и небом битву,
Если каждый слог настолько груб,
Что не ляжет никогда в молитву
Междометий опалённых губ.

Что найти мне в словаре убогом,
Что поставить в бесполезность строк
Рядом с этой, выточенной богом,
Рифмой двух летящих к звёздам ног?!

* * *

Так давно известно людям это,
Что не надо спрашивать волхвов:
Чем на свете хуже для поэта,
Тем и лучше для его стихов.

Такова поэту Божья воля,
Чтоб платил он кровью за слова,
Чтоб росли стихи из чистой боли,
Всё не плетясь, как кружева.

Чтоб его не баловали грёзы:
К звёздам вознося, бросали ниц.
И чтоб многоточия, как слёзы,
Прожигали всполохи страниц.

И чтоб лишь в последнюю дорогу,
Из-под сердца вынув горстку слов,
Дал Господь их, *радостных*, немного
Лучшему из избранных сынов.

* * *

Перелётные души уплывают под звёзды,
Оставляя планете брэнность сброшенных тел.
Перелётные души, перелётные грёзы,
А ведь я не однажды в вашей стае летел.

Невпопад я рождался в окаянном столетье,
Невпопад погибал я в самых глупых боях.
И слепило до боли эпох разноцветье,
Но никак не встречалась эпоха моя.

Оставлял я потомкам завещаньем на небыль
Арбалетные стрелы, эшафотную кровь...
А душа уплывала с надеждой на небо,
Забирая с собою лишь добро и любовь.

Перелётные души уплывают под звёзды.
Как забытый подранок, я кричу на восток.
Мне ещё для запястий не откованы гвозди,
Мне ещё для распятья не пробился росток.

* * *

Я забыл слова людей, но зато нашел другие,
Те, упавшие росой в полнолуние с небес.
И сложились песни вдруг очень странные такие,
Что запев их разобрал лишь один дремучий лес.

Повторить за мной не мог их ни конный и ни пеший,
Но вот тополь выводил побледневшею листвою.
И когда я их шептал, выходил из чащи леший
И задумчиво кивал в такт зелёной головой.

Мне б и дальше так же жить – вызывать с рассветом духа,
Строить пение дриад, править добрые дела...
Но стальная стрекоза, распахнув ловушку брюха,
Заманила внутрь меня да и к людям унесла.

Я вернулся в сладкий плен, я глядел в глаза родные,
Что вставали миражом из таёжного огня.
Вспомнил я слова людей, но зато забыл другие,
И огромный тайный мир отвернулся от меня.

* * *

Умирающий лебедь поёт свою лучшую песню.
Умирающий клоун – он так невозможно смешон.
А поэт уходящий становится будто кудесник,
И заветное слово находит играючи он.

Это слово искал он когда-то в ночи самой чёрной,
Настигал это слово он в звёздное время своё.
Ускользало оно. А теперь подчинилось покорно
И вонзилось в строку, гениальностью метя её.

Вздрагнет мир за окном и в волшебной музыке утонет,
Вдруг ворвётся с небес и осветит каморку звезда.
Он запишет строку и перо на бумагу уронит,
И поднять его снова не сможет никто никогда.



Поэзия

Владимир Скиф



Скиф Владимир Петрович родился в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской области. Автор 27 книг, среди которых : «Где русские смыслы сошлись» (2016), двухтомник «Древо с листьями имён» (Иркутск, 2017). Член СП России, секретарь Правления Союза писателей России, награждён Орденом «За службу России», Золотой Есенинской медалью «За верность традициям русской культуры и литературы», медалью М. В. Ломоносова, медалью М. Ю. Лермонтова, медалью В. М. Шукшина, медалями Адмирала Кузнецова, Георгия Жукова, медалью Акинфия Демидова и другими медалями. Он победитель V Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо-2008», победитель поэтического конкурса «Неизбывный вертоград» им. Николая Тряпкина (2010), Лауреат Международных премий им. П. П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э. Ф. Володина (2014), «Югра» за перевод «Слова о полку Игореве» (2015), Лауреат

Всероссийских литературных премий «Белуха» им. Г. Д. Гребенищикова (2013), им. Николая Клюева (2014), Лауреат премии издательского дома «Российский писатель» (2014, 2016), Лауреат премии журнала «Наш современник» (2015), Лауреат конкурса одного стихотворения «Донбасс, Донбасс, земля моя, ты весь горюшь в огне» в Петербурге за стихотворение «Бескрылый ангел» (2016), Лауреат конкурса им. Николая Денисова (2017). Трижды лауреат Губернаторской премии Иркутской области (2010, 2011, 2015). Печатался в Америке, Аргентине, Канаде. Стихи переведены на сербский, венгерский, болгарский языки. Лауреат Большой литературной премии России (2018).

СИНИЦА

* * *

А жизнь ещё, как будто длится,
Хотя все вешки снесены...
И вечность медленная мглилась
Среди стеклянной тишины.

Как птица, вспархивает ветер
Ночь загоняет под крыльцо...
Взмахнёт синицы лёгкий веер
И опанёт моё лицо.

Мне так охота затаиться
И видеть, как в зазорах мглы
Ко мне летит моя синица,
Чтоб пеньем оживить углы

Моей души многострадальной,
И радость из неё добыть...
Летит она из рощи дальней
Мою тоску растеребить,

Разворошить моё сознание,
Растормошить слепую кровь,
Да так, чтоб сердце распознало
Во мгле последнюю любовь.

Ветер байкальский меня не спросился,
Ветер свихнулся, ударил в лицо
И по тревожной земле покатился,
Будто бы жизни моей колесо.

Вот она круглая жизнь! Приникая
К мимо летящему полю, где рожь,
Я ей кричу: – Ах, ты, жизнь растакая!
Как ты меня по ухабам несёшь!

По златокудрым и чувственным бабам,
По крутоярам и дырам земли,
По деревенькам и рошицам рябым,
Где мои лучшие годы прошли!

Круглая жизнь, где твоя остановка?
Пламенем к небу взметнулись года...
Осень. Погост. Зазвенела подковка,
Будто упавшая с неба звезда...

* * *

Белошвейка-зима над полями застыла,
Белым инеем жухлые травы зажгла,
И к погосту пришла, тёмный Храм засветила,
И в туманных полях скорбный крест прибрала.

У природы нет зла и глухой, укоризны,
Тишина и печаль, как водицы бокал.
Здесь Рубцов проходил по изменчивой жизни
И в болотах последнюю клюкву искал.

Белошвейка-зима, мы покличем Рубцова,
Чтобы он – тихим днём – в русском поле ожил.
Вдруг туманы ушли. Стыло небо свинцово,
И на небе Рубцов или месяц кружил...

* * *

Мир тяжёлый вокруг, он и новый, и древний,
От орудий глубокие в нём колеи.
А я снова во сне, навещаю деревню,
Крутояры мои, глухомани мои.

Светит грустная даль и угрюмится осень,
По откосам дорог конский щавель стоит.
Терпкость прошлого дня
тёплый воздух приносит,
И щемящую боль в птичьих криках таит.

Запахнула печаль до китайской границы
Пустоту одичавших сибирских полей.
Снится им или нет золотая пшеница,
Молодых колосков сладкий запах и клей.

Но лежит пустота целиной поднебесной,
И молчит пустота над деревней моей,
Обернулась земля нескончаемой бездной,
И не стало на Родине хлебных полей.

Мне охота кричать, чтобы лоно земное
Стало жить и рожать, пить дожди и ручьи.
Слышу – стонут во тьме, убегая за мною,
Крутояры мои глухомани мои...

* * *

За кедровой далью и осиновой
День-другой в зимовье проведу,
Посижу у лампы керосиновой,
И от битвы дух переведу.

Вышепчу тоску свою осеннюю
Узкому, дремучему окну.
Подожду летучего Есенина,
Блоку проходящему махну.

Мне от Блока тайна будет выдана,
И от Слова отданы ключи.
Зазвучит мелодия Свиридова,
И в тайге очнутя кедрачи.

Зазвенит метелица осенняя,
Чёрный космос высветит луна.
Я в зимовье приглашу Есенина
И налью убойного вина.

Сядем на сосновую колодину,
И, тревожа сонную тайгу,
Беспробудно будем пить за Родину,
За любовь и русскую тоску...

* * *

Мне жить в самом себе не просто,
Не просто мне в себя смотреть.
Во мне ворочается космос,
Как будто раненый медведь.

И я постичь себя пытаюсь,
Непостижимое узреть.
Борюсь с собой,
с собой братаюсь,
Стремлюсь любимую согреть.

Моя любовь, как дальний остров,
Глядит в меня издалека.
Там бьются волны, светят росы
И проплывают облака.

Там жизнь вершится без нажима,
Там вспышки глаз и угли губ
Нацелены неустрашимо
В мою космическую глубь.

И я, большой, неизмеримый,
По краю космоса лечу.
И слышу: – Я с тобой, любимый!
Лететь мне рядом по плечу.

Любимая! Не стань постылой,
А коль остынешь, помни впредь:
Погибну я среди пустыни,
Как будто раненый медведь.

СНЕГОПАД

Был свет на улице потушен...
Вдруг с неба рухнул снегопад.
Ах, нет! С небес летели души
Убитых на войне солдат.

Я думал, что летят снежинки,
Минюя Лондон, Амстердам,
А это души, как пушинки,
Летели к русским городам.

Летели души и искрились,
Дымились рощи и поля.
Их было столько, что покрылась
Летучим саваном земля.

Я видел – это были жизни
Солдат, погибших на войне.
И дрожь прошла по всей Отчизне,
И болью вскрикнула во мне.

* * *

Я город оставил железный,
Ушёл от людской суеты
В молчанье осеннего леса,
Где бродят по лесу цветы.

Вдоль тропок надёжно, и просто
Прозрачные встали кусты.
И смотрят мне в душу с погоста,
Как люди живые, – кресты.

* * *

Я – русского мира поборник,
Пришедший к нему на века.
Я – стражник, радетель и дворник
Живого его языка.

Я равным той силе не буду,
Что тайной гудит в языке,
Но рад я великому чуду,
Что светит в библейской строке.

ПОЗЁМКА

Завивает позёмка земные концы,
Серебрится змеёй за синеющей далью,
Засыпает осенней реки останцы,
И в душе у меня стекленеет печалью.

И леса, и поля застилает, как дым...
Человек под собою не чувствует тверди,
Пропадает в позёмке, как будто над ним
Не позёмка летит, а дыхание смерти.

Протыкает позёмка бревенчатый дом
И таскает за космы пустое болото...
...Над землёю летят, будто некий фантом,
И скрипят деревянные крылья заплота.

Вместо стёкол в окне — чёрно-белая мгла,
И душа не поёт, и дорога затмилась,
Словно в щели небес вся земля протекла,
И позёмкой в ночи даже тьма задавилась.

* * *

Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита...
Александр Блок

И снова галки и вороны
Слетаются, галдят о том,
Что я лежу в траве зелёной
С пробитым сердцем и щитом.

Мой щит пробит, пробито сердце,
И я лежу среди равнин.
О, где мои единовверцы?
На поле битвы я один.

А поле древнее разрыто
Стремниной вражеских копыт,
И войско русское разбито,
И даже лунный диск убит.

Как грают галки и вороны!
Волками стелятся точь-в-точь.
Россия, твоего урона
В седой степи не превозмочь.

Неужто, нет уже спасенья,
Моя земля, моя страна.
В Господний праздник Вознесенья,
Земля, ты будешь спасена!

Вздохнула жизнь и наклонилась
Над бедной Русью, надо мной,
И сердце новое забилося
Во мне под новою луной.

ЗЕМЛЯ

На самом дне алеющего утра
Проснусь и замираю, и от него таюсь.
Средь сизых облаков, среди туманов утлых,
Как будто рыба омуль в сетях рассвета быюсь.

То кану, то взовьюсь, сверкая опереньем,
То чайкой голубой качаюсь на волне.
Мне кажется Байкал моим стихотвореньем,
Я в нём себя таю, а он живёт во мне.

Моя любовь к родной земле непостижима.
Между моей душой и вечностью земли
Совсем зазора нет. Мы с ней нерасторжимы.
Мы в космосе — вдвоём! Друг друга мы нашли.

В крошечной темноте я продышал оконце,
Когда дремал рассвет и спали тополя,
Чтоб тёплое, как печь, уже вставало солнце,
Чтоб грелась поскорей родимая земля.

Берега наследия

Юрий Кузнецов

Предисловие Марины Гах

Из огромного наследия Ю.П. Кузнецова особняком стоит его преподавательская деятельность. Кузнецов был не только гениальным Поэтом, но и Учителем, Мастером.

Его семинары никого не оставляли равнодушным. Были в них и великолепные импровизации, и глубоко обдуманые, выстроенные откровения, был поиск. С ним можно было соглашаться или не соглашаться, но нельзя было отсиживаться. Они заставляли человека самоопределиться, поэтому из семинара либо сразу уходили, либо шли за ним до конца, заряжаясь его творческой мощью и отвагой. Юрий Кузнецов заставлял думать, творить. Все его темы очень много дают для понимания творчества самого Поэта. В том, как он показывает тему, как постепенно раскрывает, затрагивая и фольклор, и мировую поэзию, виден индивидуальный творческий метод.

Это раздумья Мастера, которыми он умел щедро делиться. Я, записав, не вправе ничего менять.

Темы идут в том порядке, как давал нам их Юрий Поликарпович. Вечные темы поэзии, темы импровизированные, вызванные нашим творчеством. Мне кажется, все они – великое наследие, оставленное нам Учителем.



Женственное начало в поэзии

...Есть во Вселенной начало мужское и женское. Как пишет, как смотрит Мужчина и Женщина – большая разница. Корневая система искусства едина. Существует миф об Андрогине. Человек был единым существом (4 руки, 4 ноги), Зевс разорвал, разорванные обнимались, хотели срастись. Отсюда Эрос.

Легенда о Филимоне и Бавкиде – умерли в один день и час, превратились в два дерева из одного корня. Гоголь переработал ее в «Старосельских помещиках». «Мужчина и женщина дополняют друг друга» (Платон). Существует много народных пословиц об этом.

История о первой человеческой паре – двудольном семени Андрогина – темна, так как на ней тень врага рода человеческого.

Фет: Твой взор открытый и бесстрашный,
Хотя душа твоя тиха,
Но в ней сияет рай вчерашний
И соучастие греха.

От связи Евы с сатаной получился Каин. Цветаева: «Адам, проглядевший Еву». Не с тех ли пор «прелестная», «очаровательная». Афродита закрывает свои прелести, как будто указывает на них. Прелесть – прельщение, лесь – слова одного ряда.

Тютчев: И сквозь величие земного
Вся прелесть женщины мелькнет.

Пушкин: «Чистейшей прелести чистейший образец», – сумел совместить несовместимое. У Достоевского Карамазов мечется между святой и вавилонской блудницей.

Мужчина превознёс женщину до небес в средние века, «полна достоинства», возвышает её до себя. Сервантес. «Дон Кихот» – описание достоинств женщины со слезами на глазах. Идеал всегда разбивается о действительность, но вера не умирает. Блок – поиск «вечной женственности»: сначала «Прекрасная дама», потом – «Снежная маска».

Отношения Данте к Беатриче, Петрарки к Лауре – идеальны. Памятник женщине – «Божественная комедия». Оба не были верны своим идеалам, но являлись «бедными рыцарями». Через год после смерти Беатриче Данте женился, имел семерых детей.

Овидий заметил: «Странно желание любить, чтобы любимое было далеко. И чем больше нас к любимым влечет, тем сильнее бессилие гложет душу». Платоническая любовь – пустоцвет. В народе осуждается. Русская пословица: «Сухая любовь только крушит». Существует культ матери – «тёплой заступницы мира холодного».

«Мимолётное видение» способно воскресить жизнь, но надолго ли, красота спасет мир, но надолго ли?

В славянском искусстве высшая сила искушает человека высшим. В западном – сам человек искушает высшую силу, чтобы достигнуть божества. (Данте, Гете «Фауст»).

Слово – запретный плод. Тютчев: «Мысль изречённая есть ложь». Пространство рождает звук, у Пушкина поэт – отзвук, голос – эхо, живое соединяет с призраком. Стихотворение «Эхо». Эхо ничего не творит, это бессонная нимфа, женщина. Отсюда женские знаки нашей поэзии.

Тютчев о Пушкине: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Происходит сужение, замена матери молодой женщиной, что идет вразрез с народным воззрением. Родина – мать. Еще страннее у Блока, кровосмешение: «О Русь моя, жена моя».

Знаки женственности у Лермонтова в «Завещании» – мелкая женская месть: «Пускай она поплачет, ей ничего не значит!».

Наиболее ярко женский талант проявляется в пении, хореографии, лицедействе. В танце проявляется природная грация. В творчестве ни одна женщина не раскрыла мир женской души, это за них сделали мужчины. В поэзию женщины внесли лишь оттенки личных переживаний. Никакого общечеловеческого или национального мотива в их стихах не прозвучало. Гете: «В поэзии важно содержание». Женщины думают только о чувстве без содержания. Только взволнованность, да звонкий стих, только бы управиться с техникой – и мастерство в кармане. Они заблуждаются.

Есть исключения. Габриэла Мистраль – чилийская поэтесса. Очень значительная по содержанию, близка к фольклору. История ее жизни: сельская учительница влюбилась в проходимца, обманул, одинокая жизнь, не было детей, писала о детях.

Цветаева: «Мой милый, что тебе я сделала?» мельчит, это угасание любви – вечная тема, нельзя найти виноватого. Мужчина всю вину берет на себя. Приучил женщину жить в атмосфере лести. Ахматова: «Я пью за ложь меня предавших губ». Светлана Кузнецова – лучшая современная поэтесса: «И некому выслушать лжи, которая губы согреет». Дело не во лжи. Дело в том, что мужчина и женщина в искусстве не дополняют друг друга. Нет равенства даже среди мужчин. Нет демократии – разница талантов.

Пушкин: «Парки бабье лепетанье». Снижение Парки. Разница разительная: мужчина смотрит на Бога: «И в небесах я вижу Бога». Женщина смотрит на мужчину. Мужчина ничего не боится, даже смерти: «И эту гробовую дрожь, как ласку новую приемлю»- Есенин. Светлана Кузнецова: «Я бы сплела из вас венки, Когда б не знала страха увяданья». Самое главное – женские потери. Только теряя, женщина обретает голос, пускай такой истерический, как у Цветаевой. Женщине положено плакать. Сколько души в народных плачах и причитаниях. Вся литература русская проходит под знаком плача Ярославны.

У женщины обращение к Христу чувственное, главное в жизни женщины – мужчина, рождение детей. Стихи – восполнение пустоты. Чем талантливее поэтесса, тем кошмарней у нее внутренняя жизнь.

Любить – в русском языке понятие не однозначное, эквивалентом является жалеть. В западном (английском) – это определенное действие, продолжающееся некоторое время. Несет не нравственный, а волевой императив. Хемингуэй: «Они любили друг друга всю ночь». Влияние запада – Симонов: «Жди меня». Агрессивный эгоизм заморской воды. Не имеет ничего общего с народным восприятием. Суриков: «Степь, да степь кругом» – уносит любовь с собой, освобождая жену для другого счастья. Чехов создал образ «Душечки». Не все женщины – душечки.

Тютчев: И роковое их слиянье,
И поединок роковой.

Катулл: «Ненавижу и люблю».

У женщины особенное зрение. Не видит целого и перспективы, но различает детали. Лабрюйер «Совсем не смотреть на мужчину означает то же, что смотреть на него постоянно». Цветаева четко определила пространство:

Отпусти ты меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны.

За сосной – воля, а она женщине не нужна.

Джордон: «Циркуль – женщина в центре, а мужчина – по кругу».

Патриотическая поэзия всегда писалась мужчинами. Ахматова – рукодельница:

Живые с мертвыми,
Для мертвых славы нет.

Писано в мужской традиции. Мысль в пределах христианского мировоззрения четко отличает мужское и женское. Слезы – плач. Все плакальщицы, вопленицы – женщины.

Пушкин. «Воспоминание»: И горько жалуясь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

Некрасов. «Рыцарь на час»: Я хотел бы сегодня рыдать
На могиле далекой.

Блок. «К России»: Твои мне песни ветровые,
Как слёзы первые любви.

Габриэла Мистраль: «Так хочет Бог» – образ слёз.

Ахматова не плачет. Нет утешения, нет слёзного дара:

Но в мире нет людей бесслёзной,
Надменнее и проще нас.

Со старославянского надмуть – надуть, надменный – надутый.

Для женщины в поэзии 3 пути: 1 – истерия (Цветаева); 2 – рукоделие (Ахматова); 3 – подражание. Ахматова берет тему «Реквием». Убила её своей гигантоманией, самовлюблённостью. Фигура молчания в предисловии – кокетство, и это возле какой темы. Ее личная боль выше других:

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне!

Пушкин: И неподкупный голос мой –
Был эхо русского народа.

Ахматова: Голос мой, которым кричит
Стомильонный народ.

У Ахматовой много прозаических целей, которые она решает поэтическими средствами. Поэзия – театрализованное действие, за ней должна быть глубина переживания. У Ахматовой одно зрелище – перчатки на разные руки. Не выражает, а показывает. Высшее проявление прозы – поэзия. Но когда поэзия нисходит в прозу – это снижение. Прозаический элемент в поэзии Ахматовой можно назвать своеобразием. Очень сухая и по натуре, и по поэзии.



Берега культуры и искусства

Борис Попов



Борис Иванович Попов родился 10 марта 1947 год в Ленинграде. По образованию инженер. Прошёл путь от рядового до генерального конструктора. Много лет работал на Дальнем Востоке. Член Академии ДНК-генеалогии (Москва). Почётный гражданин города Бэллингхэм штата Вашингтон (США). Автор художественных и научно-популярных книг и статей в различных журналах, в Вестнике Академии ДНК-генеалогии. В 2001-2013 гг. возглавлял Союз свободных российских писателей «Эклога» и Литературную студию «Дуновение дюн» (Калининград)

Лебедь

Мы много раз с замиранием сердца следили за великой Галиной Улановой, а потом и за блистательной Майей Плисецкой, когда они в финале известного танца «Умиравший лебедь» медленно опускались на помост сцены, складывали свои руки над низко опущенной головой и вытягивались в последнем движении к залу. Так необыкновенно умирал белый лебедь, уходя в неизвестность.

В память какой же конкретной птицы была написана музыка Камилла Сен-Санса, придумана хореография к ней, сверкали своим талантом известные всему миру балерины? Была ли вообще эта птица, жила ли она на белом свете? Послушайте удивительную историю и решите сами.

Однажды осенью – а случилось это в середине девятнадцатого века – один вполне настоящий лебедь вместе с другими себе подобными летел из-за Онеги от наступающей зимы к тёплым морям. По преданиям древних греков когда-то точно таким же путем из Гипербореи на юг, а потом обратно, на своей воздушной колеснице, запряжённой лебедями, много раз летал и бог Аполлон.

По библейским преданиям, именно где-то здесь было видение архангела Михаила, а его самого и других архангелов люди всегда изображали с лебедиными крыльями. И вот наш лебедь, то ли наследник Аполлона и гиперборейцев, то ли вестник архангела, не долетел до тёплых морей и остановился на середине пути, чтобы передохнуть. Вокруг были свои, похожие на него. Тоже собратья. Все вместе они о чём-то молчали, словно безмолвные хранители чьих-то дум. Чуть поодаль от них копошились гуси, утки и другие перелётные птицы, которые тоже стремились на юг, но, в отличие от лебедей, много гоготали, кричали, словно люди на рынке. Верно сказал кто-то: устроили птичий базар.

И устремились к этому скопищу пера и пуха бывалые охотники. Таковых тогда много знали старые петербуржцы. Среди них и некто Александр Евстафьевич. Высокого роста, худощавый, в фуражке с козырьком – в нём тоже было что-то от лебедя.

Как известно, настоящие охотники не стреляют в лебедей. Больно уж красивая птица. Куда там какому-то павлину с его веером-хвостом. Ведь белый цвет – это цвет искренности и чистоты. Поэтому стрелять в хрупко белое – большой грех. Палили в тот раз в гусей да в уток. Но зазевался наш лебедь, замешкался, крылья-то вон какие огромные, и произошло непоправимое: дробь случайно попала в него, и закричал он жалобно от боли, заломив свои руки-крылья.

Что тут делать? Охотники советовали разное, но Александр Евстафьевич пожалел лебедя: ведь скоро зима, и погибнет красивая птица. Не спасут её ни камыши, ни берег еловый. И понес он её домой, в стольный град Питер.

По прибытии на место, лебедя враз обступили дети охотника. А их было много: пять дочерей и двое сыновей. Дочери все были в белых платьицах, белых гольфах и чувствовали своё родство с лебедем, на котором всё тоже было белое, но запачканное кровью.

Дети начали хлопотать вокруг птицы, готовить ей место для отдыха, необходимого после стольких переживаний. И отвели ему уголок на кухне. Тут и тепло, и разной снеди много, поэтому лучше-

го места и не сыскать. Опять же и строгая хозяйка квартиры не будет укоризненно смотреть на все его проделки за долгую зиму, которую ему придётся прожить вместе с ней и её детьми. Так и начался новый этап в жизни лебеда в самом центре столицы Российской империи.

– Эка невидаль – птица на кухне, – скажет кто-то, но ведь кухня та была не совсем обычная, поэтому не будем спешить с выводами.

Александр Евстафьевич служил в Дирекции императорских театров, играл в симфоническом оркестре и жил со своей семьёй на первом этаже дирекции в большой квартире. Само здание располагалось в центре города возле Императорского театра, хореографического училища и консерватории. Если смотреть с Невского проспекта, то как раз за театром. Ныне в этом здании музей театрального искусства. Именно сюда и попал наш горемыка. Он стал невольным свидетелем того, как многочисленное семейство Александра Евстафьевича по порядку, строго заведенному им и его супругой – внучкой известного шотландского историка и писателя – уже с самого утра начинало заниматься музыкой, пением, танцами и рисованием. Иногда лебедю удавалось не только слышать красивые звуки, доносящиеся из комнат, но и краем глаза наблюдать за всем в них происходящим.

Незадолго до этих событий в Париже, другой культурной столице Европы, уже начал блистать Шарль Гуно – композитор, автор духовной музыки и создатель французской лирической оперы. Среди его произведений хорошо известны «Ромео и Джульетта», «Фауст» и другие. Новые веяния, новая музыка... Но вот случилась беда: тяжело заболел и вскоре неожиданно для всех скончался Журбен – брат Шарля, талантливый французский архитектор. Произошло это весной, в апреле. Ш.Гуно в глубокой скорби и тоске, свято веря, что душа брата вознеслась в поднебесье, написал проникновенный романс, посвященный лебедю.

Иван Тургенев – молодой писатель из России и верный друг Шарля – находился тогда в Париже. Он встречался с Гуно почти каждый день и, как только мог, помогал ему ухаживать за братом, поддерживал его. После кончины Журбена Иван Сергеевич ещё некоторое время приезжал к Шарлю, а потом был вынужден покинуть Францию и отправиться в Россию. Через год из Парижа ему пришла посылка, а в ней ноты. Иван Сергеевич сразу же пошёл с ними к Александру Евстафьевичу, с которым был давно знаком по совместной охоте ещё в Орловском имении.

Всё получилось случайно: Иван Сергеевич раскрыл ноты, Александр Евстафьевич стал петь своим сиплым тенором, а его старшая дочь – играть на рояле. Младшие дети вместе с матерью сидели вокруг и внимательно слушали. На стенах горели свечи. Их пламя отражалось в глазах всех присутствующих. Тяжёлые белые шторы на окнах опускались до самого пола. Дверь в комнату была открыта. Звуки печальной музыки и пения разносились по всей квартире, проникая во все её уголки.

Вероятно, дошли они и до кухни, потому что вдруг на пороге в комнату показался наш лебедь. Он постоял немного и после некоторого колебания медленно направился прямо к роялю. Музыка продолжала звучать, а певец – петь. Лебедь же осторожно опустился возле него и стал слушать романс вместе со всеми. Его голова вначале задумчиво коснулась ножки рояля, а затем опустилась на белую грудь. Все замерли от изумления и не знали: то ли им продолжать слушать романс, то ли смотреть на лебеда. А он в это время, словно сам Журбен, с глубокой грустью слушал романс, сочиненный его братом, вспоминая весёлый Париж и своих друзей.

По окончании романса Иван Тургенев, волнуясь, лишь с большим трудом смог вымолвить:

– Такая музыка! Столько детей! И даже дикий лебедь слушает Вас!..

Возбуждённый писатель стал раскланиваться, и все пошли его провожать, а лебедь так и остался сидеть возле рояля. Никто тогда не заметил, что он остался там навсегда...

Казалось, что это не совсем обычное событие никак не отразилось на жизни его участников, и жизнь после кончины лебеда продолжалась своим чередом. Александр Евстафьевич каждый день ходил на службу в Дирекцию императорских театров и на репетиции симфонического оркестра, но рядом с ним в консерватории учился Петр Ильич Чайковский, который через некоторое время написал музыку к балету «Лебединое озеро». По первоначальному замыслу композитора, его главная героиня – дева-лебедь – в финале покидает своего возлюбленного и уходит в мир иной.

Писатель Иван Тургенев вскоре опять возвратился в Париж. Каждую неделю на четвергах у Полины Виардо он встречался с композитором Камиллом Сен-Сансом, а тот, как всем известно, стал автором музыки к танцу «Умиравший лебедь»...

Шли годы. Уже не стало Александра Евстафьевича и Ивана Тургенева. Потом в один год почил Шарль Гуно и Петр Ильич Чайковский, но тогда же родился один из правнуков Александра Евстафьевича. То был мой дед. Он стал очевидцем балета «Лебединое озеро» в постановке Льва Иванова и Мариуса Петипа и танца «Умиравший лебедь» в исполнении Анны Павловой.

Получается, что она, а за ней и другие известные балерины в своем танце всегда невольно принимали образ вполне конкретного лебедя, который когда-то жил в нашей семье. Он сумел непостижимым образом объединить творчество Журбена и Шарля Гуно, Ивана Тургенева и Полины Виардо, Александра Берса и Ревекки Пинкертон, Петра Чайковского и Камила Сен-Санса, Льва Иванова и Мариуса Петипа, Майи Плисецкой и Анны Павловой. Сам же он превратился во что-то очень тонкое и неуловимое, до сих пор витающее над нашими головами. Не будь его, не было бы, верно, балета, танца, моего деда, меня и этого рассказа.



Берега памяти

Леонид Вересов

Архивные смальты поэтической мозаики Николая Рубцова

Статья вторая

Стихотворение «Элегия» («Стукнул по карману – не звенит»).

*Архивная история написания, ранние варианты и устоявшиеся версии стихотворения.
К постановке вопроса о многовариантности лирики поэта*

Начнём необычно. Стихотворение «Элегия» к счастью для исследователей оказалось записанным на магнитофонную ленту. Мы можем послушать авторское исполнение этого произведения поэтом Николаем Рубцовым. Эту запись осуществил Б.И.Тайгин в 1962 году среди 12 стихов, начитанных тогда поэтом Рубцовым. Все признаки интонации, голоса молодого поэта говорят за это. Само читаемое стихотворение полностью соответствует варианту из ГАВО (Государственный архив Вологодской области) [1]. Обозначим его, как вариант первоначальный (первый).

Стукнул по карману – не звенит,
Стукнул по другому – не слышать.
В коммунизм – таинственный зенит –
Полетели мысли отдыхать.
Но очнись, и выйду за порог,
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.
Память отбивается от рук,
Молодость уходит из – под ног,
Солнышко описывает круг,
Жизненный
Отсчитывает срок...

В стихотворении сохранена пунктуация архивного документа. Посвящение брату Алику Рубцовым не озвучивается, нет его и на первой печатной версии из ГАВО. В сборнике «Волны и скалы» выпущенном самиздатским способом Борисом Тайгиным в 1962 году в количестве шести (6) экземпляров данное стихотворение датируется мартом 1962 года, указывается место написания (возможно, имелось в виду именно этой версии) – город Ленинград. Стихотворение «Элегия» занимает явно особое положение в сборнике, ибо публикуется первым в разделе «Вместо предисловия» и с посвящением «Брату Алику». Разночтений с первым вариантом из ГАВО несколько. Построение строф, знаки препинания несколько изменены в сборнике. Вместо строчки «В коммунизм – таинственный зенит», в сборнике «В коммунизм – безоблачный зенит». Видимо под воздействием тогдашней идеологии, говорить о коммунизме, вообще – то таинственной сущности человечества, следовало как о безоблачной сущности. Тайгину или Рубцову, но это пришло им в голову, и исправление в печатном варианте состоялось. Надо сказать, что и до сих пор эта сущность коммунизма скорее таинственная, нежели безоблачная. Никто пока не жила при коммунизме, и эта теория на практике никем не проверена. Однако неприятностей по поводу эпитетов желаемого строя можно было обрести в полной мере в те годы – это факт. То, что Николай Рубцов исправляет эпитеты понятия «коммунизм» это очень понятно. Н.С.Хрущёв, вначале 60-х годов 20 века, всерьёз намеревался построить его в СССР и шутить с этим было нельзя. Следующий принципиальный вариант стихотворения «Элегия» из ГАВО обозначим как вариант второй. Рубцов со свойственным ему молодым оптимизмом ищет новые ходы в стихотворении [2]

Стукнул по карману – Не звенит!	Я очнусь и выйду За порог,
Стукнул по – другому – Не слышать!	И пойду на ветер, На откос
В коммунизм – В безоблачный зенит	О печали Пройденных дорог
Полетели мысли Отдыхать.	Шелестеть Остатками волос...

Память отбивается От рук.	Стукну по карману – Не звенит!
Молодость уходит Из – под ног.	Стукну по другому – Не слышать!
Солнышко описывает Круг –	В коммунизм – В безоблачный зенит
Жизненный отсчитывает Срок.	Улетают мысли Отдыхать...

Итак, первый вариант из ГАВО и из сборника «Волны и скалы» отличается от второго варианта из ГАВО тем, что первое четверостишие повторяется как четвёртое. Прошедшее время «полетели мысли», «стукнул по карману» преобразуется в настоящее время «улетают мысли» и «стукну по карману» в последнем четверостишии. Обратите внимание на то, что Николай Рубцов переставляет местами второе и третье четверостишия по сравнению с вариантом первым. Строчка «но очнусь, и выйду за порог» даётся во втором варианте как «я очнусь, и выйду за порог». Конечно, меняется разбивка строф, они отделяются друг от друга. Получается совсем другой ритм стихотворения и в этом весь Рубцов ленинградского периода творчества. Эксперимент, поиск нового, освоение неизвестных поэтических горизонтов... В 1967 году в книге «Звезда полей» Н.М.Рубцов использует уже совсем другой тональный вариант стихотворения.

ЭЛЕГИЯ

Стукнул по карману – не звенит! Стукнул по другому – не слышать! В тихий свой, таинственный зенит Полетели мысли отдыхать.	Память отбивается от рук. Молодость уходит из-под ног. Солнышко описывает круг– Жизненный отсчитывает срок.
---	--

Но очнусь и выйду за порог, И пойду на ветер, на откос О печали пройденных дорог Шелестеть остатками волос.	Стукну по карману – не звенит! Стукну по другому – не слышать! Если только буду знаменит, То поеду в Ялту отдыхать...
--	--

Сколько литературоведческих копий уже сломано в турнирах, доказывающих принадлежность этих последних двух строчек Рубцову или редакторам. Вопрос можно поставить и по-другому – пришлось ли с этим редакторским вариантом согласиться Рубцову или сам поэт предложил такой оптимистично – весёлый выход из этого элегичного стихотворения. Следуя фактам биографии Рубцова, следует сказать, что в Ялте он так и не побывал, а вот в дом творчества Дубулты в Прибалтике на март 1971 года заявление и правда написал, так как не собирался умирать в «крещенские морозы» января 1971 года (кстати, в 1971 в Ялте, согласно заявлению, отдыхала Людмила Славолюбова, писатель-очеркист из Вологды).[3].

Давайте обратимся к воспоминаниям приятелей поэта об этом стихотворении

Хлопнул по карману
Не звенит.
Хлопнул по другому
Не слышать...

Вот так по утверждениям одних звучала строка Рубцова и только редаKTура заставила изменить правильное «хлопнул» на более литературное «стукнул». Что же эта точка зрения понятна. А вот как вспоминает это стихотворение Рубцова А.А.Ольшанский [4]. «Недавно я взял его сборник «Полдорожники», и многие страницы всколыхнули мою память. Я был одним из первых слушателей стихотворения «Стукнул по карману...». Однажды утром столкнулся с Колей в коридоре общежития Литинститута. С поэтами по утрам было встречаться небезопасно, поскольку многим из них хотелось кому-нибудь прочесть написанные ночью стихи. Была даже такая шутка: «Не стой на виду, а то переведу!»

Вполне возможно, что Рубцов в ту ночь вообще не спал, и ему хотелось попросту есть. Он прочёл концовку стихотворения, не без юмора названного «Элегией»: «Стукнул по карману – не звенит. Стукнул по другому – не слышать. Если только буду знаменит, буду неимущих похмелять!..» Последняя строка «То поеду в Ялту отдыхать...», потом появившаяся в сборниках, явно не рубцовская, придуманная редакторами. Последняя строфа выполняла роль своего рода колыбельки – предложения поесть-выпить в обстоятельствах, когда «не звенит». «Буду неимущих похмелять!..» – конечно же, обещание поддержать в трудную минуту друга-литератора». Александр Ольшанский сейчас преподаёт на Высших литературных курсах в Литературном институте, и его воспоминания чрезвычайно важны и документальны. Но записанного Рубцовым такого варианта не сохранилось, может это была шутка момента и только. Со временем написания стихотворения тоже не всё ясно. Какие-то ранние версии этого стихотворения вспоминает Валентин Сафонов, флотский друг Николая Рубцова [5]. «Это потом уже, годы спустя, в известном ныне всем стихотворении Рубцова «Стукнул по карману – не звенит...» появится пронзительная концовка:

Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...

И возвышенно-грустное название своё – «Элегия» – обретёт это стихотворение позже. В таком виде, строго говоря, будет оно опубликовано на соевой странице сборника «Звезда полей», выпущенного издательством «Советский писатель» в 1967 году.

Мы, североморцы, слышали это стихотворение десятью годами раньше. Был у нас добрый обычай: каждое занятие литобъединения завершать чтением юмористических стихов, экспромтов, пародий и эпиграмм друг на друга, чаще всего сочинённых тут же, по ходу разговора. Молодые все были, зубастые, случалось порой, слово опережало мысль: где бы и подумать, помолчать – ан нет, спешишь высказаться...

Вот в такой как раз обстановке и прочел Рубцов стихи, которым в будущем суждено будет стать «Элегией». И не было в ней, то бишь в них, в стихах, ни слова о Ялте: последняя строфа целиком повторяла первую, только глагол «полетели» стоял в настоящем времени. И «звенит» соседствовал с другим эпитетом: «безоблачный». Вот так читалось: «В коммунизм – безоблачный зенит улетають мысли отдыхать...»

Мы – три десятка моряков, лётчиков, солдат, военных строителей – восприняли это стихотворение как шутку, не более. А иначе и быть не могло. Давайте вспомним:

Но очнись и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.

Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг –
Жизненный отсчитывает срок...

Очень уж не вязалась печальная наполненность этих строк с обликом автора – жизнерадостного морячка. Впрочем, даже не то, что не вязалась – противоречила ему». Итак, если верить Сафонову, то датировка написания «Элегии» 1962 год неверна. Впрочем, мы уже предупреждались о том, что Николай Рубцов мог просто датировать свою очередную версию стихотворения. Кому-то из приятелей

лей Рубцова нравятся строчки про Ялту, кто–то их не принимает. Иван Костин вспоминает [6] «Но первую свою популярность Николай завоевал всё же среди студенческого окружения исполнением своих песен-экспромтов, сочиненных как бы в шутку, но с явным вызовом официальной поэзии.

Однажды, когда я заглянул в его комнату на звук гармошки и голоса (он неплохо играл и на гитаре), он напевал такие строки, ставшие впоследствии широко известными:

Стукну по карману – не звенит.
Стукну по другому – не слышать.
В коммунизм, в заоблачный зенит
Полетели мысли отдохнуть.

Стихотворение это под названием «Элегия» было впервые опубликовано в сборнике «Николай Рубцов» («Советская Россия», 1977 г.), в нём была «подредактирована» первая строфа: «Стукну по карману – не звенит. Стукну по другому – не слышать. В тихий свой таинственный зенит полетели мысли отдохнуть». Согласитесь, это слабее, расплывчатее по мысли». Видите, тут вспоминается и «заоблачный» и «безоблачный» зенит, вариантов, видимо, было много, так и коммунизм был делом неизвестным доселе. Авторы воспоминаний иногда точно не знают, где и когда было опубликовано это стихотворение Н.М.Рубцова, ну да простим им, мы то всё знаем точно.

Далее вашему вниманию предлагаются воспоминания Бориса Укачина, в части касающейся этого стихотворения Рубцова [7]. » Всем ясно, жить на скудную студенческую стипендию трудно, поэтому в нашем общежитии быстро стало популярным стихотворение Рубцова, где были такие строки:

Стукнул по карману – не звенит.
Стукнул по другому – не слышать.
В тихий свой, таинственный зенит
Полетели мысли отдохнуть.

Правда, выпуская в издательстве «Советский писатель» в 1967 году свою первую московскую книгу «Звезда полей», автор счёл нужным заменить и уточнить некоторые слова из последних двух строчек. И, мне думается, поступил совершенно верно: у него был тонкий вкус к слову». Ну вот, Укачин уже более точен в воспоминаниях. Но повторюсь, нас интересует последняя строфа и отношение к ней. Это связано с вопросом многовариантности лирики Рубцова и с тем как же печатать его произведения.

Итак, можно сказать, что существуют две основные версии с разночтениями стихотворения «Элегия» («Стукнул по карману...») напечатанные в первом самиздатском сборнике «Волны и скалы» 1962 года и в лучшем сборнике Николая Рубцова «Звезда полей» 1967 года. Вариант из «Звезды полей» более известен и он подавляюще часто воспроизводится как стихотворение «Элегия» во всех вновь выходящих сборниках поэта.

Видимо то, о чём мы будем писать далее, в первую очередь будет интересно историкам литературы и литературоведам. Но ради этих наблюдений и новых данных писалась статья. Считаем, что Ленинградский период творчества Н.М.Рубцова, как бы к нему не относиться, невозможно выкинуть из его творческой биографии. Да, поэт экспериментирует, иногда на грани фола. Некоторые считают подобное стихосложение вершиной творчества Рубцова. Кто-то считает недопустимым и даже вредным печатать стихи из сильно недооценённого сборника «Волны и скалы» в полном объёме, дескать, они не характерны и не достойны высокого горизонта Рубцова. Но можно поставить вопрос и по-другому, помня слова В.И.Белова, начертанные на сборнике, который Борис Тайгин подарил вологодскому критику Василию Оботурову «Требуется переиздать миллионным тиражом». Нам дорого всё написанное Н.М.Рубцовым, и его творческая биография не должна страдать из-за идей и мнений. Она должна быть полной и документальной. Другое дело, что комментарии к ней должны быть объективные и беспристрастные.

Предлагаю вернуться к сборнику «Волны и скалы» и внимательно пробежаться по его содержанию. В разделе седьмом «Хочу – хохочу» давайте пристально вчитаемся в стихотворение «МУМ (марш уходящей молодости)» на странице 43. Стихотворение датировано Рубцовым апрелем 1962 года.

МУМ

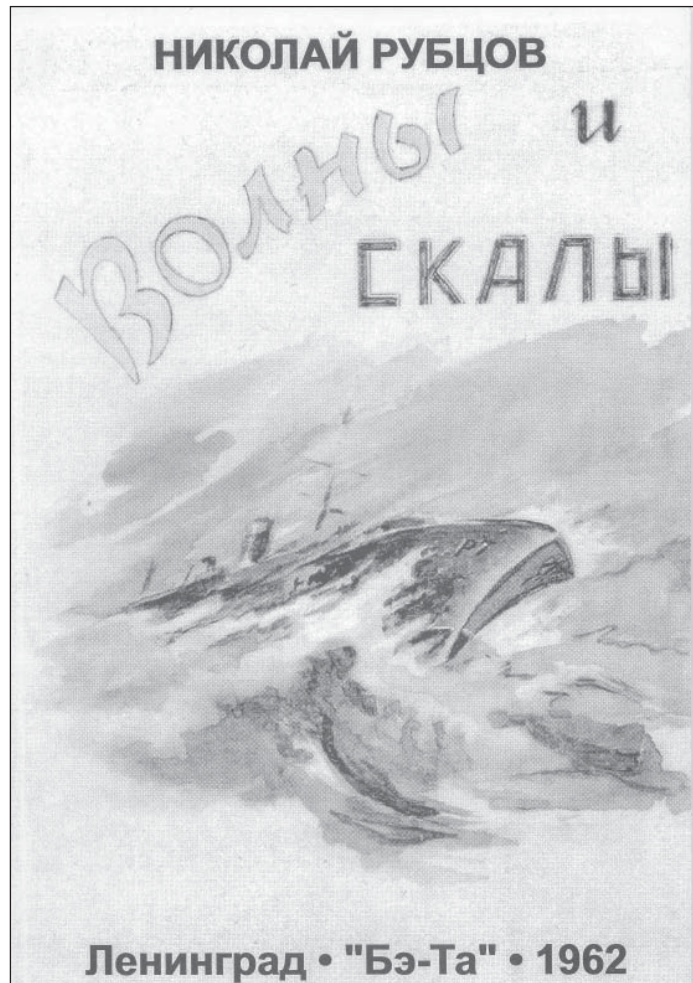
(марш уходящей молодости)

Стукнул по карману, – не звенит:
как воздух.
Стукнул по другому, – не слышать.
Как в первом...
В коммунизм – таинственный зенит –
как в космос,
полетели мысли отдыхать,
как птички.
Но очнись и выйду за порог,
как олух.
И пойду на ветер, на откос,
как бабка,
о печали пройденных дорог,
ак урка,
шелестеть остатками волос,
как фраер...
Память отбивается от рук,
как дура.
Молодость уходит из-под ног,
как бочка.
Солнышко описывает круг,
как сука, –
жизненный отсчитывает срок...
Как падла!

Ленинград, апрель, 1962

Это по сути та же «Элегия», но какой–то хулиганский вариант бесшабашного поэта, который следует читать в определённой аудитории, вслух и обязательно со сцены. Согласен, не всем он придётся по вкусу, некоторые посчитают его недостойным таланта Рубцова и не стоящим никакого разбора. Но зачем то же молодой поэт включил его в свой сборник. Вот как Б.И. Тайгин вспоминает о работе над книгой [8].

«В свете нашего замысла об издании его книжки стихов, Николай в скором времени обещал снова зайти ко мне. Я немедленно приступил к печатанию на машинке оставленной им подборки стихов, получая при этом настоящее эстетическое удовольствие, настолько стихи его были великолепны! В течение полутора месяцев (июнь и пол-июля) Николай бывал у меня довольно часто, имея с собой новые стихи, новые мысли и конкретные предложения по изданию его книжки. Вероятно, он периодически возвращался к доработке текстов ранее написанных им стихов, исправляя и передельвая в них отдельные строки и даже целые строфы, постоянно улучшая стих до классического образца... Была ли эта практика случайной, или он постоянно так работал, доводя свои стихи до совершенства, сказать не берусь, но в период печатания его книжки стихов, мне приходилось неоднократно перепечатывать заново уже готовые страницы, т.к. в тексты многих стихов Николай вносил, иногда в один и тот же стих неоднократно, разные изменения... Если изменения были значительны, менялась дата написания стиха!» На лицо очень серьёзная редакторская работа Тайгина и неподдельный интерес и ответственность Рубцова. Нечего лишнего, того чего бы Николай Рубцов не хотел видеть в сборнике, в нём просто появиться не могло. Почему же две версии одного и того же по сути стихотворения оказались в этом сборнике. Если отбор в «Волны и скалы» был ответственным, то, что это: небрежность или недосмотр поэта и издателя? Думается, нет. Считаю, этот шаг Николая Рубцова распутием. Вот она дорога экспериментов, авангарда, может быть полных залов поклонников, созвучные времени «оттепели» в политике стихотворные строки «МУМ». Можно двигаться по этой до-



*Обложка сборника «Волны и скалы». Рисунок Н. Рубцова.
На рисунке не боевой корабль Северного Флота,
а рыболовецкий траулер РТ-20 «Архангельск»
по памяти нарисованный поэтом.*

роге, конечно совершенствуя тематическое мастерство и далее успех на этом пути. Рубцов это понимает и пишет в предисловии к сборнику «Волны и скалы».

«В этот сборник вошли стихи очень разные. Весёлые, грустные, злые. С непосредственным выражением и с формалистическим, как говорится, уклоном. Последние – не считаю экспериментальными и не отказываюсь от них, ибо, насколько чувствую, получились они – живыми. Главное – что в основе стиха. Любая «игра» не во вред стихам, если она – от живого образа, а не от абстрактного желания «поиграть». Если она – как органическое художественное средство. Это понятно каждому, кто хоть немножко «рубит» в стихах» Но в том, же предисловии

«В жизни и поэзии – не переносу спокойно любую фальшь, если её почувствую.

Каждого искреннего поэта понимаю и принимаю в любом виде, даже в самом сумбурном.

По-настоящему люблю из поэтов-современников очень немногих.

Чёткость общественной позиции поэта считаю не обязательным, но важным и благотворным качеством. Этим качеством не обладает в полной мере, по-моему, ни один из современных молодых поэтов. Это – характерный знак времени. Пока что не чувствую этот знак и на себе». Размышления Рубцова интересны, но содержание сборника интересней не менее. «Вместо предисловия», в начале книги, Николай Рубцов печатает классический (пусть и первый) вариант «Элегии», а «МУМ», экспериментальный вариант, только в конце, в разделе «Хочу – хохочу» как бы уже не в серьёзной, не в актуальной для него позиции. Посвятив «Элегию» брату Алику Николай предначертал себе другой путь, выбранный сознательно – дорогу русской классической поэзии и в ней он видит своё будущее. Свою светлую печаль и свою любовь к родному краю, к России поэт выплеснет в стилистике великих русских поэтов. Рубцов уже тогда осознанно выбирает прямой и понятный поэтический удел Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, Бунина. Не знаю, насколько убеждает это наблюдение, но вот ещё один характерный штрих рубцовского перепутья. Рубцов заканчивает сборник «Волны и скалы» разделом «Вместо послесловия». В нём одно стихотворение «Лесной хуторок» (идиллия), а это тоже первый вариант стихотворения «Добрый Филя», которое считается наиболее рубцовским в раннем периоде творчества поэта. Расставаясь с читателями, Николай Рубцов расстается и с иллюзиями эстрадной поэзии, и заявляет о переходе к так знакомому и ценимому духовному содержанию своих стихов. Из стихотворения «МУМ» Николай Рубцов убирает слишком уж непоэтичную последнюю строфу.

...Стукнул по карману – не звенит:
Как воздух.
Стукнул по другому, – не слышать.
Как в первом...
За туманом – не видать зенит:
Как в море.
И невольно вспомнишь слово «мать» -
Как ругань! ...

Спасибо Борису Ивановичу Тайгину, что сохранил для истории литературы эту страничку. Её прислал автору материала С.А.Першин, краевед, исследователь, библиофил из города Дзержинска Горьковской области. Сам он получил её от Тайгина 5.07.2002 года. И если у Рубцова были такие верные друзья и остаются такие верные поклонники, то шансы разобраться в его поэтическом феномене сохраняются высокие.

Понимаю всю серьёзность следующего заявления. Получается, что вначале своей поэтической карьеры, при печатании сборника «Волны и скалы», Н.М. Рубцов уже применил тот принцип, по которому автор данного материала тоже хотел бы, чтобы публиковали стихи Рубцова – МНОГОВАРИАНТНОСТЬ. Это важнейшее качество произведений поэта, а значит надо печатать все возможные версии стихов Рубцова, как он сам уже делал это в «Волнах и скалах». Итак, публикацией в одном сборнике двух версий одного стихотворения Николай Рубцов как бы провозглашает свой манифест. Проститься с экспериментами в поэзии в тексте «МУМ», а в «Элегии» объявить основной принцип своих последующих стихов элегичность, светлую печаль о том, что было, и что есть в действительности, но могло бы быть по-иному.

Рубцов сам провозглашает принцип многовариантности своих стихов, и в сборнике «Волны и скалы», возможно в спорах с Тайгиным ему удалось его отстоять. Что касается следующих офици-



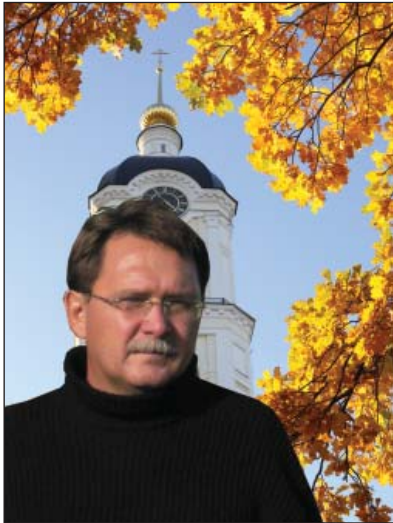
Редкая фотография Н.М.Рубцова, как нельзя лучше иллюстрирующая содержание стихотворения «Элегия». Рядом с Николаем Рубцовым за столиком поэт Игорь Ляпин.

альных сборников, то вряд ли редакторы прислушивались к мнению Рубцова, и многовариантность осталась только в черновиках (которых сохранилось относительно немного) и в архивных документах, которых с этой точки зрения ещё никто не изучал. Мною уже предлагалось печатать лучшие варианты и версии известных стихов поэта [9]. Они заслуживают того по чисто художественному принципу, а кроме того неизвестные версии стихов поэта поднимут интерес к его творческому наследию. Как известно, только чуть более четырёхсот стихотворений оставил нам великий поэт, а за счёт вариантов количество стихов намного увеличится. Конечно, это надо делать не во всех сборниках, а только для любителей, понимающих в стихотворном труде. Может быть не нужно делать этого постоянно, но отказываться от этой идеи многовариантности стихов Н.М.Рубцова, провозглашённой им самим, ни в коем случае нельзя.

- Примечания:* 1. ГАВО (Государственный архив Вологодской области), ф.51, оп.1, ед.фр.280, л.1.
2. ГАВО, ф. 51, оп. 1, едхр. 280, л. 3.
3. Л.Вересов «Страницы жизни и творчества поэта Н.М.Рубцова» Вологда 2013. Стр.291. Заявление директору Литфонда СССР М.Тараканову от 24 декабря 1970 года.
4. А.Ольшанский «Спокойных звёзд безбрежное мерцанье». «Парламенская газета» 01.01.2001.
5. В.Сафонов «Иметь большую цель». «Воспоминания о Рубцове» СЗКИ. Архангельск. 1983.
6. И.Костин «Россия, Русь! Храни себя, храни!». «Карелия» № 9, 25 января 2001.
7. Б.Укачин «Гори, сияй, звезда его полей! «Сибирские огни» № 2 1984.
8. Б.Тайгин «Ленинградский год Николая Рубцова» Воспоминания. «Н.М.Рубцов «Волны и скалы» Бэ – Та, СПб, 1998.
9. Н.Рубцов «Мачты». Вологда, 2014. Проект литературной реконструкции Леонида Вересова.

Берега памяти

Александр Ломтев



Александр Алексеевич Ломтев родился в 1956 году. Журналист, писатель, путешественник. Основатель и издатель общественно-политической газеты «Саров» и культурно-просветительской газеты «Саровская пустынь». Как журналист побывал во многих «горячих точках» – Чечне, Косове, Южной Осетии, Приднестровье и т.д. Публиковался в различных литературных, научно-популярных и общественно-политических журналах в России и за рубежом. Автор книг «Путешествие с ангелом» (финалист Бунинской премии в номинации «Открытие года»), «Ундервуд», «Пепел памяти», «Лента Мёбиуса», «365», «Финский дом». Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура», Международной премии им.А.Куприна, публицистических премий Союза журналистов России, «Золотой гонг», премии «Патриот России» и др. Автор четырёх персональных выставок графики. Живёт и работает в г.Саров Нижегородской обл.

Шарф Шульгина

С первыми мартовскими днями неприметный старик со снежно-белой бородкой выходил из четырёхэтажного дома № 1 по улице Фейгина на раскисшие улицы Владимира и бродил по сырому тротуару, совершенно уйдя в себя. В эти начальные весенние дни воспоминания особенно сильно волновали его душу.

Случайные прохожие сторонились, давая задумавшемуся старичку дорогу, и тут же забывали о нём. Ах, если бы они знали, что за старик повстречался сейчас на их пути! А ведь это был Василий Витальевич Шульгин – русский националист и монархист, яркий политический и общественный деятель, писатель, публицист, депутат Государственной думы трёх созывов, один из организаторов и идеологов Белого движения. Тот самый Шульгин, который в марте 1917 года принимал отречение последнего императора России Николая II...

– Поехали в Смоленск! Не пожалеешь! – подбивал меня интересный человек Игорь Макаров. Известный историк-балканист, журналист, писатель, сагитировавший меня однажды таким же вот образом на поездку в Косово как раз в тот момент, когда Косово отделялось от Сербии, и нам с трудом удалось выбраться оттуда; в девяностые Игорь слыл монархистом, но потом остыл к этому делу и увлёкся Балканами. – Поехали, там живёт брат соседа Василия Шульгина, и он обещал подарить мне его шарф.

Брат соседа... его шарф... монархист Шульгин... У меня всё это как-то не укладывалось в сознании, и Игорь нетерпеливо растолковывал:

– Ну, как же, Шульгин после отсидки во Владимирском центре поселился тут же, во Владимире. На Фейгина, один. А в соседнем подъезде жила семья Коншиных, и младший из братьев Коншиных как-то особенно подружился с Шульгиным, видимо, он чем-то понравился старику, да и помогал ему. И Шульгин подарил ему шарф. Сейчас он живёт в Смоленске...

– А ты-то с ним как познакомился?

– Да очень просто, поехал во Владимир искать материалы о Шульгине, нашёл дом, квартиру. Но там уже какая-то посторонняя женщина жила. Сказала, что ничего про Шульгина не знает. Тут какой-то старичок вышел из подъезда и сказал, что в соседнем подъезде живут люди, которые с Шульгиным общались.

Ну, я к ним пришёл, а они сидят, водку пьют... Вот и познакомился. Как раз в это время младший брат – Николай Сергеевич – приехал из Смоленска старшего навестить. Вот младшему – Нико-

лаю – Шульгин и подарил шарф. Мы поговорили, и он сказал: приезжай ко мне в Смоленск, я тебе шарф Шульгина отдам на память, у меня ещё другие его вещи есть. Я с ним недавно созванивался, он подтвердил про шарф и обещал рассказать кое-что... Поехали?

– Поедем, но только как-нибудь позже, сейчас не могу – дел очень много...

Бикфордов шнур

К роковому марту семнадцатого Василий Шульгин имел за плечами службу в армии, работу в сельском хозяйстве и зерновой торговле; он писал приключенческий роман и публицистические статьи, участвовал в усмирении еврейских погромов и был почётным мировым судьёй и земским гласным, депутатом трёх Дум и сторонником Петра Столыпина, был приговорён судом к тюремному заключению сроком на три месяца, от «отсидки» которого его спасла лишь депутатская неприкосновенность. Он ушёл добровольцем на Первую мировую и был ранен в атаке под Перемышлем.

Худощавый, несколько даже интеллигентски-субтильный, он не выглядел жёстким человеком. Однако не зря думские противники прозвали его «Очковая змея», а Пуришкевич написал на него эпиграмму: *«Твой голос тих, и вид твой робок, но чёрт сидит в тебе, Шульгин. Бикфордов шнур ты тех коробок, где заключён пироксилин».*

Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно он отправился с лидером партии «Союз 17 октября» Гучковым в Псков, на переговоры с Николаем II. Шульгин искренне считал выходом из ситуации конституционную монархию во главе с наследником Алексеем при регентстве брата царя – великого князя Михаила Александровича. Ни Гучков, ни Шульгин не представляли тогда, что поджигают бикфордов шнур, что Россия вот-вот взорвётся...

Второго марта Шульгин и Гучков, четыре дня не мытые и не бритые (как вспоминал позже сам Шульгин, *«с лицом каторжанина, выпущенного из только что сожжённых тюрем»*), явились к царю. Их вид вызвал гнев свиты, из-за чего между Шульгиным и ортодоксальными монархистами возникла вражда, длившаяся долгие годы. Графиня Брасова написала, что Шульгин *«нарочно не брился ...и ...надел самый грязный пиджак... когда ехал к Царю, чтобы резче подчеркнуть своё издевательство над ним».*

Однако Шульгину с Гучковым ни в чём убеждать Николая не пришлось. Решение об отречении было уже принято. Даже привезённый ими проект акта об отречении не понадобился. Император сообщил, что у него есть его собственная редакция, которую он подписал и передал представителям Думы.

Выйдя из вагона, где проходили переговоры, Гучков патетически крикнул в толпу: *«Русские люди, обнажите головы, перекреститесь, помолитесь Богу... Государь император ради спасения России снял с себя своё царское служение. Россия вступает на новый путь!»*

Брат Михаил, в пользу которого отрёкся император, понимая, что опереться ему совершенно не на кого, в свою очередь, тоже отречётся. Шульгин и тут примет участие...

В Смоленск мы тогда так и не собрались. То одно, то другое – жизнь катилась колесом, дни мелькали и мелькали, унося нас из прошлого в будущее, и всё казалось – успеется.

Самое обидное то, что несколько лет спустя через Смоленск мне довелось проехать по пути в Белоруссию, но я не вспомнил ни о Шульгине, ни о его шарфе; Игорь вновь путешествовал по своим Балканам, и некому было мне напомнить...

А когда подкатила дата – 140 лет со дня рождения Василия Шульгина и мы спохватились, оказалось, что Николай Сергеевич Коншин скончался.

– Нужно всё-таки ехать во Владимир, вдруг кто-то что-то ещё помнит, может, старшего брата найдём, и он что-то про шарф знает, – Игорь звонил мне едва ли не через день. И мы, позвав с собой истового саровского писателя-краеведа Ивана Ситникова, поехали.

«Байгуши»

Естественно, первым делом отправились искать могилу Шульгина. Сельское кладбище Байгуши, где похоронен последний истовый монархист России, расположилось на пологом склоне в десятке километрах от Владимира, и нашли мы его без труда. А вот сама могила... Если не знать хотя бы

примерно о её местоположении, можно долго плутать в поисках среди заброшенных захоронений. Забора вокруг кладбища нет, кругом мусор и запустенье, покосившиеся кресты и надгробья... Однако перед отъездом я побродил по интернету и примерно представлял себе, как искать.

– Не найдём, – переживал Макаров, – как тут найти, тут целый день искать надо...

Однако вот мы у чёрного каменного креста с надписью «Василий Витальевич Шульгин. 13/1 1878 – 15/2 1976».

Сказать, что могилу никто не навещает, нельзя; искусственные цветы, икона с подложенной под ней надписью «От киевлян» в файл-пакете, подметено... И всё же общее впечатление от кладбища остаётся довольно тягостное.

На обратной стороне креста внизу, у самого основания, инициалы – «Н.К.» и «И.Г.». «И.Г.» – понятно, Илья Глазунов, художник не раз навещал Шульгина во Владимире, а «Н.К.»?

– Это Николай Коншин, конечно, – уверенно заключил Игорь.

Постояли над могилой, помолчали. Говорят, хоронило Василия Викторовича всего человек десять. Если не считать наблюдавших из «газика», стоящего неподалёку, кагэбешников...

– Смотрите-ка, – Иван Ситников сделал два шага в сторону и остановился у соседней могилы. – Какое символичное соседство!

На ржавой пирамидке со звездой на макушке фото красноармейца в будёновке.

Да уж, в этом соседстве, можно сказать, вся наша история за последние сто лет. Ярый монархист Василий Витальевич Шульгин и советский красноармеец Алексей Григорьевич Воробьёв – антагонисты, лютые враги, каждый хотел своей России, а упокоились рядом, на одном сельском кладбище. Время если и не примирило их, то уравнило.

Владимирский централ

С кладбища отправились во Владимирский централ. Вроде бы был там неплохой музей, где мы надеялись получить кой-какую информацию. Но дальше КПП тюрьмы прапорщица-контрактница нас не пустила:

– Музей закрыт!

– На ремонт?

– Нет, совсем закрыт...

Тюрьма, в которой сидел Василий Шульгин, сегодня выглядит, естественно, совсем не так, какой была в то время. Построенная по указу Екатерины II ещё в 1783 году, она после революции 1905 года получила ставшее общеизвестным название Владимирский централ. В двадцатых годах прошлого века играла роль губернского специзолятора для «политзеков», а в 1948 вошла в систему особых лагерей и тюрем для содержания особо опасных государственных преступников – шпионов, диверсантов, троцкистов, меньшевиков, эсеров и белоэмигрантов.

Сейчас на весёленьком голубом фасаде административного корпуса висит красная доска с надписью «Федеральное казённое учреждение Тюрьма №2».

Шульгин отсидел здесь ни много ни мало – двенадцать лет из присуждённых двадцати пяти. «Соседи» у него, надо сказать, были люди хоть и разношёрстные, но не простые: философ Даниил Андреев и князь Долгоруков, большевик Таиров и сионист Мордехай Дубин, генералы вермахта и японские самураи... За ворота Владимирского централа он вышел по амнистии в 1956 году.

Сначала его вместе с женой поселили в доме престарелых в Гороховце, но позже выделили однокомнатную квартиру во Владимире.

Побродив вокруг обшарпанных кирпичных стен узилища, мы отправились искать улицу Фейгина.

– Никому ничего не надо! – негодуя, бурчал Макаров. – Тут такие люди сидели! И вот – закрыли музей! Кому мешал, почему, зачем скрывать информацию?! Я, кстати, был в Сербии в Дубровнике, где жил Шульгин, но и там ничего не осталось, связанного с ним, всё уничтожено...

Улица Фейгина, 1

Обычную четырёхэтажную хрущёвку мы нашли без труда. И сразу же увидели на торце здания памятную доску с белым барельефом по тёмному мрамору: «В этом доме с 1960 по 1976 гг. жил

выдающийся общественный и политический деятель Василий Витальевич Шульгин». И чуть ниже его факсимиле.

Невольно подумалось: к семьдесят шестому мне исполнилось двадцать лет, и я уже увлекался журналистикой. Мог бы приехать сюда и... И – что? О чём бы я, советский «девственный» в политическом смысле паренёк, стал бы говорить с этим «врагом Советской власти»? Сейчас-то я знал, о чём бы его спросить...

На подъездной двери кодовый замок. Подёргали ручку – заперто. Потыкали в кнопки – никто не ответил. Заглянули в окна (квартира Шульгина на первом этаже) – никого.

Не удалось найти и бывших соседей Шульгина. Ниточка оборвалась.

Поспрашивали прохожих. Шульгин? А кто это?..

Мы брели по владимирским застроенным хрущёвками и сталинками улочкам, и Игорь вспоминал, о чём ему рассказывал Николай Коншин.

– Из его рассказов я понял, что Шульгин вообще не был забыт современниками. Другое дело, что говорить, а тем более писать об этом было не принято. Но к «врагу советской власти» приезжали люди разного толка и настроений. Посещали его Илья Глазунов и Мстислав Растропович (говорят, Растропович стоял перед ним на коленях и целовал его руки), Лев Никулин – тот самый, что написал потом книгу, на основе которой сняли фильм «Операция «Трест». И хотя фильм этот Шульгин назвал насквозь лживым, суть дела была в нём передана верно: советские спецслужбы «переиграли» Шульгина, подсунав ему несуществующие антисоветские организации во время его нелегального путешествия по СССР. После этого Шульгин «ушёл в отставку», практически перестав заниматься политикой...

Особенно много желающих познакомиться с живой легендой стало после 1965 года, когда состоялась премьера документально-постановочного фильма «Перед судом истории», в котором Шульгин «играл» самого себя. Главную цель фильма снимавший его режиссёр Ф. Эрмлер сформулировал так: «Я хочу, чтобы он сказал всем: я проиграл». Шульгин не сказал; мало того, результат получился столь двусмысленным, что, «покрутив» фильм в Москве и Ленинграде всего два или три дня, его с проката сняли. Несгибаемый монархист на экране выглядел явно сильнее своего оппонента – советского историка.



Шульгин – депутат Государственной думы

Вещие сны

Сегодня о нём известно всё. Или почти всё. Однако одна сторона его натуры, затенённая его бурной политической деятельностью, осталась как бы «за скобками».

Илья Глазунов, навещавший Шульгина после отсидки в Центральном тюремном участке, писал, что, по его сведениям, с 1966 года до самой своей кончины Шульгин вёл дневник под названием «Мистика». Рукопись эту Николай Коншин сохранил, а позже передал художнику, который опубликовал её часть в 2002 году в журнале «Наш современник».

Шульгин действительно был своего рода мистиком, романтиком непознанного; он живо интересовался загадочными явлениями человеческой психики, собирал «антологию таинственных случаев», записывал всё необычное или странное, что происходило с ним или с его родными и знакомы-

ми, был знаком с оккультистами Г. Гурджиевым, А. Сакко, С. Тухолкой и, говорят, до конца дней увлекался спиритизмом.

После освобождения из Владимирского централа Шульгин завёл привычку – записывать содержание своих снов. Говорят, тетрадей с записями его снов скопилось несколько чемоданов.

Впрочем, странные сны приходили к Шульгину задолго до «советского периода»; вот только известно об этом немного. Да и, видимо, бурная и опасная деятельность не давала ему времени на прислушивание к снам и их расшифровку. А вот во время «отсидки» во Владимирском центре времени было более чем достаточно, и он фиксировал в памяти всё необычное.

Например, рассказывая об одном из антисоветских деятелей Троицком, о котором его спросили на допросе, Шульгин писал: *«Если мне дали двадцать пять лет, то ему надо было дать сорок, а он получил двадцать. Но он умер раньше срока»*. И ещё: *«Когда об этом Троицком и об очной ставке с ним шла речь, мне приснился вещий сон. Из моего рукава вылезла змея до половины, затем она сломалась»*. Шульгин не мог знать, что «змея» действительно «сломалась» у Троицкого, осуждённого в июле 1950 года, в сентябре этого же года расстреляли...

В ночь на пятое марта 1953 года заключённому Шульгину приснился сон: *«Пал великолепный конь, пал на задние ноги, опираясь передними о землю, которую он залил кровью»*. Вначале он решил, что сон связан с годовщиной смерти Александра II, и только потом узнал, что в этот день умер Сталин.

К снам Шульгин относился серьёзно, можно сказать, трепетно; анализировал их и пытался вывить зашифрованные в них послания. И не важно, касалось ли это серьёзной политики или банального быта. Он мог подробно описать сон о Ленине и Сталине, но не забывал и сна о... твороге: *«Сны, декабрь 1968. Не помню числа. Марийка несла куда-то большую тарелку с горкой чего-то белого. Это был творог, ею самой приготовленный. При жизни она иногда, когда была еще здорова, бедняжка, любила с этим возиться»*.

Во сне я увидел, что полная тарелка для нее слишком тяжела, и она творог уронит. Я успел подскочить и выхватить у нее тарелку, и ничего не рассыпалось. И она была этому рада.

Этот с виду пустяковый сон имеет свой смысл. Сейчас Дом творчества в Голицыне дает нам слишком много творога. Этот сон предупредительный. Не объедаться творогом, это мне вредно...»

И тут же сон совсем другого рода: *«Мне поручили составить письмо-меморандум для одной державы. Я это сделал. И тогда ко мне пришел один наглец из какой-то «разведки». Сначала хотел письмо выкрасть, а потом отнять силой. Хотя я не боксер, но, вырвав у него письмо, которое он захватил, засунул его в карман и решил колотить его в подбородок обоими кулаками, пока он не упадет. В это время появилась Марийка, очень встревоженная. Закричала:*

– Это твое письмо? Ты писал?

– Я. Я написал. Но поскольку оно написано для одной державы, оно уже ей принадлежит!

Проснулся. О какой державе я имел речь? О Советской державе. Написано оно для Советов, но не по-советски, а по-моему. Другими словами, это меморандум о том, как надо выйти из тупикового безысходного на вид положения».

А вот сон о Хрущеве: *«Где-то... может быть, в Белграде... Как будто в подворотне, но скорей всего, у витрины, я увидел Никиту Сергеевичу Хрущева, скончавшегося в прошлом году. Я его видел во сне и раньше, но те сны были невразумительны. А сегодняшний сон ясен. Не по смыслу, а потому, что он запечатлелся в моей памяти точно»*.

Встретившись у витрины, мы пошли с ним рядом. Он спросил:

– Скоро выборы. Вы будете выбираться?

– Нет. Зачем? Я вот просидел все пять лет, а не сказал ни слова.

– А что же вы будете делать?

– Буду писать.

– Пишите. Но помните одно. Если вы хотите, чтобы вас напечатали, то все дело в сионистах. Хвалите их, хвалите в каждой строчке – и все напечатают».

Впрочем, довольно подробно о снах этого периода рассказал писатель Николай Лисовой, бывший хорошим знакомым Шульгина. Лисовой рассказывает и ещё одну странную историю, связанную со снами и с Шульгиным: *«Года через три после смерти он (Шульгин – авт.) приснился моей сестре С. Н. Безбоковой и сказал:*

– *Передайте Николаю Николаевичу (пишущему настоящие строки (т.е. – Лисовому – авт.), что у этой книги конца нет... Что он хотел сказать?»*

Сотрудники музея «Владимирский централ» утверждали (есть об этом упоминание в одном из федеральных СМИ), что имеется двести тетрадей с описанием снов Шульгина и приводят в пример вещий сон, в котором императрица предсказала ему скорое освобождение...

Думаю, если когда-нибудь будут собраны все мистические озарения Василия Шульгина, описания его снов и предсказаний (а он предсказывал, что СССР рано или поздно падёт), и изданы книгой, издание это не залежится на полках книжных магазинов.

В паутине противоречий

Странно всё-таки это – сплошные противоречия в судьбе: убеждённый, искренний монархист уговаривает императора отречься от престола, ярый националист, беззаветно любящий Россию, надеялся на освобождение от коммунистов. Ненавидя советскую власть, он считал, что страна должна пройти этот путь до конца, как через огонь, который очистит её.

Наверное, не случайно освобождение ему во сне предсказала именно императрица, ведь всю жизнь Шульгина не оставляли мысли об оценке своего участия в отречении Николая II.

Кем он был – участником или соучастником?

Очевидно, он чувствовал мистическую связь с последним русским монархом: *«С Царем и с Царицей моя жизнь будет связана до последних дней моих, хотя они где-то в ином мире, а я продолжаю жить – в этом. И эта связь не уменьшается с течением времени. Наоборот, она растет с каждым годом. И сейчас, в 1966 году, эта связанность как будто достигла своего предела... Каждый человек в бывшей России, если подумает о последнем русском Царе Николае II, непременно, припомнит и меня, Шульгина. И обратно. Если кто знакомится со мной, то неизбежно в его уме появится тень монарха, который вручил мне отречение от престола 50 лет тому назад».*

Конечно, он находил себе оправдание: *«Да, я принял отречение для того, чтобы Царя не убили, как Павла I, Петра III, Александра II-го... Но Николая II все же убили! И потому, и потому я осужден: Мне не удалось спасти Царя, Царицу, их детей и родственников. Не удалось! Точно я завернут в свиток из колючей проволоки, которая ранит меня при каждом к ней прикосновении».*

И признавал: *«Мы запутались в паутине, сотканной из трагических противоречий нашего века...»*

* * *

На обратном пути мы остановились в сосновом перелеске, что бежал вдоль трассы Владимир–Муром. Ситников достал бутылку перцовки. Разлил по стаканчикам. Помолчал, потом произнёс:

– Упокой, Господи, душу раба Твоего Василия Витальевича Шульгина.

Выпили. Потом ехали и спорили о роли личности в истории.

А что тут спорить: чтобы сыграть роль в истории, нужно быть личностью! Шульгин при всех его противоречиях – личность!

– А как же шарф? – вспомнил Ситников.

– Буду звонить в Смоленск, – упрямится Игорь, – а вдруг родственники в курсе! Может, он ещё найдётся, шарф. Это же не просто шарф, а шарф Шульгина! Не может он просто так взять и пропасть...



Череповецкие берега

Николай Кузнецов



Родился 16 мая 1977 года в Череповце. Окончил ЧГУ по специальности: «Филология. Русский язык и литература». Редактор журнала «Северная окраина», редактор альманаха «Люди и дела». Член Совета ЧГОО «Череповецкое литературное объединение». Член Вологодского союза писателей-краеведов. Автор поэтических сборников: «33 стихотворения», «Муки творчества», «Новое», «Пирог с грибами», «Упала звезда», «Облака», «Этюды», «Снежинки смеются», «Зимнее солнце», «День выдался странный», «Летящие», «Яблоко и Луна».

О ПЕГАСЕ

Конь крылатый, как водится издавна,
Поэтическим транспортом стал.
И везёт он поэтов неистово
Прямоком на золотой пьедестал...
Но не всё так приятно и здорово,
Как хотелось нам думать о нём.
Расскажу я, немного и коротко,
Что не так с этим славным конём.
Сын зловещей Медузы Горгоны,
Не любил никого, отродясь,
Даже всадника Беллерофонта
Скинул с неба в какую-то грязь.
Своевольный, свободолобивый,
Неподвластен ничьей он руке.
И гоняться за ним терпеливо –
Значит, время терять вдалеке.
Стал созвездием новым, при этом,
И с огнём не сыскать его днём.
Так что думайте, братцы поэты,
Осторожнее с этим конём!

* * *

Дождь и окно говорили друг с другом.
Как и положено, всё о погоде.
«Здесь – ерунда, то ли дело на юге,
Там, где жирафы и страусы бродят.

Время дождливое мерят сезонами,
Есть где развлечься небесному страннику!
Здесь же ругают, прикрывшись резонами,
Что, мол, не ждали прихода заранее».

Вести от неба, дождём принесённые,
На запотевшем стекле простучали,
После упав к переплёту оконному.
Тихо окно отвечало в печали:

«Так у людей, к сожалению, водится
И не зависит от времени года:
Очень легко оправданье находится –
Вечно во всём виновата погода».

* * *

Звёзды падают с небес,
Где сплошная пустота.
Попадают звёзды в лес,
Где сплошная темнота.

И такая канитель
Тянется из года в год...
В общем, всё, как у людей,
Только всё наоборот.

БЛЕСК ГЛАЗ

Хотите на вашу речь
Увидеть в ответ блеск глаз?
Попробуйте же увлечь
Вы чем-то людей хоть раз.

И словно зажглась звезда,
Невиданная комета!
Глаза у людей всегда
Горят отражённым светом.

* * *

Пыль на дороге, и на окне –
Это совсем не одно и то же.
Первой вначале почти что нет –
Пыль на дороге движенье множит.

Ну, а вторая – наоборот,
Признак безделья и лени счастьеце.
Там только муха одна пройдёт,
Если, конечно, захочет пачкаться.

* * *

Наш мир един, и сразу не понять:
Земной молочный, иль небесный Млечный?
Ночные звёзды среди бела дня
Толпятся незабудками у речки.

ЗЕМНАЯ ЗВЕЗДА

Холодных звёзд искристый рой
Нам светит по ночам...
А на земле звезду, порой,
Никто не замечал?

Лучисто светится она
Не в небесах, а здесь.
Ни днём, ни ночью не видна,
Но знаю, точно есть!

Она незрима, говорят,
Однако, всё равно,
Земной звезды весёлый взгляд
Глядит в твоё окно!

ЛУНА

В небе над нами сияет Луна
И проповедует крышам.
Многое видит ночами она,
Только немногое слышит.

С неба высокого чётко видна
Тайна земного пейзажа.
Многое видит оттуда Луна,
Только немногое скажет.

Будьте такую луною, друзья,
Гордо сияйте, смотрите,
Только о том, чего видеть нельзя,
Не говорите.

* * *

Небо высокое скрыто за тучами.
(Тучи, естественно, совесть не мучает...)
Снежит...
Прохожий выходит на улицу.
Смотрит на небо, невесело хмурится.

И невдомёк ему, страннику вечному,
Низкое небо – оно человечнее.
Падает снег, будто там ему тесно, и
Соединяет земное, небесное...

* * *

Осень первые шаги
Делает по лужам.
Хоть шаги её легки
И до зимней стужи

Ещё долго, но уже,
Зову сердца внемля,
Лист в последнем вираже
Падает на землю.

Покрывается земля
Жёлтыми листьями,
Будто бы ковёр стеля
Перед холодами.

И по этому ковру
Осень тихо вышла.
Потому её шаги
До сих пор неслышны.

ЗИМНИЙ ДОЖДЬ

Среди холодных снегов зимы
Радуют нас дожди...
Только дождя не дождёмся мы
С неба...
А ты не жди!

Снег на ладошки – и в воздух!
С небес
Дождь из снежинок прольётся.
Весело смотрит на это лес,
И улыбается солнце!

ЯБЛОКО И ЛУНА

Светят над головою
Яблоко и Луна.
В небе их только двое...
Так и цена одна?

Яблока век не долог,
С ветки падёт оно.
Тёмный небесный полог –
Не для него окно.

Гимн урожаю спело, и
Время зовёт на суд...
Яблоки недоспелые
В небе Луну пасут.

ВЕСНА В ФЕВРАЛЕ

Сгорбились люди что-то,
Видимо, ждут весны...
С пятницы на субботу
Странные видят сны.
Видят: весна в дороге!
Видят: весна идёт!
Хоть и не тает строгий,
Реку покрывший лёд,
Но наполняет душу
Песен весенних звон,
И из сердец наружу
В марте стремится он.
И непонятно даже,
Что растопило лёд:
Солнечный луч отважный
Или сердец полёт?

* * *

За рекой виднеются туманы.
Что там происходит вдалеке?
Кажется, что Солнце утром рано
Новый день ведёт на поводке.

Новый день стремится на свободу,
Но крепка держащая рука...
Только с пламенеющим восходом
Спустят бедолагу с поводка.



Череповецкие берега

Игорь Ваганов

Игорь Владимирович Ваганов родился 6 декабря 1960 года в городе Кизеле Пермской области. В 1984 году окончил Ярославский медицинский институт. Жил и работал в Кадуе. В настоящее время работает врачом Череповецкой станции скорой медицинской помощи. Публикуется с 1982 года на страницах районных, городских, областных («Вологодский лад», «Вологодская литература», «Пятницкий бульвар» и др.) и общероссийских (газета «Правда-5», журналы «Посев», «НЛО», «Голос эпохи») периодических изданий. Действительный член Вологодского союза писателей-краеведов. Второе место в городском конкурсе Святочного рассказа в номинации «Чудеса Рождества» – рассказ «Парашютист», награждён Благодарственным письмом мэра города Череповца Ю.А. Кузина «За вклад в развитие краеведения Вологодской области». Автор девяти книг – проза, публицистика, краеведение.



«Парашютист»

Рассказ

В свои 27 лет Геннадий Углов имел репутацию пьяницы и тунеядца! Трёхкомнатная квартира на десятом этаже десятиэтажного дома, в которой он проживал вместе с мамой-пенсионеркой, пользовалась у соседней дурной славой. Здесь нередко до полуночи (особенно когда мамы дома не было) пели и плясали, и веселие это не ограничивалось только территорией квартиры, а выплескивалось на лестничную площадку и во двор – вплоть до вмешательства полиции. Мать, несмотря на свои шестьдесят с хвостиком, работала бухгалтером в домоуправлении, чтобы заплатить за коммунальные услуги своей просторной квартиры, а также содержать себя и сына. А Гена, после демобилизации из армии, всё ещё «искал себя», по собственному выражению – интуитивно нащупывал жизненную стезю. Он, то устраивался на какие-то курсы, то работал непродолжительное время где-нибудь слесарем или дворником – и частенько выпивал. Предпочитал пиво или водку, или водку с пивом. До наркотиков или суррогатов алкоголя дело пока не доходило. После длительных запоев с неизменными прогулками возникали конфликты на работе, Гена писал заявление по собственному желанию и увольнялся тихо-мирно, без порочащих записей в трудовой книжке.

В пьяном виде Гена становился раздражительным, конфликтным, легко вступал в ссоры с незнакомыми людьми, случайными собутыльниками и приятелями, и потому был неоднократно бит. Сотрудники подстанции «скорой помощи», расположенной неподалёку, оказывали ему медицинскую помощь и увозили в больницу...

Несколько раз Гена совершал попытки самоубийства. Однажды, будучи пьяным, он почувствовал стойкое отвращение к жизни, наглотался снотворных таблеток... но бдительная мама вовремя заметила его состояние, заподозрила неладное и, обнаружив упаковки от лекарства, вызвала «скорую». Приехала бригада в составе врача Игоря Николаевича и фельдшера Гали, промыли пациенту желудок и увезли в больницу продолжать лечение. После такой выходки Гену поставили на учет в психодиспансер, и отныне всякая престижная работа для него была заказана! В пьяном угаре он дважды пытался перерезать вены на левой руке, но, то ли ножик попался тупой, то ли в последний момент организм как-то внутренне сопротивлялся попыткам самоуничтожения – во всяком случае, раны получались неглубокими, без повреждения крупных сосудов и нервов. Оба раза к Углову приезжали молодые фельдшера, перевязывали руку и доставляли в травмпункт.

В ночь на Рождество врач «скорой помощи» Игорь Николаевич находился на своём рабочем месте. В течение дня его бригаду направляли к разнообразным пациентам. С наступлением вечера вызова пошли на убыль, и перед полуночью ему удалось даже присесть на кухне перед телевизором. Прихлебывая из стакана чай, Игорь Николаевич равнодушно глазел на экран, на очередную праздничную передачу, где всевозможные «звезды» кино и эстрады, разряженные как попугаи, долго кривлялись и паясничали, и, наконец, преувеличенно радостными голосами заорали – «С Рождеством!» Всё это действие никак не соответствовало серьёзности и торжественности данного события. Игорь Николаевич охотно бы переключился на другой канал, но телевизор смотрели и другие сотрудники, которых эта передача устраивала.

Игорь Николаевич встал, намереваясь пройти в комнату отдыха, и в это время его бригаду объявили на вызов – причем, срочный вызов! Спустившись на первый этаж, он увидел у окна диспетчера фельдшера Галю, невысокого роста молодую женщину, с картой вызова в руке.

– Парашютист, – сообщила она. – Реанимация занята – придётся ехать нам.

Парашютистами на «скорой помощи» называли пациентов, которые по ряду причин падали с различной высоты – чаще всего из окон домов. Эти вызова предусматривали тяжёлые травмы вплоть до летального исхода.

Уже в машине Игорь Николаевич обратил внимание на фамилию и адрес пострадавшего.

– Гена Углов? – удивился он. – Допрыгался.

Место вызова было недалеко – добрались за две минуты.

Вот и десятиэтажный дом. Внизу, на тонком слое свежевыпавшего снега лежит, постанывая, молодой худощавый мужчина. Так и есть – Гена Углов! Рядом суетится высокий сутулый парень.

– Сидели, выпивали. Рождество отмечали! – объяснял он медработникам. – Ушёл Генка на лоджию покурить. Открыл окошко настежь. А потом взял и перешагнул через перила – я и охнуть не успел.

«Удивительно, как жив остался! – подумал врач. – Ведь с десятого этажа свалился! Сугробов-то у дома практически нет, зима ныне малоснежная!»

«Парашютиста» уложили на носилки и погрузили в салон «скорой».

При осмотре Игорь Николаевич выяснил, что у пациента перелом правого плеча и правой пяточной кости, переломы двух или трёх ребер справа, перелом нижней челюсти. Не исключается ушиб мозга и повреждения внутренних органов. Вероятно, пациент упал на ноги мягко, пружинящее (как настоящий парашютист) завалился на бок и несколько раз (судя по примятому снегу) перекатился на снегу. Всё эти движения способствовали уменьшению силы удара, в результате чего Углов остался жив. Состояние было тяжелое, Углов находился в шоке, но артериальное давление всё еще определялось.

В процессе оказания помощи Гена мычал от боли, но ничего членораздельно сказать не мог, отчасти в связи с шоком, отчасти из-за перелома челюсти.

Пострадавшего повезли быстро, но аккуратно – плавно притормаживали на поворотах, уменьшив скорость, медленно перебирались через трамвайные пути. Транспорта на улицах в эту ночь было немного, на перекрестках не останавливались. Диспетчер предварительно сообщила в дежурную больницу, и в приемном покое их уже ждали.

– Тяжелый больной! – сказал Игорь Николаевич, когда бригада возвращалась на подстанцию – Повезло, что живым доставили.

Через три дня, на следующей смене, Игорь Николаевич позвонил своему знакомому реаниматологу Титову, который в прошлую смену принимал у него Углова, и поинтересовался судьбой пострадавшего.

– Были разрывы внутренних органов, но операция прошла успешно. Состояние тяжёлое, но стабильное, – сообщил Титов. – А ушиб мозга и переломы – вопрос времени. Скорее всего, выкарабкается.

«Но на всю жизнь останется инвалидом!» – подумал Игорь Николаевич.

В начале марта бригаду Игоря Николаевича послали на вызов... к Геннадию Углову.

– Надо же – оклемался Гена! – сказала фельдшер Галя, когда медработники поднимались на лифте.

Дверь была не заперта. Гена встретил медиков у порога, и прихрамывая и опираясь на легкую трость, провел их в зал. Здесь было чисто. В красном углу висело несколько икон, которых раньше не было. Горела лампадка.

Гена уселся на диван, медработникам предложил стулья.

– Сердце болит, – пожаловался он. – Уже неделю ноет. И воздуху временами не хватает.

После подробного осмотра и снятия кардиограммы Игорь Николаевич окончательно определился с диагнозом.

– С сердцем все в порядке, – успокоил он Гену. – Скорее всего, после всего пережитого у вас стали пошаливать нервы.

– И что делать?

– Можно обратиться к неврологу, в психоневрологический диспансер. Выпишут таблетки, капельки. А можно сделать по-другому, – Игорь Николаевич выразительно посмотрел на иконы. – Учитывая вашу веру в Бога, лучше помолиться, к батюшке на исповедь сходить.

– В психушку я, конечно, не пойду! – решил Гена. – Только в храм.

– А как тогда, в январе, всё как получилось? – поинтересовался врач.

– Как обычно! Решил на пьяную голову, что жить не стоит, да и перемахнул через перила. Легко летел, словно пёрышко. Как приземлился – не помню... Только боль, дикая боль везде, во всем теле. И слабость появилась. Жить захотелось – спасу нет. Богу впервые взмолился: «Спаси и сохрани! Осознал! Всё по-другому будет, если жив останусь!» И вот результат – живой, хожу помаленьку, здоровье потихоньку поправляется.

Гена говорил спокойным ровным голосом, очень уверенно, без тех истерических ноток, которые раньше присутствовали в его речи. И вообще, до этой рождественской ночи Углов по своему характеру напоминал скорее взбалмошного инфантильного подростка, нежели зрелого мужчину. Падение с десятого этажа, когда ему пришлось впервые по-настоящему взглянуть в глаза смерти, пройти через физические и психические страдания и, наконец, чудесное выздоровление (а по-другому это не назовёшь) резко повлияли на этого человека, заставили по-новому взглянуть на жизнь, разом повзрослеть.

– Чисто у вас здесь теперь. И тихо, – заметила фельдшер.

– От спиртного просто отвернуло. Даже запаха не переношу! – сообщил Гена. – Вся эта пьянка ни к чему. Искус дьявольский. Друзья поначалу приходили с выпивкой, но я всех отвадил. Я теперь вместо винного отдела в церковь хожу. И книги читать начал.

С той поры визиты медработников в эту квартиру прекратились. Через полгода, побывав на вызове у соседей Углова, Игорь Николаевич узнал от них, что Гена полностью поправился, устроился на работу, а месяц назад женился.

Дожить до старости

Рассказ

В этот день Павел Степанович, как обычно, проснулся очень рано – на соседней улице только-только загрохотали, зашумели первые трамваи.

В маленькой двухкомнатной квартире уютно и тепло: начался отопительный сезон, и горячие батареи изгнали недавнюю сырость и прохладу.

Павел Степанович присел на диване – он любил засыпать вечером перед телевизором, и стал не спеша одеваться. В соседней комнате, за плотно прикрытой дверью, спала жена, Лидия Сергеевна, инвалид второй группы. Она проснется примерно через час.

Умывшись, Павел Степанович прошёл на кухню, зажёл конфорку на газовой плите и поставил разогреваться чайник.

За окном моросил дождь, колыхались на ветру мокрые ветки деревьев. Небо сплошь заволочило серовато-сизыми тучами. Временами, крепко сжимая в руках зонтики, шлёпали по лужам одинокие прохожие.

Ещё немного и в подъезде начнут хлопнуть дверями уходящие на работу жильцы, загомонят ребятишки – кому в садик, кому в школу. А ему, пенсионеру, спешить некуда, да и не за чем: сорокалетним трудовым стажем, как у Павла Степановича, не каждый может похвастаться. И пенсию, по его мнению, дали хорошую, не поскупились: он всю жизнь на стройке оттрубил, заработки высокие были. Но здоровье, конечно, подорвано – ничего даром не даётся и бесследно не проходит! Одышка при ходьбе беспокоит, суставы скрипят, ноги побаливают. Да еще и голова туго соображает! Врач в поликлинике назвал это мудреным словом энцефалопатия, прописал лекарства для улучшения ума, которое он, конечно, принимает, но заметных успехов от лечения не видно. Но, слава Богу, он на своих ногах, пенсию самостоятельно на почте получает, по магазинам ходит. И на большее не претендует. В 76 лет и этого достаточно. До таких годов не каждый мужик доживает.

Попив чайку с бутербродами, старик взял журнал с новым кроссвордом и увлёкся его разгадыванием...

От этого занятия его отвлекло громкое постукивание – его супруга, опираясь на прочные никелированные ходунки, медленно направлялась в ванную.

– Теперь можно и позавтракать, – пробормотал Павел Степанович и поставил на газовую плиту увесистую чугунную сковородку.

Позавтракали вдвоём, по-семейному – яичницей с макаронами. Старики не шиковали. Жили в основном на пенсию Павла Степановича – ее хватало на питание и оплату коммунальных услуг. Пенсия Лидии Сергеевны переводилась на сберкнижку, эти деньги старались не трогать, тратили только на внезапные непредвиденные расходы. Деньги потихоньку подкапливались, и это вселяло определённую уверенность в завтрашнем дне, потому что надеяться старикам было не на кого. Единственный сын умер три года назад от инфаркта миокарда в возрасте 48 лет. Невестка с внуком-студентом проживала в другом городе – в соседней области. В летние каникулы внук обычно приезжал на пару недель погостить, тем самым скрашивая их однообразное существование.

После завтрака Павел Степанович еще немного посидел над кроссвордом, а потом стал собираться в управляющую компанию (которую все называли ЖЭКом) – пора было оплатить счета за коммунальные услуги.

На улице было пасмурно и слякотно, но дождь почти прекратился, и только крупные холодные капли падали с веток деревьев.

Путь в ЖЭК проходил мимо продовольственного магазина, и Павел Степанович заблаговременно перешёл на противоположную от магазина сторону дороги. Поравнявшись с магазином он приподнял воротник плаща, надвинул кепку на самые глаза, прибавил шагу. И на это были причины – у входа в магазин отирались несколько здешних пьяниц-попрошак.

Старику удалось проскочить незамеченным. Отойдя на безопасное расстояние, он вернулся на другую сторону дороги и приблизился к ЖЭКу, находящемуся за три дома от магазина.

Павел Степанович заплатил по всем квитанциям, и денег у него осталось с гулькин нос – несколько медных монеток. Но зато теперь целый месяц можно было не беспокоиться – старик не любил оставаться в должниках.

«Надо бы еще сходить в поликлинику, выписать лекарства для бабки, – планировал свои дела Павел Степанович. – Ладно, схожу завтра!»

Задумавшись, он забыл вернуться на другую сторону дороги, неторопливо добрел до магазина... и наткнулся на двух мужчин, стоящих у входа. Как раз с ними старик меньше всего хотел бы встретиться.

– Эй, дед, тебя-то нам и надо! – дыша винным перегаром обратился к нему худощавый мужчина среднего роста, на вид лет за тридцать. Его звали Олегом, и месяц назад Павел Степанович по легкомыслию дал ему немного денег на опохмелку.

– Одолжи сотню, или, лучше – две, – продолжал Олег. – Похмелиться надо. Потом как-нибудь верну.

Павел Степанович знал, что давать деньги в долг Олегу – все равно, что их выбросить на помойку. Но старик готов был это сделать – лишь бы отвязались. Но денег не оставалось.

– Дал бы я вам, ребята денег, да не осталось ничего, – развел руками пенсионер.

– Ну, дедуля, жмешься! – подступил к нему второй пьяница, повыше и постарше Олега, и телосложением покрепче, с патлами рыжеватых волос, торчавших из-под грязной серой кепки. – Поучить бы тебя, да народу вокруг много. Но мы тебя в другой раз оформим.

Смотрел Павел Степанович на этих двух подонков, годившихся ему в сыновья, и сожалел о прошедшей молодости. Эх, сбросить бы ему годов сорок, когда он был лихим монтажником Пашкой, с легкостью и бесшабашной отвагой работавшим на любой высоте! Разве посмели бы какие-нибудь пьяницы его задеть даже словом?! Да он и в пятьдесят был еще крепок, по утрам гирику тягал, на работе и на собственной даче, как вол, вкалывал, а таких вот наглых задристышей, как Олег, ударом кулака с ног сшибал. Было времечко, да как-то пролетело, и силушка незаметно иссякла...

Павел Степанович пришел домой очень расстроенный, и его жена, взглянув на выражение лица мужа, сразу заподозрила неладное.

– Что стряслось?

– Да встретил тут Олега. Пьянчугу местного! – махнул рукой старик и коротко рассказал о неожиданной встрече.

Повздыхали старики, поохали, поругали пьяниц и участкового инспектора полиции, который никак не приструнит этих паразитов. А потом включили телевизор и начали смотреть очередной сериал.

Старики любили смотреть сериалы – это позволяло на какое-то время окунуться в сказку и отвлечься от повседневных забот, болезней, думах о завтрашнем дне.

После окончания сериала посмотрели еще программу новостей и только потом сели обедать: на всё про всё одно блюдо – суп из куриных окорочков, который вчера вечером с трудом приготовила Лидия Сергеевна.

После обеда Лидия Сергеевна легла отдохнуть – у неё часто кружилась и болела голова.

Павел Степанович решил заняться уборкой. Он тщательно подмел пол сначала на кухне, потом – в прихожей, а затем протер мокрой тряпкой. И времени, и сил он потратил изрядно, поэтому, закончив работу, сел отдыхать в кресло перед телевизором, уставившись в какую-то общественно-политическую дискуссию.

«Что-то сдавать я стал в последнее время, – грустно рассуждал старик. – Поработал-то всего ничего, а и выдохся весь! Как говорится, до старости-то я дожил, как теперь до смерти дожить?»

На экране несколько хорошо одетых господ – слово товарищ к ним явно не подходило – обвиняли друг друга во всевозможных грехах. Наконец эта говорильня прервалась на рекламу. Павел Степанович вспомнил, что дома закончился хлеб. Да и ещё кой-чего по мелочи надо прикупить.

Он заглянул в соседнюю комнату: Лидия Сергеевна уже проснулась и молча сидела на кровати.

– Схожу-ка я в магазин, – сообщил Павел Сергеевич.

– Гляди, нарвёшься на этих шаромыжников.

– Так не станут же они меня, старика, бить, – обнадежил он её, да и самого себя.

В старый потёртый кошелёк, в одном из кармашков которого Павел Степанович постоянно держал пенсионное удостоверение, было положено несколько сторублёвок. Этого как раз хватит на все необходимые сегодня покупки – лишних денег старик обычно не носил, чтобы меньше соблазнов было их потратить. Прихватил также и пластиковый пакет, чтобы не покупать в магазине.

На улице смеркалось, по тротуарам густым потоком быстро шагали люди. В основном, это был рабочий народ, который сейчас, после смены расходился по домам.

В магазине тоже толкучка – многие спешат попутно с работы закупить съестные припасы, а потом уже идти отдыхать. А Павел Степанович неторопливо бродил вдоль лавок с товарами, держа в руках металлическую корзинку, обозревал цены, выгадывая, где-что подешевле. В итоге он взял хлеба – черного и белого, пакет гречневой каши, килограмм сахарного песка, пачку недорогого индийского чая.

Очередь в кассу была солидной, покупатели двигались медленно, потому что многие наваливали на прилавки горы продуктов, как будто собирались запастись на месяц вперёд.

Наконец и Павел Степанович подошел к кассе. Заплатил, получил сдачу и, отойдя в сторону, начал перекладывать продукты из корзинки в пакет.

Когда он вышел на улицу, уже совсем стемнело, и прохожих поубавилось.

Павел Степанович пересек дорогу, немного прошелся по тротуару, а потом свернул в ближайший

двор, потому что через него проходил кратчайший путь к его дому. Старик тихо шел по пешеходной дорожке мимо нескольких неухоженных березок и зарослей мелкого кустарника.

И тут то из-за кустов вышли его недруги-алкоголики: Олег, рыжий верзила и еще незнакомый старику приземистый толстяк среднего возраста.

– Ага! Попался, дед! – улыбнувшись нехорошей кривоватой улыбкой, сказал Олег.

А рыжий верзила без лишних слов сразу врезал Павлу Степановичу по носу. Старик упал на спину, приложившись затылком к асфальтированной дорожке.

Олег пару раз припечатал ему ногой по животу. А рыжий пнул в плечо.

Старик несколько раз дернулся и потерял сознание.

– Вырубился! – сказал Олег. – Ладно, хватит с него.

Олег обшарил карманы, нашёл кошелек, выгреб из него все деньги, а потом засунул кошелек обратно в карман старику.

– Сторублёвка, да еще с десяток рубликов мелочью наберется, – подсчитал он.

– На пару пузырей красного хватит, – вступил в разговор толстяк, который старика не бил, но и не заступился.

Преступники ушли, а Павел Степанович остался лежать на дорожке.

Минут через пять на него наткнулся молодой парень. Остановился, потрогал за плечо, и убедившись, что старик не приходит в сознание, вызвал по телефону «скорую».

В этот вечер Лидия Сергеевна мужа не дождалась. Это её удивило и встревожило. Конечно, пару десятков лет назад он иногда мог после работы засидеться с друзьями в гаражном кооперативе, где так приятно выпивать у верстаков, закусывая взятыми из кессона солеными огурцами. Но сейчас подобный вариант событий казался невероятным. Прождав до полуночи, Лидия Сергеевна позвонила по домашнему телефону племяннице мужа, которая жила в другом районе города: может старик к ней заглянул – поиграть с детишками – да и остался. Хотя и это навряд ли. Племянница навещала их несколько раз за год, а старик и вовсе бывал у нее только по приглашению на больших семейных праздниках. Племянница трубку подняла и, позевывая, сонным голосом ответила, что старика здесь нет.

Потом Лидия Сергеевна задремала... и была разбужена настойчивым звонком в квартиру.

– Сейчас! – крикнула она, надеясь, что это пришел муж (может, ключ потерял и не открыть ему?). Кое-как, при помощи ходунков, старушка приковыляла к двери. Но сразу не открыла. Сначала спросила:

– Кто?

– Откройте, полиция! – раздался из-за двери грубоватый мужской голос.

Она посмотрела в глазок – люди в полицейской форме.

Открыла.

На лестничной площадке стояли два офицера полиции. Показали в развернутом виде свои удостоверения. Один представился местным участковым, второй тоже озвучил какую-то должность.

Хозяйка пригласила войти. Разговаривали в прихожей.

– Где ваш муж? – спросил участковый, высокий мужчина с угловатыми чертами лица.

– Не пришел вечером, а куда делся – сама не знаю, – вздохнула Лидия Сергеевна.

– Он был доставлен в дежурную больницу с побоями, в тяжелом состоянии, – объяснил участковый. – У него тяжелая черепно-мозговая травма, есть и другие повреждения.

Лидия Сергеевна охнула, всплеснула руками, на пару секунд оторвавшись от ходунков.

– А у него не было врагов? Может, конфликты с кем-нибудь произошли? – поинтересовался второй полицейский, невысокий коренастый крепыш.

Лидия Сергеевна на минуту задумалась, вспоминая все детали прошедшего дня.

– Угрожали ему сегодня, – сообщила она, а потом подробно рассказала об утренней встрече мужа с местными пьяницами.

Полицейские внимательно выслушали.

– Теперь-то по горячим следам мы это дело раскрутим, – довольным голосом произнес участковый.

После этого участковый прямо же здесь, в коридоре, записал показания Лидии Сергеевны, попросил прочитать и расписаться.

А потом полицейские ушли.

Анна Сергеевна приковыляла в зал и села в кресло, расположенное рядом с телефоном: надо было срочно позвонить племяннице – сообщить ей обо всем.

Павел Степанович, не приходя в сознание, умер в больнице на следующий день от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Лидии Сергеевны сообщили об этом из полиции около полудня.

Несмотря на нахлынувшее горе она, некоторое время посидев неподвижно в кресле, подошла к телефону и попыталась по междугородней линии дозвониться до внука. Трубку никто не поднимал.

Тогда Лидия Сергеевна позвонила племяннице – та была дома, и, услышав печальную новость, сразу же завершила, что сегодня же пойдет в больницу, а потом все сама организует с похоронами.

– Ты, Зина, приходи, – сказала Лидия Сергеевна. – Деньги у меня отложены. Хватит на всё.

Через пару часов Лидия Сергеевна вновь позвонила по междугородной линии, на этот раз удачно – трубку поднял внук.

– Здравствуй, Коля! Нет больше дедушки, – сообщила Лидия Сергеевна. – Умер в больнице.

Всех подробностей она сообщать по телефону не стала. И без того внук расстроился – охнул в трубку.

Потом они подробно поговорили, внук сказал, что вечерним поездом он с мамой выезжает на похороны.

Эту первую вдовью ночь, Лидия Сергеевна почти не спала, только под утро, приняв успокоительных капель, она сумела отключиться от реальности...

Внук, вместе с мамой, приехали ближе к полудню, разбудив Лидию Сергеевну длительным настойчивым звонком в дверь.

Николай, невысокого роста, но крепкого телосложения молодой человек (весь в покойного дедушку, Павла Степановича), был мрачен, немногословен – видно было, что потеря деда его сильно взволновала.

Невестка, полноватая женщина предпенсионного возраста, тихонько поплакала на пару с Лидией Сергеевной, а потом деловито стала обсуждать дальнейшие действия.

Тут подъехала и племянница – высокая, худощавая, она выглядела моложе своих пятидесяти лет. Поздоровавшись с гостями, она сообщила, что тело покойного Павла Сергеевича пока не отдадут, потому что будет сделано вскрытие.

– Поэтому, как выдадут тело, так сразу и хоронить повезем, – сказала она.

– А я, наверное, на похороны не смогу пойти, – завздыхала Лидия Сергеевна. – По квартире еле передвигаюсь, куда уж мне на кладбище. Хороните сами, без меня. А потом здесь и помянем.

На том и порешили!

Через два дня немногочисленные родственники и несколько друзей и знакомых покойного похоронили Павла Степановича на городском кладбище. Поминки были скромными, все поместилось в квартире Лидии Сергеевны.

После поминок внук с невесткой пожил еще два денька, а потом засобирались в дорогу: внуку пора на учебу, а невестке – на работу.

Через месяц к Лидии Сергеевне пришли из полиции – все тот же высокий участковый. Он сообщил, что виновники смерти ее мужа арестованы, их вина доказана, они дали признательные показания и сейчас ожидают суда.

– Суд их, конечно, накажет, – вздохнула Лидия Сергеевна. – Но мужа мне этим не вернуть.

И началась одинокая жизнь. Сил хватало только на то, чтобы умыться и приготовить кое-какую немудрящую пищу. По выходным дням приезжала племянница, мыла полы, покупала продукты и варила кастрюлю супа на три дня. Среди недели заходила женщина из социальной службы, приносила продукты и лекарства, которые она покупала по заказу Лидии Сергеевны. Теперь, когда не стало Павла Степановича, жизнь пошла одинокая, порой даже словом не с кем было перемолвиться. Но Лидия Сергеевна не отчаивалась, потому что твердо усвоила очевидную истину: жизнь дается только один раз, и каждый лишний денечек в ее возрасте – бесценный дар от Бога!

Берега Новороссии

Андрей Чернов



Бескорыстное счастье Иосифа Курлата

Иосиф Борисович Курлат (на фото) – автор более пятидесяти книг стихотворений и прозы, увидевших свет во многих городах Советского Союза, в Монголии, Чехословакии, Болгарии, Венгрии. Совокупный тираж его книг значительно превысил два миллиона экземпляров. Но его судьба была отмечена отсутствием громкой славы и бедностью. Вместе с тем, Иосиф Курлат обладал подлинным бескорыстным счастьем – отдавать окружающему миру больше, чем брать от него.

Я весь из детства

Иосиф Курлат родился в Луганске 17 октября 1927 года. Его детство выпало на десятилетие 30-х – стремительно изменяющееся, движущееся от экспериментов, проб, ошибок 1920-х – к чётко выверенному интегралу 30-х. Это было время грандиозных мечтаний и великих свершений – вполне осязаемых, а не только декларативных фикций. И воочию видя эти свершения, пусть и малые, в масштабе отдельного донбасского города, полнее верилось в осуществление грандиозных планов. В детском сознании появление в Луганске первого трамвая – вовсе не пустяк, а малое чудо, вполне сопоставимое со сказочным ковром-самолётом.

О том безмятежном десятилетии Курлат оставил поэтические воспоминания. О чем они? О том, что сколько бы человек не отдалялся от своего детства, не забывал его, оно продолжает быть частью каждого. И не важно при этом, сколько тебе лет. «Мы все из детства!», – ёмкий и простой ответ, вполне осознанный Иосифом Курлатом.

Иосиф рос и взрослел в Луганске, на Московской улице, играя и учась. И вместе со своими сверстниками он по-детски завидовал тому поколению, на чью долю выпала романтическая буря Гражданской войны. Именно так: как в знаменитом фильме «Красные дьяволята», вышедшем на экраны ещё до рождения Иосифа. Бесхитростные, честные и простые друзья. Коварные и обреченные всем ходом человеческой истории на поражение враги. Неизбежное торжество победы – после схватки с жестоким и подлым неприятелем. Да, такой виделась та война детям и подросткам. Черно-белый мир – не только на киноэкране – с простым киносценарием.

Но им, мальчикам и девочкам тех лет, было суждено познать не только мечты о подвигах. Тяжелым проклятием упала на все народы Советского Союза страшная война. Это в беллетристике и в учебниках истории всё просто и ясно, когда знаешь, что через страницу злодей погибнет, а в следующей главе лютый враг капитулирует. Когда можешь в любой момент заглянуть вперед: а как дальше? А что с тобой и твоими родными? Живы ли?

В действительности, конечно же, всё не так. И приходится переживать на себе самое страшное – неведение. И в страшной, обыденной действительности Великой Отечественной войны миллионы наших соотечественников испытали на себе то роковое ожидание – кто вестей с фронта, кто горячего боя, кто нового дня.

А вчерашние мальчишки 30-х годов выросли преждевременно, без отсрочек. Кто становился за станок – и в этом их судьбу разделяли многие девочки, а кто, порою не дожидаясь паспортного 18-летия, уходил на фронт. Затем, чтобы не мечтать о подвигах героев войны, а совершать их самим. Позже Анна Ахматова в свойственной ей лаконичной манере скажет:

Вот о вас и напишут книжки:
 «Жизнь свою за други своя»,
 Незатейливые парнишки –
 Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, –
 Внуки, братики, сыновья!

Иосиф Курлат, как сын советской служащей, оказывается в эвакуации в Средней Азии. Здесь он оканчивает Алма-Атинское стрелково-пулемётное училище. Победу 9 мая 1945 года встретил в Праге в звании гвардии младшего лейтенанта и командира взвода.

Так прошло детство будущего писателя. Так закалилась его юность.

Язык несказанного и вечного

После демобилизации Иосиф Курлат возвращается в Луганск, работает учеником слесаря на Луганском паровозостроительном заводе. Но сердце юноши неспокойно. После увиденной шири Родины и зарубежья родной Луганск кажется ему слишком тесным. Иосиф прожитой жизнью усвоил, что мечтать – недостаточно. А действовать – решительно беря на себя ответственность – он научился на фронте.

Именно в это время он осознаёт потребность в творчестве: поэтический дар давал о себе знать и в тяге к слову (не только русскому), и в первых попытках стихосложения. Эти попытки выплеснулись в первую публикацию в «Луганской правде» (1950 год). Но ещё до этой пробы Курлат решает на получение образования – он поступает в 1947 году на иняз в Харькове.

В альманахе «Особняк» были опубликованы в 2017 году письма Курлата дочери Наталье. Здесь он приводит подробности быта своего обучения в Харькове в 1947 году. «...Часто вспоминаю свою студенческую жизнь, когда я учился сначала на стационаре – в Харькове (с 1947 г.), а потом в Москве (с 1955). В Харькове в инязе наше общежитие было в глинобитном бараке, и сильно холодно было в ту зиму, свыше 20 мороза, иней толщиной с палец выступал с утра на внутренних стенах. В нашей комнате (со мной жили ещё трое парней-фронтовиков) мы повесили плакат: «Великий полярник Амундсен сказал: «К холоду привыкнуть нельзя – его можно только терпеть». По такому страшному морозу я был тогда ещё в своей форменной офицерской шинельке. И вот «за активную общественную деятельность» меня неожиданно премировали «промтоварным» талоном, дававшим право на покупку в магазине осеннего пальто (хлеб тогда, кстати, тоже продавали только по карточкам, и нам вечно его не хватало) – за 596 р», – вспоминал Курлат.

После обучения в Харькове Курлат подаётся в своё «хождение по Руси». За относительно короткий промежуток времени он живет и работает на строительстве Каховской ГЭС (простым бетонщиком), учителем английского языка, газетчиком в Запорожье, Черновцах, Киеве... Литература всё больше и больше вовлекает его, заставляет всё больше и больше работать над стихотворными пробами. Его старания были замечены. В 1955 году Курлат поступает в Литинститут им. Горького в Москве.

Здесь Иосиф Курлат находит наставников и творческую среду, так необходимую любому начинающему писателю. Он оказывается в самой гуще литературных событий, заводит знакомства, читает, вступает в дискуссии и пишет, пишет, пишет. В одно время с ним в Литинституте учатся Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Роберт Рождественский... Не забудем, что Курлат оказывается в Москве в тот особенный период, когда вся общественная жизнь её оказалась проникнутой поразительно наэлектризованной, противоречивой атмосферой «оттепели».

В книге мемуаров «Казнить Нельзя Помиловать» Курлат пишет об этом времени, о тех горячих спорах, той чисто русской тяге к первоизданной и всегда недостижимой истине. Истине, на которую, им казалось, они имеют первостепенное право, после пережитого в жуткой войне, забравшей так много жизней их сверстников. Они хотели добиться этой правды, какой бы она ни была, и за себя, и за всех погибших. Конечно, этот горячий максимализм не мог не столкнуться с холодным опытом старших товарищей по литературе.

Споры, впрочем, разгорались и среди молодёжи. Любопытный пример мы находим в письме Иосифа Курлата дочери Наталье (1998 год): «Вспомнилась одна штучка, сочинённая в шутку в 1955 году на творческом семинаре у Александра Коваленкова. Были на нашем курсе очень занудные и сволочные молоденькие поэты, которые вздорно критиковали Беллу [Ахмадулину – А. Ч.] и Юнну

[Мориц – А. Ч.] всякий раз. Вот я и сочинил на лекции четыре строчки, когда задали привести пример точной рифмы:

Только Вова Фирсов стих –
Кузнецов читает стих.
А скажите, то не вы ли
На Тверском под вечер выли?»

Так, небольшим теплым штрихом Курлат отобразил литературные баталии, которые и поныне знакомы в формате противостояния поэтов-авангардистов, ведущих поиск новой формы (а значит – экспериментирующих) и поэтов, избравших путь традиционного стихосложения. И тут же, в свете этого доброго юмора, перед нами предстает атмосфера творческого и демократического общения молодых писателей.

Понять детскую литературу и её читателей Курлату помогло общение с Корнеем Ивановичем Чуковским. В книге «Казнить Нельзя Помиловать» Иосиф Курлат вспоминает: «К Корнею Ивановичу Чуковскому я, например, ходил, как на работу: каждый понедельник ровно к семнадцати часам. Читать стихи он мне не давал: отбирал у меня все принесённое с собой и сам читал нараспев – очень громко, размахивая при этом своими большими и длинными руками. Прочитает стихотворение и, как школьный учитель, объявит оценку: четвёрка! Или: «А за эту штуковину вы больше тройки не заслужили». Если же стихи ему нравились по-настоящему, а такое хоть и редко, но бывало, читал их и во второй, и в третий раз. И с тем же неподдельным энтузиазмом. И радовался моим удачам, словно своим собственным. Осенью и зимой 1955 года мы с Чуковским много говорили о детской поэзии – о её сущности, характере, назначении, специфике и проблемах. Корней Иванович часто вызывал меня на спор, и я, к его большому удовольствию, принимал этот вызов».

Чуковский в это время, наряду с Пастернаком и Ахматовой, были своеобразными реликтами эпохи Серебряного века русской культуры, с её тягой к литературной игре и мистификациям. Курлат сообщает об одной из бесед с Чуковским, во время которой Корней Иванович предложил молодому писателю объединить его небольшие произведения в цикл «Маленькие сказки для больших детей» и предложить их редакции журнала «Огонёк».

«– Вы думаете, напечатают?»

– Пожалуй, нет, – усмехнулся Чуковский. – Но если внизу дописать: «Перевод с хинди», то напечатают обязательно. – И Корней Иванович расхохотался, довольный хитрой ловушкой, замышляемой для уважаемого журнала.

– Но это же унижительно, Корней Иванович!

– Трудно вам придётся в литературной жизни, Курлат, – вздохнул Чуковский. – Несговорчивый вы человек. А впрочем, кто знает: может, это и к лучшему?», – привёл их разговор Иосиф Курлат.

Чуковский предложил помощь молодому писателю в издании рукописи книги. Курлат, застыдившись того, что признанный авторитет его «как маленького, поведёт в издательство», не явился в условленное время на встречу. Книгу он всё равно издал – позже. Но совесть Курлата осталась чиста.

«Я очень счастливый человек...»

После завершения обучения в Литинституте им. Горького в 1961 году Иосиф Курлат был вынужден уехать из Москвы (по причине, как он после предположил, политической неблагонадежности). Сначала жил в Донецке, с 1965 года – в Северодонецке. Здесь он продолжает интенсивно работать, писать для детей, переводить. С 1956 года одна за другой выходят его книги – в издательствах Донецка, Киева, Москвы и других городов СССР, в переводах – в социалистических странах Европы. Всего – около 50 книг.

Но ситуация изменилась после развала Советского Союза. Гибель страны повлекла за собой развал прежнего книжного рынка, гибель издательств. Как следствие – писатель потерял возможность жить своим трудом.

Последние девять лет жизни – при так называемой украинской «незалежности» – трудное, тяжёлое время в жизни писателя. Курлат привык жить по совести, честно и порядочно, не стелясь перед

властью, не угождая чиновникам. Он имел возможность стать «писательским чиновником», что-то вроде придворного поэта. Но прогибаться было не в его стиле.

Нахлынувший мрак «свободы и демократии» лишил пропитания, но он не мог отобрать у него способности мыслить и творить. Иосиф Курлат много пишет, создаёт и руководит студией детского литературного творчества «Родничок», клубом молодых литераторов «Ровесник». Стал одним из организаторов издания литературно-художественного альманаха «Мечта» в Северодонецке.

В 2017 году были опубликованы письма Курлата дочери Наталье. В письме за 1999 год найдём такие ужасные строки: «...Вчера, работая над «Родничком», прихватил и часть ночи. А в 7 утра раздался звонок в дверь: пришла нищая, такая захудалая на вид, что я отдал ей последний оладик, приготовленный с вечера на завтрак.

Голова трещала ужасно. Всё же сочинилось четверостишие:

...И снизошла благодать,
Только за что, не пойму.
Нечего нищенке дать,
Нечего есть самому...»

Вот такой вот быт писателя, участника Великой Отечественной войны, автора десятков книг. Такова действительность некогда процветавшего крупного донбасского города Северодонецк. И всё это – задолго до того, как украинский нацизм принёс в Донбасс войну.

«...Временами становится жутко тоскливо, и я спасаюсь работой. Над своей книжкой тружусь каждый день, постепенно продвигаюсь вперёд: пишу новые стихи, переделываю старые, разбираю бумаги архивные, печатаю на машинке, вычитываю. Эта работа приносит радость и удовлетворение. Заедает быт. Но всё это – пустяшные события, которые учусь переносить с юмором», – признаётся Курлат дочери в другом письме.

Творчество оставалось единственным выходом из этого плена бытия, преодолением его. Именно творчество давало ему в этих условиях ощущение не напрасно прожитой жизни и даже большего – счастья.

«А вообще, всё у меня было и есть. Умру – скажут: вот что у него было? А ты не слушай, у меня было всё, я очень счастливый человек, запомни это. Я думаю, ты довольна мною сейчас: я держусь, делаю полезные дела и стараюсь реже болеть», – написал он дочери Наталье в 1999 году.

Иосиф Борисович Курлат ушел в вечность в Северодонецке 30 апреля 2000 года.



Берега Новороссии

Ната Игнатова

Писатель, член СП ДНР, журналист. Образование: ДонНУ, филологический факультет, специальность: «Филолог. Преподаватель», ДонНУ, факультет журналистики, специальность: «Журналист печатных СМИ». Работа в СМИ, на телевидении, преподаватель.

Автор художественной и прикладной литературы: «Диваки», «Миттевості буття», «Доторкнутися до небес», «Таинственная незнакомка», «Возвращение графини», «Загадка сфинкса», «Хрустальный лабиринт», «Символ счастья», «Талисманы фэн-шуй своими руками», «Фэн-шуй. Символы доброй удачи», «Большой подарок для истинной женщины», «1000 полезных советов для истинной женщины», «Любимая книга тамады», «Дизайн и декор интерьера. 500 полезных советов», «Лучшая книга для девочек». Лауреат Третьего международного литературного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна (2016 год)

Качели

...Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во дворе никого, потому что весь город сотрясают разрывы снарядов. Нудно так, тоскливо воеет война – у–у–у–у. Ломает, сжигает, уничтожает всё вокруг. Мирная жизнь, где ты? Далеко.

...За синими морями, бескрайними океанами в каком-нибудь Тридевятиом царстве тридесятм государстве. Где яркое солнце, похожее на апельсин. Ласковые тёплые волны. Они такие умиротворяющие. Тихо шепчут – ш-ш-ш. Ветер улёгся в пустой гамак, заснул. Пальмы плавно покачивают широкими изумрудными головами. Словно танцуют. «Тш-ш-ш, – шепчут волны. – Хорош-ш-шо».

...А где-то там, в городе, продолжают гроыхать день и ночь снаряды от «Градов. Нет. Это не те грады, которые сопровождают грозы и приходят с ливнями, шквальными ветрами. Те тоже опасные. Но те – стихия! А эти целенаправленны, а потому должны убивать и разрушать.

Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во дворе никого. А качели ждут! Вот уйдет война. Прибегут на площадку дети. Будут раскачиваться и смеяться. Вверх-вниз. То плавно, то быстро. В небо – и на землю. К облакам – и домой!

Город обстреливают день и ночь. На прошлой неделе опять попали во двор: скамейки в щепки, разломали песочницы, разворотили клумбы. А качели остались! Уцелели и теперь терпеливо ждут ребятишек. Правда, пока на них качается ветер. Вверх-вниз. А во дворе никого. Даже птичек, собачек и котят нет поблизости.

– Грустно, – шепчут качели. – Где вы, дети?

– Они на Аллее Ангелов, – отвечает ветер. – Там. В парке. Их много. Они разных возрастов: от года и старше. Там малышка, которую мать успела прижать к груди, защищая от взрыва. Они лежали на газоне, а по синему небу плыли облака, унося их души высоко в небо. Я всё это видел! Это так страшно...

Небо заплакало дождём, а ветер прошелестел:

– И девочка 11-ти лет тоже там. Она погибла с папой. Они утром пили в кухне чай. Чашки так и остались стоять на столе, а люди? Их больше нет. На Аллее Ангелов много детей: мальчик, мечтавший стать футболистом; девочка, любившая петь; юный скрипач; маленькая художница. Они могли жить долго и счастливо. Любить и быть любимыми, растить детей, гулять в сквере с внуками.

Ветер умолк. Качели перестали раскачиваться. Раз, два, три... Прошла минута, а затем качели упрямо продолжили свою нехитрую игру: вверх-вниз. В небо – и обратно! Они ждали. Верили! Дети придут.

...Вчера качели слышали, как писатель, живущий в доме напротив, сказал: **«Когда все научатся любить в аду, станут ближе небеса»**. И ветер тогда согласился: «Возможно, что даже прекратятся все войны, наступит мир и согласие». «Надолго ли?» – нахмурились тучи. «Нельзя уничтожить такой сильный духом народ! – твёрдо произнёс человек и, прихрамывая, направился к скамейке. – Вот починю, и будет, где сидеть». Через полчаса из дома вышли соседи. Они, молча, кивали друг другу. Сказать «добрый день» и «здравствуйте» в такое время стало не принято. Какое тут здравствовать и какая доброта, когда третий год война.

Люди ёжились, прислушиваясь к грохоту орудий. Все устали гадать: «Когда опять прилетит?» Обсудив последние новости, соседи дружно принялись приводить в порядок двор. А вокруг грохотало и ухало. Война упрямо разрушала, народ угрюмо восстанавливал. Ветер хмыкнул: «Что я говорил! Эти не отступят...» Тучи недоверчиво наблюдали за происходящим со своей необозримой выси.

...Вверх-вниз раскачиваются качели. То плавно, то быстро. Вверх-вниз. А во дворе никого. Вчера к вечеру были прилёты. Двор разворотило сильнее прежнего. Попало и в дома. Стёкла на асфальте словно снег. А ещё щепки, куски кирпича. И опять воронки – глубокие и страшные. Сегодня во дворе никого. Опять много погибших. Только ветер одиноко бродит по двору, вздыхая и шелестя опавшей листвой. Да тучи прячут солнце. Не гляди на все это! Не стоит...

А качели? Ждут. А что им ещё остаётся? Они надеются и верят: вот уйдёт война. Прибегут на площадку дети. Будут раскачиваться и смеяться. Вверх-вниз. То плавно, то быстро. В небо – и на землю. К облакам – и домой!

Война приходит сразу

...Лето в разгаре. Полдень. За окном жарко. А к вечеру станет душно. Многоэтажка прогревается за день, а потом отдаёт тепло до 3-х ночи. Даже раскрытые окна не помогают.

Валентинка задумчиво сидела на подоконнике. Гулко громыхнуло. Это артобстрел, ставший обычным, но никак не привычным в их городе. Да разве можно к такому привыкать! Девочка всегда верила: *человек рождён для счастья. А в понятие «счастье» не входит, когда кого-то убивают.*

Арх-трарарах! Гах-гах... Бабахнуло несколько раз подряд. Город съёжился, растерянно замер, не понимая: зачем всё это? Разрушать, ломать, уничтожать, разбивать, калечить – и так уже второй месяц. А ведь поначалу девочке всё казалось праздником: жители города собирались на главной площади с транспарантами: «За мир!» и «Нет войне!» Из громкоговорителей звучала музыка прошлых лет. На плакатах были нарисованы улыбающиеся народы всего Земного шара, а под рисунком красовалась надпись: «Давайте, люди, дружить друг с другом!» И даже забытый с 90-х годов праздник солидарности всех трудящихся 1 Мая прошёл «на ура»!

Но внезапно всё изменилось. В город пришла война. Сначала загромыхало в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Ух, ух, ух! Гулко бахали минометы. О-го-го! Вторили им снаряды от «Градов». Бах-бах! Отвечали танки. Заполыхала вокруг земля, гарью наполнился воздух, небо затянуло тёмными тучами. И девочке стало казаться: что-то страшное, неведомое и злое подступает к её любимому городу миллиона роз. Вот, ещё немного и скроет мрак всё, что ей так дорого...

Жалобно зазвенели стекла. Валентинка вздрогнула и еле успела подхватить леечку с водой для цветов, стоявшую рядом. Опять раскатисто ударили залпы: где? В каком районе сейчас прилетело орудие убийства и разрушения, созданное устрашать одних, а другим дающее право решать: кому жить, а кому погибать?

... Бой идет уже в городе. Ба-а-бах! Ух-ух. Трататах! У-у-у-у, фьюить, бух! Такое протяжное, тяжёлое и удручающее, что даже их дом, казалось, подпрыгнул с испугу на месте.

– Страшно, – тихо произнесла Валентинка, поёжилась, горько вздохнула.

– Что? – переспросила сестру Маруся, отнимая пальцы, которыми младшая закрывала уши при очень уж сильных разрывах снарядов.

– Война – это страшно, – пояснила Валентинка. – Слышишь, как бабахают! У меня, как у ёжика, – все иголки дыбом! И плакать почему-то хочется...

– Ага, – жалобно согласилась младшая. – Это у тебя стресс. Так мама говорит. На улице пусто?

– Никого, – нараспев проговорила Валентинка. – Ни народу, ни собачек, ни кошечек. Даже птички улетели... в мирные страны.

Стёкла в доме задребезжали.

– Ух, – вскрикнула младшая, испуганно заморгала и умоляюще попросила: – Слезай, скорее. Нельзя возле окна сидеть! Идём лучше в ванную! Там эти... как его... перекрытия бетонные. Если что...

Не дослушав, Валентинка, скатилась с подоконника, как стеклянный шарик-марблс с круглого отполированного стола. Присела под окном по самую макушку. Потом высунула любопытный нос:

– Это взрывная волна. Когда «Грады» стреляют – бежать надо в ванну или коридор. Когда из тан-

ков – на пол ложись, подальше от стёкол. Они хоть и заклеены скотчем крест-на-крест, но лучше не рисковать. А когда минометы, можно в комнате на полу сидеть.

– А сейчас что? – уточнила семилетняя Маруся. Она расположилась у большой гардеробной прямо на полу, подстелив только коврик. Рядом сидели любимые игрушки: две куклы, мишка, зайчик. Все они готовы были к срочной эвакуации. Рядом стояла большая плетёная корзина, в которую девочка собиралась их спасать, когда потребуется выбежать в подъезд, а потом в убежище.

– Не знаю, – буркнула двенадцатилетняя Валентинка. – Все сразу! Наверное...

– Нельзя так, – протяжно, не по-детски запричитала Маруся. – Нельзя! Они же взрослые. Должны понимать. Нельзя других обижать...

Ничего не поделать

Сестрёнки съёжились, слушая раскаты и громыхания. Но это был не летний благодатный дождь с грозой, молнией и тёмными суровыми тучами. Это была подлая, злая, страшная война. И с этим пока ничего не поделать...

– Никого обижать нельзя, – мрачно согласилась Валентинка. Перебежками и почему-то пригнувшись, направилась к сестрёнке, сидевшей у открытой раздвижной дверцы гардеробной, чтоб в случае чего нырнуть в шкаф и закрыться от всего воюющего и злого. Эта странная привычка пригибаться появилась у них недавно. Девочки сами не понимали, зачем вжимают голову в плечи и стараются двигаться по дому и улицам бесшумно и стремительно. Что-то внутри заставляло их так делать. Это было не очень приятно (гораздо приятнее ходить с высоко поднятой головой, расправив плечи), но так уж сложилось. И не их в этом вина, что взрослые дяденьки «не доиграли в детстве в солдатиков».

Валентинка присела на пол, обняла Марусю:

– Потерпи. Скоро уже родители придут...

Младшая доверчиво прижалась к старшей, задумалась. Если до войны Марусю все считали неподей, то теперь терпеливо сидеть и ждать девочка научилась.

– Посидим у гардеробной, – уговаривала то ли её, то ли себя Валентинка. – В ванную не пойдем...

– И на балкон нельзя! – подтвердила Маруся. – Когда снайперы работают, запрещается выглядывать даже из окошка. И шторы надо закрывать. Особенно вечером. А зачем эти снайперы стреляют по нам?

– У них своих детей нет, – спокойно, но сурово пояснила Валентинка. – Вот они не хотят, чтоб у других тоже были.

– О! – изумилась Маруся. – А, если всё же дети у них есть?

– Нет, – задумчиво проговорила Валентинка. – Дети появляются у тех, кто их любит.

– А, – кивнула Маруся. – Трудно, наверное, когда никого не любишь...

– Непросто, – согласилась старшая. Прислушалась. – Вроде тише стало?

– Скорей бы уже, – подхватила Маруся и жалостливо так заныла: – А то сиди дома. На улицу нельзя. Магазины закрыты. Подружки разъехались с родителями, кто куда. И зачем эту войну придумали? Скучно им, что ли, в мире жить?

– Не знаю я, – озадаченно протянула Валентинка. – А помнишь, прошлым летом, как здорово было играть на улице! На роликах с Димой и Колей наперегонки катались, и на велосипеде с Оскаром и Андреем.

– Ещё с Олесей и Ксюшей в резиночки играли, – радостно подхватила Маруся. – Потом с мальчишками Ренатом, Тарасом и Сашей мячик на площадке гоняли.

– И разноцветными мелками рисовали на асфальте, – мечтательно произнесла Валентинка. – А ещё в бадминтон играли, шалаш строили, концерт устраивали, классики рисовали...

– ...и танцы! – с азартом подхватила Маруся, у которой от всех этих воспоминаний сразу улучшилось настроение. – А показ мод, и кукольный театр для малышей, а прятки...

– *Прятки у нас сейчас каждый день*, – недовольно перебила Валентинка. Взглянула на погрустневшую сестренку и смягчилась. – Это ничего. Когда-нибудь эта война закончится.

– Баба Клава говорит, – сумрачно пробормотала Маруся. – Пока всех не перебьют.

– Слушай её больше, – нахмурилась старшая сестра. – Бабе Клаве и в мирное время никто не нравился. А сейчас и подавно. То ворчит, то бурчит. Хм, не зря её Колька с третьего этажа бормашиной прозвал. Ж-ж-ж, аж зубы сводит от этой женщины.

- Ты, как папа рассуждаешь, – усмехнулась Маруся. – А когда они придут? Родители?
– Кто ж теперь разберёт, – по-взрослому развела руками Валентинка и гордо произнесла. – Папа в МЧС. Мама – врач. Они людей спасают, а не убивают. Это у них профессия такая!
– Ясненько, – вздохнула Маруся. – Спи, моя радость! (это она кукле Нине). Вот одеялко подоткну, тебе будет тёпленько. И подушечка у тебя синенькая, кружевная. Спи. Не слушай этих... злых дяденек. Они не любят деток. Поэтому и бабахают. Пугают...
Валентинка задумчиво сидела рядом, поглаживая сидевшего возле шкафа плюшевого медведя.
– А-а-а-а, – забаякала куклу Маруся.
– Замолчи! – заорала вдруг на сестру Валентинка. – И так тошно.
– Она так не засыпает, – захныкала Маруся. – Вот скажу маме...
– Лучше сразу папе, – резко предложила Валентинка. – Им проблем мало без твоих ябед.

Как все пели песни

- Маруся насупилась, прижала куклу Нину и отодвинулась от сестры. Потом пообещала:
– Счас залезу в гардероб, дверь закрою, и сиди тут сама.
Валентинка озадаченно взглянула на сестру. Такая перспектива её не устраивала.
– А давай песни петь! – неожиданно предложила она. – Они бабахают, а мы поём!
– Давай! – повеселела Маруся и затянула: – «Вместе весело шагать по просторам...»
– «... И конечно, припевать лучше хором», – во всю мочь вторила Валентинка.
Бабах! – донеслось с улицы. Сестрёнки прижались друг к другу и хором завопили: «От улыбки станет всем светлей!»
Стёкла звенели, многоэтажка периодически подпрыгивала, жители укрылись по домам и подвалам – бои в городе разгорались с новой силой.
Стараясь перекричать гром и канонаду орудий, Маруся вопила: «Если добрый ты – это хорошо, ну, а если нет – плохо» (знакомая с детства песня про кота Леопольда никак не вспоминалась, и девочка решила интерпретировать её по-своему).
Прошло полчаса. Перебраны были уже все любимые детские песенки о добре, дружбе, улыбках, мире. А за окном по-прежнему бухало, бабахало, выло... Это свирепствовала война, унося чьи-то жизни.
...А дети пели. Вспомнили они «Крейсер «Аврору»», «Облака, белогривые лошадки», «Добрый жук» как-то не пошел (вставить в круг при такой встряске вокруг – просто не очень хотелось!), потом была песенка Забавы – «Ах, если бы сбылась мечта моя!» Её Валентинка переделала по-своему, громко выводя: «...сбылась мечта моя-а-а-а, и мир скорей настал». Марусе очень понравилась такая переделка. И девочки затеяли Молитву-игру, где все детские песни призывали взрослых к Миру, Дружбе, Улыбкам, Добру и Любви!
...Тем временем в аэропорту продолжало гроыхать гулко и страшно. Словно огромный молот опускался на притихший, грустный город и, вбивая огромные бетонные сваи в самое его сердце, безжалостно разрушал всё вокруг, сея хаос.
А дети пели «Антошку», «Кузнечика в траве», «Ох, рано встаёт охрана»...
«Грады», гаубицы, «самоходки» наперебой извергали снаряды, разрушавшие красивые улицы и уютные скверы, величественные театры и старинные музеи любимого города. Ломали остановки, взрывали асфальт, пробивали дома, уничтожали транспорт. Никого не щадя, ни о чём не жалея. Больницы, детские площадки, парки, школы полыхали в огне и дыму. Покорёженные и перевернутые вверх дном автомобили, вывороченные фонари, разлетевшиеся вдребезги, как осколки стекла, дворовые скамейки, столь любимые бабушками и ребятнёй.
«Миру – мир! Нет войне!» – второй час скандировали дружно две маленькие девочки свое заклинание – заговаривая войну уйти, оставить их город, вернуть Счастье и Благополучие в семью.
Наконец, Валентинка, у которой уши были зажаты ладошками не так крепко, как у Маруси, услышала, что в дверь трезвонят. Она вскочила, убрала ладони от ушей и легонько потрясла младшую:
– Слышишь?
– Ага, – не вынимая пальцы из ушей кивнула Маруся. – Бабахают!
– Пальцы вынь! – строго приказала Валентинка.

Младшая всё прочитала по губам и с готовностью исполнила просьбу. Ей самой уже надоела эта жизнь с пальцами в ушах.

– О! – удивленно проговорила Маруся затем. – И в дверь звонят! Гроооомко...

Девочки крадучись, на цыпочках отправились в прихожую.

– Тсссс! – приложила палец к губам Валентинка. Будто тишина имела сейчас какое-то значение. – Посмотрим в «глазок».

– Ну, – нетерпеливо теребила её Маруся. – Кто там?

– Соседи, – удивилась Валентинка. – И чего им дома не сидится в такое время?

В дверь опять позвонили. Потом ещё. И ещё!

Наконец, девочка решила и неторопливо открыла замок, перед этим уточнив:

– Бабушка Клава, это вы?

– Я, – раздраженно завопила та из-за двери. – Что у вас такое стряслось?

– Почему кричим? – Андрей Ильич, её муж, с любопытством заглянул в полуоткрытую дверь.

– Мы даже сначала не поняли, – тараторила бабушка Клава. – Все разъехались...

– Разбежались, – солидно уточнил Андрей Ильич.

– Да, ну тебя! – отмахнулась от мужа соседка. – На площадке жильцы: только вы да мы. Тут этот грохот, мы с дедом даже не разобрали сперва, где орут?

– Мы не орём, – грозно перебила Маруся.

– Что-о-о?! – возмутилась привередливая бабушка Клава.

– Поём, – вежливо уточнила Валентинка. – Мы поём.

– Чтоб не страшно, – серьёзно поддержала сестру Маруся.

Соседка растерянно заморгала. Дед Андрей угрюмо потёр затылок. Вдохнул и вдруг разрешил:

– А пойте!

– Может, к нам пойдём? – вдруг вкрадчиво предложила соседка. – А, хотите, мы с вами посидим?

– Мы большие, – в один голос ответили девочки. – Спасибо! Справимся.

Такая соседка перед ними предстала впервые: добрая и огорошенная. Дедушка Андрей вздохнул:

– Молодцы. Если что, мы рядом. За стенкой...

Поговорив с соседями, девочки вернулись в детскую. Стало немного потише. Валентинка прокралась на кухню и принесла сладкую булочку (напополам) и чаю. Правда, он уже остыл, но всё равно был вкусным. Кукла Нина благополучно уснула. Валентинка достала любимую книгу Сергея Козлова «Про ёжика и медвежонка». Увлечшись, девочки не заметили, как летит время. Уже в пятом часу Маруся вспомнила:

– А когда родители придут?

– Скоро, – успокоила Валентинка.

И тут опять началось. За окнами бабахало, выло, гремело, дрожало. Землетрясение. Ураган. Вихрь. Вулкан. Всё в одном флаконе.

Притихшие девочки подальше запрятались в гардеробную. Дверь, правда, не прикрывали. Чтоб удобнее в ванную бежать! А там и в коридор. К соседям! Те же разрешили.

У-у-ух! Взззз. Бух, бух, бабах...

– Поём? – прошептала Маруся, от испуга закрыв руками глаза, а не уши.

– Поём! – величественно и громко согласилась Валентинка. Высунулась из гардеробной, приосанилась и...

– А какую? – приободрилась и Маруся.

– Помнишь, на параде 1 Мая! Все пели и улыбались, – напомнила сестрёнка. – Правда, я только начало знаю: «Широка страна моя, родная...»

Маруся кивнула, и сёстры громко, хором, торжественно, на всю квартиру, а также весь усталый, потерявший надежду город, запели: «Широка страна моя родная...»

И тут, перекрывая гул орудий, донёсся из-за стенки бас Андрея Ильича:

– «Много в ней лесов, полей и рек...»

И звонкий, какой-то девичий бабы Клавы голос:

– Я другой такой страны не знаю...

– ...где так вольно дышит человек! – сразу вспомнив весь куплет, радостно и гордо пропели сестренки.

... Война не ушла. Она даже не испугалась. **А люди стали другими.**

Русский мир без границ

Минские берега

Валерий Бестолков

Валерий Витальевич Бестолков родился 24 сентября 1971 года в Ярославле. Через 2 года родители Валерия переехали в Минск. После окончания школы в 1988 году поступил в Белорусскую государственную политехническую академию (ныне – БНТУ), где изучал робототехнику, в 1994–1997 учился в Белорусском университете управления, получил диплом по экономике. Автор сборников стихов «Тридцать семь», «От первого лица», ряда публикаций в ежегоднике «Литературный экватор». Живет в Минске



ГАДАЛКА

Того, что не запомнилось, – не жалко.
Блестящими монетами звеня,
Гадала мне лукавая гадалка,
Рассказывая правду про меня.

И взгляд её с моим смешался снова, --
Встревоженный уже какой-то взгляд.
Что видишь ты в моих глазах такого
О чем гадалки нам не говорят?

Качая головой, она вздыхала
И гладила ладонь мою опять,
Но этого уже казалось мало,
Чтоб смыслу ускользающему внять.

Откроют карты, может быть, немного:
Болезнь, пустые хлопоты, печаль...
И выпадает дальняя дорога,
Надежды устремляющая в даль.

Очаг, дела, заботы, **выплеск** страсти,
Где зло, досада, ревность, алкоголь.
И перед дамою пиковой масти
Червовый оступается король.

Грядущее туманно и не прочно
И так же зыбко откровенье карт.
И на ладонь судьба легла не точно,
Чтоб дать ответ, к чему проделать старт.

Кого-то привлечет успех и слава,
А завтра дрогнет, нерв едва затронь.
Где наша жизнь – бугристая канава,
Неровно расчертившая ладонь.

КРЕСТ

Пропитан сыростью могильной,
Наперекор косым ветрам,
Трухлявый, жалкий, *но* всеильный
Крест на холме стоит, как Храм.

Над ним иначе солнце светит,
И молнии не целят в склон...
Он к нам пришел из лихолетий
И незапамятных времен.

Взирает горько, одиноко
Часы ли, годы ли, века.
Как часовой, как Божье око,
На мир он смотрит свысока.

Извечной немотой страдая,
Один, из глубины веков,
Он миру руки простирает,
Он каждого обнять готов...

Одна лишь узкая дорога
Ведет через леса к холму.
И только путник одиноко
Пройдя, поклонится ему.

И, осенив себя знаменьем,
На миг замрет, едва дыша.
Быть может, в это же мгновенье
Откликнется его душа.

И мне когда-то выпал случай
Скитаться в тех глухих местах,
Карабкаться на эту кручу
За божьей милостью креста...

Чтоб оценил мои деянья,
И я стоят в минуту ту,
Не в силах удержать рыдания,
Как победивший слепоту.

Я молча обнял крест руками.
И вздрогнул телом... Как роса
Ложится на остывший камень,
Скатилась *робкая* слеза.

Наперекор судьбе и веку,
Я убежал из этих мест:
Не по богам, по человеку
Мироточил в тот вечер крест.

РАССКАЗЫВАЯ СЫНУ ПРО ВОЙНУ...

Рассказывая сыну про войну,
Которой, к счастью, не увидел тоже,
Я тяжелей обычного вздохну,
Избавив голос от ненужной дрожи,

Еще сильнее сожму его ладонь,
Чтоб ощутил волнение со мною
И помолчим так, глядя на огонь,
Добытый здесь немислимой ценою.

Увы, не боги высекали его
И обелиск здесь возвели не боги,
И призван он венчать не торжество,
А реквием неслышно петь для многих.

Полощется в промозглой тишине,
То вдруг остервенело заклокочет,
Как будто рассказать о чём-то хочет
Дыханием своим горячим мне.

И выпущен мой разум тетивой
К раскинутым полям, лесам богатым,
Окутанным салатовой листвой
И оживлённым щебетом пернатых.

Чтоб отразиться множеством зеркал
Бесчисленных озёр, глубин и мелей
И жизнь питать, как гордая река,
Скользя среди песков и сапропелей.

И вновь вернуться пламенем огня
Из голубых высот, свобод орлиных
И, что всего важнее для меня –
Наследием отдать всё это сыну.

Два времени, не тронутых войной,
Не ощутивших вкус военной пыли:
Сегодня сын сюда пришёл со мной,
Как мы с отцом когда-то приходили,

ОТЦУ

Безмолвие лесов и мощных рек
На расстоянье взгляда угнетают...
По льду Юкона двое человек
Пытаются уйти от волчьей стаи,
Чью дерзость подстегнёт вечерний мрак...
Но, в уважение их доли тяжкой,
Ты был из тех, кто бережёт собак
И следует на лыжах за упряжкой.

Теперь уже другой Юкон у ног
И мысли о внезапной смерти гложат--
Кипит водоворотами порог
И пеною, как вздыбленная лошадь.
Недолгие сомнения внутри,
Не к золоту, не к приискам – в итоге,
Ты хочешь жить, но ты пойдёшь на риск,
Учитывая горький опыт многих.

События других веков и стран:
Звучат клинки и по брусчатке шпоры.
В кровопролитной схватке Д*Артаньян
Дерётся рука об руку с Рошфором,
В последствии дружья, но этот шаг
Кипит враждой и продиктован службой...
Тебе понятней благородный враг,
Чем кто-то из друзей с невнятной дружбой.

И апогей трагизма, замок Иф
В морской базальт упёрся *грузным* весом,
Свободу и наивность укротив,
Ты создал Монте-Кристо из Дантеса!
Который прошагает жизнь с тобой
Через, возможно, лет каких-то триста,
Твой светлый узнаваемый герой –
Эдмон Дантес из графства Монте-Кристо.

Прочтённого твой базис таковой,
Что даже оценить его позволил
В своих стихах один учитель твой,
Что «нужные прочёл ты книжки в школе»,
В их нерв проникнув, в мысли и язык,
Усвоил сердцем, растворяя с кровью...
Лежит теперь у внука «Белый клык»
С фонариком ночным у изголовья.

ПРОМЕТЕЙ

Я выжжен изнутри, я тлен и прах.
Дышу пока дышать ещё возможно...
Казалось, было всё в моих руках,
Но руки были связаны надёжно.

Низринут, погребён в тартарары--
Такая у богов судьбина злая.
Пылают необъятные миры --
Мои миры, а значит, я пылаю.

Грохочут наковальни, звон в ушах, -
Озлились небеса, вонзили жала,
Чтоб к скалам пригвожденная душа
Забвением себя опустошала.

Богов не упокоит жар котлов,
Их мир далёк, их путь по небу вечен,
Но клювы разъярившихся орлов
Свирепо рвут мою больную печень.

Их ярость мне понятна, гнев богов --
Высокая оценка жизни вечной.
Пылает мой огонь у очагов
И свет несет в жилища человечья.

Сегодня миру не отмерян срок
И громоздят, ваяют глыба к глыбе
Земной культурный слой все -- кто, чем смог, --
У старенькой Вселенной на отшибе.

Несут себя в себе к своим богам,
Не понимая, в сущности, что боги
Их, смертных, не подпустят к небесам
И ниспошлют тепло своё немногим.

Но вижу миг, как лоскутки огня
Коснутся их сознания несмело,
И, вспомнив пригвождённого меня,
Потянутся к огню дрожащим телом

С тем, чтобы и остаться у костра,
Стать частью света... И летят на пламя
Пустые и убогие вчера,
В далёком завтра, словно боги сами.

МАУГЛИ

Мне не привили злобы на весь свет,
Но я мечусь, обидою томимый.
Среди волков мне места больше нет,
Но пониманье так необходимо.

Я занесен неведомой волной
В лесные дебри был и всеми брошен.
Мой мир лесной и мой покой лесной
Безмерно прост и бесконечно сложен.

Прислушиваюсь к диким голосам,
Утратив мир, другой приобретаю,
Здесь важно все. И здесь решаешь сам,
Быть одному или держаться в стае.

Я голос свой уже не узнаю,
Зубами скрежещу, душой грубею.
И, усыпляя ненависть свою,
Расту, как волк, как человек -- слабею.

Я поднимаю свой звериный лик:
-- Эй, отзовитесь, люди или боги!
Но нет, не вой, а грозный дикий рык
Несет мой клич от леса до дороги.

ГРАВИТАЦИЯ ЛЮБВИ

И жили двое и их нечаянно
Столкнула жизнь
Да так, что рядом они не чаяли
В другом души,
Что в одиночестве порой скитается
И слёзы льёт,
Но словно бабочки, к огню слетаются,
Оплавив лёд.

Их жизни линии переплетением
Свились в одну
И были счастливы они падению
На глубину,
Где мир сжимается и мрак воинственно
Дозор несёт,
Всё растворяется в сердцах таинственно
И меркнет всё...

Они сближаются так неосознанно
В минуты те.
Они для этих мгновений созданы, --
Жить в слепоте,
Идти на запах, бежать по голосу,
Нырять в дурман

И погружаться друг другу в волосы,
Как в океан.

Но только вспышка мелькнет сознания,
Вернётся свет
И выясняется, что понимания
И чувства нет,
Что сонных вынесло их вод течением,
Тряхнув волной,
И, что ошиблись они с влечением
Сердец весной.

Как приближались они стремительно,
Так мчатся прочь,
Чтоб раствориться в себе мучительно
И занемочь,
В оцепенении впадать в прострацию,
И раздавить,
Себя, не справившись с гравитацией
Своей любви.

СИНУСОИДА

Я стойко перенес судьбы каприз,
Исследуя закономерность жизни:
То синусоида уходит вниз,
То вдруг взлетает, наверху зависнет.

И рушится сквозь нулевой порог,
Стремительно меняя плюс на минус,
Взрывая ось ухоженных дорог
И погружаясь гибельно в трясину.

Из перекрестка жизненных путей,
Пространство уносящих в бесконечность,
От самого рождения детей
Она дрейфует, подпирает вечность.

Но смертны мы, и с тем обречена
Считаться, зародившись лишь, кривая,
О том заботясь, где теперь она
Возникнет вновь, однажды затухая?..



Русский мир без границ

Минские берега

Маргарита Богданович

Родилась в Минске в 1963 году. Окончила Белорусский Политехнический институт по специальности: инженер-экономист. Печаталась в коллективных сборниках: Артелен (Киев), Вдохновение (Москва), в журнале Новая Немига Литературная № 3 (Минск). Готовится к изданию сборник стихов «Ловец ускользающих снов»



УТОПИЯ

Есть где-то страна за морями, долами, горами,
Где сходятся тропы, бегущие между мирами;
Страна истекающих груш и больших апельсинов,
Где радуги – гордые предки поющих павлинов,
Где овцы в серебряных лужицах нежат копытца,
Где чистой воды из источников можно напиться;
За каждым изгибом реки дышит дивная тайна,
И всякая мысль никогда не бывает случайна;
Пернатые жители дарят желающим перья,
И селятся в шляпах тирольских, и знают поверья;
Где плющ обожает старинную грустную кладку
И трепетно гладит ладошками красными сладко;
Питают зелёная кровь его юные плети,
Он жаден и смел, как бывают влюблённые дети.
Дожди, как щенки, лизут стёкла и тычутся в окна,
И ждут, когда ягоды соками туго намокнут.
Коты улыбаются милой усатой улыбкой,
Ночами баюкает сердце волшебная скрипка.
И там обязательно пешка в ферзя превратится...
Мне кто-то сказал, что страна эта может присниться.

ВРЕМЯ КОРОТКИХ НОЧЕЙ

Скоро лето коснётся солнышка
Изумрудным своим темечком,
У колодцев блеснут доньшки,
И быстрее побежит времечко.

Буду думать: а лета хватит мне!
Только знаю: уже катится...
И при шалой лисе – дневной луне –
Лето новое шьёт платице.

Изо льна оно будет, хлопка ли,
Лету то одному ведомо.
Как артисту б ему хлопали!
Но в галёрке сидим где-то мы.

Мы оглохшие, мы ослепшие,
Зачарованные прелестью:
То ли мигами снов вечными,
То ли будущего прелестью.

Вот и астры, глядишь, вскинулись,
Приподнялись и гладиолусы...
Птичьих взлётов растут синусы,
И светлеют в пути волосы.

И не юное уж, а зрелое! –
Лето осень встречать ладится...
Не хотела, ох не хотела я,
Но меняю и я платице.

ЦВЕТ НЕБА – ИЮЛЬ

Цвет неба – обожаемый июль.
Кто не в восторге – может схорониться,
А мне побольше солнца сквозь ресницы!
...Варенье убегает из кастрюль,
И бесполезна начата книга,
Над головой – бесценное индиго;
Стакан с водой сладкой, ледяной.
Эдем земной.
Ребёнок недоволен горькой долей:
Он должен спать: закончился обед.
Ах, сон дневной, его ужасней нет!
И бабушка – предвестница неволи,
Обманет детку сказкой, как всегда,
Не без труда.
Щенок, скуля, печенье просит слёзно.
Не заслужил: печенье не дано!
Оно волнует нюх уже давно,

Но на щенка старушка глянет грозно,
Лишь бровью поведя, чтоб не шумел:
Как он посмел!
Пёс учится служить под строгим взглядом.
Долг – охранять верёвочный гамак,
В котором мальчик не заснёт никак,
Обязанность сидеть на страже рядом -
Тиранят изнывающего пса!
Звенит оса...
Вот яблоко, покинувшее ветку,
О землю бьётся, катится в траву –
Во сне полёт случился, наяву? –
Его поднимут, отнесут в беседку,
И хрустнет золотистый твёрдый бок:
Таков итог.
Июль – природы чудная награда.
Минуты превращаются в часы,
И к осени склоняются весы,
Но мальчик спит пока. Будить не надо.
Щенок вильнёт хвостом, заслышав смех,
Он любит всех.

БАБЬЕ ЛЕТО

Здравствуй, солнце. Целуй! Заходи.
Воздух утренний, свеж и хрустален,
Проникает в объятия спален.
Бабье лето у нас впереди.

Сядь на краешек чашки моей.
Хочешь мёда июльского ложку?
И не мучай, пожалуйста, кошку.
Пусть следит за игрой голубей.

Сок от груши течёт по рукам.
Нет коварнее фрукта, чем груша!
На столе золотистая лужа –
Результат разрешившихся драм.

Кофе чёрен для белого дня,
Но божественно, бархатно крепок.
Время летних панамок и кепок
Не уходит пока от меня.

Иллюзорна прелестная ложь!
Я вчера не задёрнула шторы.
А туманы, сентябрьские воры,
Жёлтый лист принимают за грош.

Отдадим то, что взято взаймы.
Таёт медленно свет законный.
Нет сильнее природных законов.
Подчинимся законам и мы.

ИЛЛЮЗИЯ

Офелия в испачканной фате
Отыщет путь к зиме, пройдя сквозь осень.
Не видя больше смысла в красоте,
Она любви и радости не просит.

Прошли весенних ливней времена.
И летней неги мягкие постели
Всё реже будет вспоминать она,
На плечи бросив рваные метели.

Что осень ей со всем её добром?
Ответчицей бесправною и нищей
Наказана неправедным судом
Коротким сном и грубой, скудной пищей.

Ей женщиной счастливою не быть.
Ещё девчонка, но уже старуха.
Ей всё равно: любить или не любить;
Земля ей камнем будет или пухом.

Во взгляде белом умирает год.
Позёмка равнодушно лужи сушит.
И ведьмою безумною грядёт
Та, что теряет родственные души.

Ни щели нет в последнем полотне.
Награда для неё – венец покоя.
Она сказала: «Жизнь приснилась мне.
И я не знаю, что это такое»

ДЕКАБРЬ

Долго декабрь увивался вокруг да около,
Ждал, чтобы всё на свете насквозь промокло.
Ох и сомкнул он тогда ледяные челюсти!..
Мог бы на горле, чтоб сразу. Да много чести!

Лёд на реке опоясал он мёрзлым берегом,
С улиц прохожих гнал торопливым бегом.
Землю на сумрачных кладбищах сделал каменной,
Под ноги оттепель сыпал небесной манной.

Женщине, что разлюбила, с глазами белыми,
Густо покрасил волосы свежим мелом.
Злую тоску нагонял вечерами чёрными.
Птиц снежной кашею потчевал вместо зёрен.

Как ни лютой, день короткий – не хвостик
заячий.

День подрастёт! На морозе дыхание жарче.
Солнце весною до льда и до снега голодно.
Сгинет декабрь от руки молодого года!

ЗИМНЕЕ

В одночасье закончилось лето без глупых страданий и мук.
Между стёкол сухая коллекция ос и замученных мух.
Деловитая, к нам на зонты осень прыгнула сразу.
Я тебе не обязана, ты мне вдвойне не обязан.
Оба знаем: обязанный – связан, а мы за свободу рук!
Но с пустыми руками – обидно до чёртиков. Замкнутый круг.

Сна мне не было больше ни ночью, ни днём; канул в лето покой.
Уток хлебом привычно кормила, но после махнула рукой
На дожди, на тебя. И на уток. Нет смысла и толка.
Поищи меня сам, если хочешь, ведь я не иголка
В необъятном стогу. Я колючая. И не бегу, смотри!
Просто так получилось: где остро снаружи – там остро внутри.

Но однажды настал белый день, и погода упала на мир!
По-щенячьи морозец погрыз покрывало тумана до дыр.
Я услышала: синью звеня, небо яростно пело!
Небо было пустым и безоблачным – в этом всё дело.
Мудро выпала ядрами суть из орехов, плодов лесных.
Год замкнулся. Заснула вода, и застыла земля до весны.

Знаешь, в сердце моём так тепло; и зимой продолжается жизнь!
У меня закрома тёплых слов и объятий – ты только держи!
Соли, чтоб обязательно съесть, два положенных пуда,
И посуды запас, чтобы бить! – бьётся к счастью посуда.
И без счёта свечей для ночей, барбарисовый сладкий чай...
Бедный мой, не замёрзни. Храни тебя бог. Прощай.

СВОБОДУ КАПЛЯМ!

Быть первым всегда опасно, но так революционно!
Юнцы шли в атаку страстно и бились о лёд со звоном!
Кричали: «Свободу каплям!», сверкая студёной кровью,
И метко втыкали сабли в ледовое поголовье.

Сосульки рыдали сладко, целуя детей в макушки.
На подвиги капли падки, как будто им жизнь – игрушка!
Оскалившись, злые лица коты обращали к небу:
Им капли мешали биться за кус кошачьего хлеба!

Рискованный и провальный, но как был порыв неистов!
Вороны «Виват!» кричали, приветствуя анархистов.
Под птиц картавые клики гремели аплодисменты,
И каплям вручались блики в торжественные моменты.

Внизу, напитавшись кровью весенних бойцов беспечных,
Над глупым их поголовьем, раздробленным и увечным,
Треща, потешалась льдина, и, скалясь, лоснилась сыто.
Смотрела, как войско стынет, глодала юнцов убитых.

А звёзды весной зубасты, и солнце пока – не в силе.
И первопроходцев каста в полёте к земле остыла,
И вот уже мерно обувь утюжит вечерний кафель...
А всё же – какая проба у глупых весенних капель!

Русский мир без границ

Рижские берега

Анатолий Маханёк



Анатолий Иванович Маханёк родился в селе Кренидовка на Украине в 1935 году в семье сельского учителя. С 1951 года Анатолий Иванович живёт в Риге.

Печатался в газетах: «Вэфовец», «Советская молодёжь», «Будни», «Панорама недели», «Социалист Латвии» и в коллективных поэтических сборниках.

Член литературного объединения «Сонет», Ассоциации Деятелей Русской Культуры Латвии, литературной творческой мастерской «Русло» при филиале союза писателей России в Латвии и литературного объединения «Светоч»

ВРЕМЯ

Ходики
на стене,
как на отвесной скале –
кузница.
Может быть при луне
кто-нибудь скажет мне
что
в грядущем дне сбудется,
сбудется.
Кружится темнота,
а в темноте всё не так
кажется.
Мудро молчат уста.
Истина –
не проста –
кто же узнать отважится,
отважится?
Громко стучат часы –
время куют кузнецы
бешено.
Гиря не для красы –
просто нужны весы.
Время должно быть взвешено,
взвешено!
Не на простых весах,
не кем-то на небесах –
призрачным.
В наших людских умах,
в наших людских сердцах
взвешивать время призваны,
призваны!

* * *

На листе бумаги – белый снег,
Вьюга улеглась – уснула.
А душа запела о весне,
И надежда вновь ко мне вернулась.
Будут ещё солнечные дни,
Звёздные, чарующие ночи!
Нас весна врачует и хранит,
И земные радости пророчит.
Снова улыбнутся мне ручьи,
Зазвенят весёлые капли,
И в ответ на тёплые лучи
Ярко разольются акварели.
Застрекочут травы, зажужжат,
Расцветут медовыми цветами –
Только надо верить, надо ждать
Зимними глухими вечерами.

* * *

Хрустит морозом сжатый снег
И связь с землёю ненадёжна.
Иду, ступая осторожно,
Как призрак в синей тишине.

Свет фонарей, тьму ночи зля,
Мой путь порою освещает,
И ветер тень ветвей качает,
Как будто зыбится земля.

Но я уже привык к зиме,
К её нечаянным курьёзам
И к этим варварским морозам,
И ничего не жду взамен.

Лишь вспоминаю, словно сон,
Земли зелёное цветенье,
Весны счастливые мгновенья
И птичий радостный трезвон.

И жизнь, как тонкая струна,
Звенит по избранным законам...
Когда поток во льды закован –
Его спасает глубина.

* * *

Вода разговорилась о весне,
О ней одной без умолку болтает:
О том, что тает лёд, и тает снег,
И первенец-подснежник расцветает.

И солнце с любопытством, как малыш,
На цыпочки старается подняться,
И хочет заглянуть за гребни крыш,
И в речке отраженьем любоваться.

В озёра собираются ручьи,
Потоки набухают, словно вены,
И первые весенние лучи,
Как пахари добры и откровенны.

К СОЛНЦУ

Отстучала капель,
Убежали ручьи,
И зима улетела
На крыльях студёного ветра.
Потеплели высокого
Доброго солнца лучи,
Разбудили природу
Весёлым живительным светом.
И воспрянула жизнь
На согретой земле.
В звонком щебете птиц
Непомерная слышится радость.
Переполнился воздух
Весенним дыханьем полей,
И в родные края
Журавли потянулись парадом.
Миллионами глаз
Почки в небо глядят,
С нетерпением ждут они
Ласковых, тихих рассветов,
Чтобы листья свои,
Словно крылья, в полёт разведя,
Поскорей улететь
В долгожданное тёплое лето.

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД

Наяву ли, во сне ли?
Не пойму,
не пойму –
разбросали апрели
синеву, синеву.

Сколько было апрелей,
сколько вёсен прошло?..
Вновь
зелёной метелью
всё вокруг замело.

Ярче солнышко в небе,
жарче космы вразброс,
будто канули в небыль
и зима,
и мороз.

Наяву ли, во сне ли?
Не пойму,
не пойму –
разбросали апрели
синеву, синеву.

Может надо очнуться,
да в реальность скорей?..
Я стараюсь коснуться
ели
колких ветвей.

Не люблю,
не люблю я
сласти сказочных снов,
на реальность любую
променять их готов!

И пускаюсь с пригорка
по прибрежным пескам,
хлещут ветками ёлки
по лицу,
по рукам.

Солнце жжёт и щекочет,
пот на лбу, на висках,
и хохочет,
хохочет
надо мною река.

Наяву ли, во сне ли?
Наяву, на-я-ву!
Разбросали апрели
синеву, синеву.

ЛЕТНЕЕ УТРО

Утро плакало, как ребёнок,
Разобидевшись за обман,
А у спящей земли на бёдрах
Одеялом лежал туман.

Утру снилась в ночи жар-птица,
Лишь открыло оно глаза –
Нет жар-птицы. И по ресницам
За слезой покатила слеза.

А-а-а,
чуть слышно носили дали,
Слёзы – росами в зелена.
Тучки плавились,
расцветали,
Предвещая начало дня.

И взлетело над миром солнце,
Землю пламенем озарив,
Утро щурится и смеётся
Про жар-птицу свою забыв.

И поля зажужжали,
запели,
С ветерком разговор завели,
Жавороночка звонкие трели,
Как привет небесам
от земли.

* * *

Время жизнь нашу меряет строго,
Все дела собирая в итог...
Вот и кончилась наша дорога
С ветром счастья, надежд и тревог.

На причале уснули баркасы,
Сети мирно лежат по углам,
И стоят под навесом террасы
Вёсла – крылья не нужные нам.

А планета, вращаясь, стремится
По космическим трассам своим,
И безмерное время продлится,
Уступая дорогу другим.

И, я верю, в погожее утро,
Лишь затеплится в небе заря,
Кто-то выйдет к судёнышкам утлым,
Чтобы снова поднять якоря!

НЕ ВСЕ СОГЛАСНЫ

Бег на месте с движущимся фоном –
Всё это осталось позади.
Появились трое с мегафоном
И команду дали: «Разойтись!»

От такой команды все мы сникли,
Всё-таки сдружились и сжилсьь,
Но команды выполнять привыкли –
Нехотя, и всё же разошлись.

Нам сказали: «Хватит топать в зале,
На простор свободный – шагом марш!»
А куда бежать не показали –
Получился полный ералаш.

Кто-то сразу побежал на запад,
Кто моложе – бросился в отрыв,
Кто сошёл с дистанции внезапно,
Многие остались вне игры.

– Не для нас всё это: состязаться,
Торопиться, нарушая строй!
Стали дружно переодеваться,
Закурили и пошли домой.

По дороге набрали на пиво.
Долго осуждали трёх верзил.
Говорили,
что не справедливо
Занимать спортзал под магазин.

ГЛУПАЯ ЗАТЕЯ

НАТО по Европе расплзается,
Милитаризация растёт.
Значит, что-то снова замышляется –
Виден стратегический расчёт.

Не умеют люди жить без блоков.
Старый принцип всё ещё силён.
Хищники из страха и пороков
Мастерят себе всемирный трон.

Да к тому ж в Европе неспокойно –
Совершили резкий поворот.
И теперь, чтоб снова жить достойно,
Лебезят у НАТО-вских ворот.

Думают, что НАТО – панацея:
Будет изобилие во всём.
Но ведь жить придётся под прицелом!
И куда в конце концов придём?

Да и с изобилием всё ясно –
Светит изобилие не всем.
Будет изобилие несчастных,
Будет изобилие проблем.

Критика

Лидия Довыденко

«Спас-на-любви»

О знаменосной прозе Николая Иванова

Биографическая справка. Николай Фёдорович Иванов родился в 1956 году в селе Страчево Брянской области. Закончил Московское суворовское училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Службу начал в Воздушно-десантных войсках. В 1981 году направлен в Афганистан. Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». В 1985 году назначен корреспондентом журнала «Советский воин», через семь лет стал его главным редактором. В октябре 1993 года, отказавшись публиковать материалы в поддержку обстрела Белого дома, снят с должности «за низкие моральные качества» и уволен из Вооружённых сил. Продолжил службу в органах налоговой полиции России. Во время командировки в Чечню в июне 1996 года был захвачен в плен боевиками; освобождён через четыре месяца в результате спецоперации. Полковник налоговой полиции. Секретарь правления Союза писателей России. Автор 20 книг прозы и драматургии. В их числе: «Чёрные береты». «Гроза над Гиндукушем», «Наружка», «Женский пляж», «Спецназ, который не вернётся». В Уссурийске и Брянске идут театральные спектакли. Лауреат литературных премий имени Н. Островского, М. Булгакова, «Сталинград», Большой литературной премии, награжден медалью «За возвращение Крыма» – «за отличия, проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Республики Крым, проведения референдума в Республике Крым в 2014 году».



Под сенью знамени Победы

Этот удивительный, потрясающий проект Николая Иванова – брать с собой в многочисленных поездках по России, а также в горячие точки земли копию Знамени Победы, – не имеет себе равных. Есть символы и высоты, которые священны. Копия Знамени Победы была вручена Союзу писателей России на вечное хранение 22 июня 2011 года в день 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны на Пленуме в городе-герое Смоленске матросом-фронтовиком Михаилом Годенко.

В год возвращения Крыма в Россию копия Знамени Победы приехала к нам в Калининград 22 июня 2014 года. Мы прибыли на Северный мол в Балтийске, на самую западную точку России. Алое знамя развернулось на балтийском ветру в руках Николая Иванова и приглашённого из Крыма поэта Сергея Овчаренко. Накануне они участвовали в презентации журнала «Берега», изначально шагнувшего за рамки регионального издания, где к тому времени уже была опубликована «Брянская повесть» Николая Иванова // «Берега», 1(3) -2014, – и материалы, посвящённые событиям в Крыму. И прежде всего, это очерк Николая Иванова «Крейсер Крым. Крейсер Победа»// Берега, 2 (4)- 2014. Прошло четыре года, но ничего лучше, на мой взгляд, о событиях в Крыму не написано. Анализ их, данный писателем тогда, остается актуальным: «Прокатившиеся по стране митинги в поддержку крымчан вынуждают руководство страны быть государственниками и думать о людях. О защите собственных интересов. Проводить собственную внешнюю политику».

Впервые за долгие годы Россия встала на защиту русских. «Я в последние дни много думал о львовском «Беркуте», – размышлял Николай Фёдорович. – У меня не выходила из памяти картинка: толпа выводит на сцену и ставит на колени своих братьев, солдат. И заставляет каяться. И первым встал на колени командир.

Знаю другой случай, когда наш, русский офицер поставил свой полк на колено, когда на их позиции вышла мать, искавшая в горах Чечни пропавшего сына. И сам первым склонил колено и голову перед солдатской матерью».

Талантливый публицист, Николай Иванов сразу расставил акценты на нравственных ориентирах, которые выбрала страна с возвращением Крыма, дал оценку событиям на Донбассе:

«Бескровная победа Крыма стала возможной во многом благодаря тому, что основной удар майдамовской ненависти приняли на себя Харьков, Донецк, Луганск, другие города Юго-Востока. Непрерывающиеся митинги в этих областных центрах расплыли антирусские силы, «Правый сектор», саму власть, пришедшую в кабинеты на «коктейлях Молотова» и снайперских выстрелах в спины собственных активистов. Юго-Восток и Восток стали поясом Богородицы, поясом безопасности для Крыма и его референдума».

Мало кто задумывается, но автор очерка написал об этом, и слова его остаются в истории, что Россия и Крым не забудут «этого жертвенного стояния». В Крыму наши русские писатели: Николай Иванов и Александр Бобров, – подняли копию знамени Победы с писателями Крыма на Сапун-горе в Севастополе. И Крым победил! И чтобы продолжить это победное шествие, Знамя Победы побывало на Эльбрусе, на горе Пикет в честь Василия Шукшина, последняя роль которого была в фильме с символическим названием «Они сражались за Родину», развевалось в Брестской крепости.

«Засечная черта»

Эта новелла Николая Иванова создана в том же 2014 году. Ничего более потрясающего о пришедшей с Украины войне не приходилось читать. «Засечная черта» //«Берега», 4 (6) -2014, – была опубликована в одном номере журнала с романом Александра Проханова «Крым» и антимайданскими стихами Юнны Мориц. Новелла написана после встреч с жителями ЛНР и ДНР, куда Николай Фёдорович неоднократно отправлялся и отмечал: «Мы ехали принять участие в «Фадеевских чтениях», связанных с «Молодой гвардией». Мы привезли и развернули в Краснодаре копию Знамени Победы... Это Знамя мы разворачивали и в бывшем Кёнигсберге, и на Кавказе, и по всему постсоветскому пространству. Теперь это Знамя мы развернули на Луганщине. Очень важно, как мы считаем, провести эту акцию именно сейчас – когда Луганск сражается». Новелла родилась из понимания того, что вот они герои – здесь, рядом, что у жителей Донбасса нужно учиться мужеству и стойкости. «Я ехал навстречу этой боли...» – говорит он от имени героя новеллы, который сделал открытие для самого себя: «в очередной раз грустно подтвердилось, что в нашей огромной стране, при её огромной армии воюют, выходят на острие событий одни и те же люди: что в Афгане, что в Чечне, что в Цхинвале я встречал в окопах одних и тех же офицеров...» Он высказывает горькую правду: «Знать, не только Одессу и Донецк победило телевидение, если даже у нашей армии нет длинной скамейки запасных...» И когда он ведёт колонну наших войск к границе с Украиной, чтобы оттянуть силы от Новороссии, появляется в голове шутка: «Цыганочка с выходом!» перед глазами прильнувших к биноклям украинских пограничников. А потом приходит мысль: «А лучше всего вальс. Но – Севастопольский! Он только что, этой весной, прозвучал для России, и весь мир в оцепенении осознал её величие и силу: когда возродилась «Рашка», когда вышла из послушания немытая Рассея? Ведь к слабым целыми полуостровами не уходят! И вот эта сила здесь. И я первым, помня о Новороссии, готов показать, что сила эта сумасшедшая». «Засечная черта» – граница, через которую льётся украинская боль в Россию. «Украина зазывает к себе всех, кто мог бы наказать, проучить, просто укусить Россию. Она готова стать плацдармом, подносить спички, снаряды, чтобы запольхало и у нас. В конце концов, выколоть самой себе глаз только ради того, чтобы у России был кривой сосед», – продолжает размышления герой новеллы, кадровый военный. На этом фоне разворачивается сцена провоза на телеге через границу на сторону России умершего «от совести» родственника двух жителей села, которых принуждают скакать. И эта телега с покойником тоже стала частью общей боли. Перекрестившись, поклонившись бронеколонне, герой новеллы мысленно произносит для них: «Танцуйте, мужики, без усталости, с полной отдачей, пусть даже ради других – как только и может русский солдат».



«Партер. Седьмой ряд»

Николай Иванов – первый из писателей, кто вместе с белым конвоем машин с гуманитарной помощью отправился на Донбасс. И затем не раз он отправлялся разными дорогами туда, где боль, мужество, чувство чести и совести. В 2015 году была написана новелла «Партер. Седьмой ряд»// Берега – 6(12)-2015. Мы оказываемся свидетелями страшной ситуации, когда среди артиллерийской стрельбы и пулеметных очередей ВСУ герои новеллы – жители села на Донбассе – ощущают «счастье»: «оказаться во время обстрела на кладбище! Любой холмик – бруствер, памятник – стена каменная. Копачам вообще сказка: скатились в самими же вырытую могилу-окоп. Не потеряются, пронумерованную – в седьмом ряду нового, всего лишь неделю назад открытого для захоронений, участка. Готовили могилочку для дитяти, лишней земли не захватывали, а вот, поди ж ты, легко втиснулись вчетвером». Кладбище становится партером в театре войны. Ориентиры в пространстве Новороссии: на юг – значит, под защиту ополчения. Ориентиры во времени – если на похороны в «бэ-эмпешке», значит, 2014 год. Одна из «бээмпешек» отвлекает внимание стреляющих в «ватников», и в этот момент «люди и поторопились передать в рай двухмесячного малятку, крехитку Богданчика». Опустив в могилу «мальчишечку», крёстная «тревожно принялась искать взглядом БМП. Одна она знала военную тайну о том, что за штурвалом сумасшедшей боевой машины сидит ополченец с позывным «Русак» – её брат Васька, отец Богданчика. Утром дозвонился из боя под Дебальцево, предупредил, чтобы сына без него не хоронили, что прорвётся, примчится, отомстит».

Оставили село те, у кого были дети, ушла в ополчение мать Богданчика, слив сцеженное из груди молоко под крошечную яблоню, посаженную в честь рождения ребёнка. «Соловьи поют и на кладбищах, если заставить замолчать канонаду...» – это мечта о новой мирной жизни, когда останется позади смерть детей, страх, голод, но не забудется то, что с такой пронзительной силой в осуждение войны описал Николай Иванов и авторы сборников «Я сражался за Новороссию», «Выбор Донбасса».

Николай Иванов рассказывал о своей поездке с гуманитарным конвоем МЧС России с новогодними подарками для детишек, с живыми ёлками из ногинских лесов, продовольствием, строительными материалами, назвав свой очерк «Группа изъятия». Это группа старалась изъять неуверенность в завтрашнем дне, и луганчане отвечали: «Вы даже ничего не везите, вы просто приезжайте, чтобы мы знали, что мы не одни, что мы не брошены, что Россия нас не оставила». Думаю, что эти слова очень сильно задели читателей, в том числе и меня, отправившейся в 2017 году на Донбасс.

«Свете тихий»

Мой приезд (сначала в Луганск) совпал с выходом сборника авторов Донбасса и России «Выбор Донбасса». В нем размещены две новеллы Николая Иванова «Засечная черта» и «Свете тихий» // «Берега», 2 (19)-2017. «Свете тихий» – слова из молитвы, это характеристика души русской женщины. Героиня этого пронзительного произведения не захотела принять помощь боевых товарищей её погибшего в «горячей точке» внука-ополченца – отправиться в Дом ветеранов и оставить свой дом

и родную деревню. Бабушка Зоя прожила долгую жизнь и всегда умела противостоять нравственной разрухе, душевной смерти силой своей любви и самоотверженности, тем самым спасая себя и людей вокруг неё от духовного распада, от расчеловечивания. В её доме рядом с иконами лежат грамоты за её добросовестный труд в советскую эпоху. Мудрость русской женщины в её сознании: где есть связь времен, нет противоречий в жизни в разных эпохах разных поколений. При любой власти человеку нужен нравственный стержень. Вспоминается более ранняя новелла Николая Иванова «Вера. Надежда. Война», где мужественные герои воодушевляются спасительными женскими именами: любимой женщины, матери и матери-Родины. Есть у писателя выражение: «подтягивать под свои раны земной шар», принимающий в себя рабов Божьих, равных перед смертью в любом его уголке, но не равных в жизни, в утверждении в ней величия и силы, неравных в вынесенных в жизни страданиях, ни с чем не сопоставимых, например, какие вынесла мать солдата-мученика Евгения Родионова.

Когда я вернулась с Донбасса и спрашивала людей, знают ли они о пытках, которым подвергались пленные ополченцы, люди молча опускали глаза. Большинству было нечего сказать, и они не хотели об этом знать, не хотели найти словесное определение своим мыслям и чувствам. Если бы они прочли хотя бы одну новеллу Николая Иванова...

Наше телевидение навязывает зрителям голливудские фильмы, в которых американцы постоянно спасают мир. Что же наши кинорежиссеры? Неужели никому из них не попались книги Николая Иванова, где не выдуманные, а конкретные знакомые и друзья писателя действительно спасают мир, выше жизни ставя честь и совесть.

Как-то незаметно для нашей прессы прошло уникальное событие: в апреле 2016 года писатели Николай Иванов, Валерий Латынин, Владимир Силкин, Игорь Витюк подняли копию Знамени Победы на позициях наших бойцов в Сирии.

Есть у Николая Иванова книга с перехватывающим дыханием названием: «Спас-на- любви». Не на крови... Столько им собственных мучительных дорог пройдено, страданий, ужасов пережито, а русский писатель верит, что построить дом, дороги, страну можно только на любви. Недавно получила письмо от нашего ярчайшего публициста Валентина Курбатова, который написал: «Николай Иванов – твёрдое, умное сердце. Повидались месяц назад, и я прочитал его последнюю отвратительно оформленную, но высокодостоиную (подлинно «Честь имею!») книгу «Спецназ. Офицеры».

ЭКСМО нарочно так отвратительно оформило, чтобы сослать в «чтиво». А книга горькая, сильная. И я, грешный (старый уже человек), ловил себя, конфузясь, на слезах от радости, что есть ещё такие русские сердца».

После возвращения домой Крыма Александр Проханов написал: «Закончилось бессилие мысли». В масштабе страны – да. Но для тех, кто прочёл «Брянскую повесть», и для меня лично, задолго до этого эпохального события. С «Брянской повести», впервые опубликованной в 2014 году, и началась новая литература гуманизма и чести. В литературу пришел писатель, который повёл нас ясными дорогами доброты и милосердия, мужества и героизма, великодушия и благородства. Нашёлся автор, читать которого – счастье, потому что так забирает за душу, захватывает ум, что в тебе вдруг пробуждается собственная твоя глубина и сила и океанской глубины благодарность за то, что выжил, за то, что написал.



Критика

Геннадий Сазонов

Геннадий Алексеевич Сазонов – поэт, прозаик, публицист. Родился в 1950 году на станции Пожитово Высоковского района Калининской области – ныне Торжокский район Тверской области. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета. Отработал в печати более 40 лет, в том числе собкором газет «Правда», «Труд», журнала «Сельская новь».

Первую книгу прозы «Я здесь живу...» выпустил в 1982 году в издательстве «Московский рабочий». Стихи, рассказы, повести, очерки печатал в журналах: «Берега» (Калининград), «Воин России» (Москва), «Север» (Петрозаводск), «Аврора» (С-Петербург), «Москва» (Москва), «ДОН новый» (Ростов-на-Дону), «День и ночь» (Красноярск), «Российская Федерация» (Москва), «ЛАД вологодский» (Вологда), «Благовестник» (Вологда), «Домовой (Тверь), «Пятницкий бульвар» (Вологда), «Алтай» (Барнаул), «Врата Сибири» (Тюмень), «Журналист» (Москва) и других.

Автор 30 книг поэзии, прозы, публицистики. Победитель ряда литературных конкурсов, в том числе – лауреат Всероссийской литературно-художественной Премии «Золотой венец Победы» (Москва, 2011).



Притяжение «Небесных тетрадей»

О поэтическом мире Владимира Фёдорова

Это бывает редко, но случилось именно так. Едва ли не каждое стихотворение из сборника в двести с лишним страниц проникало в сердце, отгоняло суетные мысли, заставляло вглядываться в чуткую душу поэта и слышать искренний голос.

Заветные крылатые тетради
К закату набрались небесных сил.
Не славы ради, не корысти ради
Я столько лет с ладоней их кормил.

Я их в полёт тревожный отпускаю,
Застыв у синей бездны на краю.
И верю, что они, собравшись в стаи,
Под звёзды душу вознесут мою.

Тетради, к тому же заветные и крылатые, – зримый образ, но и в то же время он – «ключ» к композиции всей книги известного стихотворца Владимира Фёдорова «Небесные тетради», вышедшей в издательстве «У Никитских ворот» (Москва, 2016 г.). Потому что сборник составили шесть тетрадей, которые, на мой взгляд, раскрывают наиболее важные стороны поэтического дарования Владимира Фёдорова.

Современный стихотворный поток, не побоюсь утверждать, огромный, шумит, бурлит, как весеннее половодье. Приезжайте в любую районную библиотеку, даже в какую-нибудь самую глухомань, и вам обязательно подарят книжечки стихов двух-трех авторов, которыми гордится район или городок. Что ж, само по себе это неплохо, даже хорошо, потому что люди хотят творить, хотят выплеснуть в слове то, что наболело в душе.

В том потоке, да и в потоке, что присутствует на страницах альманахов и журналов, далеко не всегда, увы, встретишь свет Поэзии, её неуловимую тайну, её притягательность и неповторимость. Книга Владимира Фёдорова не разочарует, в ней вы сполна найдете упомянутые свойства.

Поэт заводит разговор с читателем стихами, заключенными в «Сокровенную тетрадь», и это, наверное, правильно. В своё время замечательный стихотворец Владимир Кулагин выразился так: «Коль вздумал словом поделиться – клади и сердце на ладонь!». А разве можно по-другому? Что в «сокровенных запасах» у Владимира Фёдорова? Я бы определил это, как непреходящее состояние души.

Иду вперёд по лезвию ножа,
Ведущего куда-то за пределы.
Мне за спиною ничего не жаль,
Летят мне в спину огненные стрелы.

О, как подошвы яростно горят,
Как режет их нещадно сталь тугая.
О, как вокруг все громко говорят
О том, что я неправильно шагаю.

А я кричу, от боли сжав лицо:
Хотя бы шаг последуйте за мною!
Как много стало нынче мудрецов
Под этой рестерявшейся луною.

Но мудрость их не стоит и гроша,
Она пуста, как сорванная пена.
Ведь я иду по лезвию ножа,
А их оно разрезало б мгновенно.

Сокровенное – жаркая любовь к женщине, природе, Родине; сокровенное – желание познать тайну творчества и донести другим так, как никто ещё не говорил.

Как вести с тобой и небом битву,
Если каждый слог настолько груб,
Что не ляжет никогда в молитву
Междометий опалённых губ.
Что найти мне в словаре убогом,
Что поставить в бесполезность строк,
Рядом с этой, выточенной Богом,
Рифмой двух летящих к звёздам ног?!

У каждого настоящего поэта есть свой исток, который никогда не пересыхает, даже в самые невзгоды и тяжелые потрясения. У Александра Пушкина – это было село Михайловское, у Сергея Есенина – село Константиново, у Николая Рубцова – деревня Никола.

У Владимира Фёдорова тоже есть такой исток – обширный Крайний Север, а если быть более точным – родная Якутия с её заснеженными неоглядными просторами, могучей рекой Леной, добрыми людьми, нескудеющим золотом и алмазами. Якуты – люди суровые, но души у них нежные, они придумали северному ветру красивое название – Аквилон. За этим ветром последовал и поэт, его «Аквилонская тетрадь» открывает читателю удивительный мир Якутского Севера.

Там, где мыс золотой до камушка,
Где серебряны гривы трав,
Приняла меня Лена-Бабушка,
Повитухой моею став.

И подвесила, лунолицая
У вселенной у всей на виду
Колыбель мою легкой птицею
За Полярную за звезду.

Это отрывок из стихотворения «Рождение», где под Леной-Бабушкой, поэт, сохраняя традицию земляков, подразумевает великую реку Лену. Яркие эпизоды детства в стихе «Явившись в свет якутскою весною» перекликаются в тетради с послевоенными впечатлениями, с характерами простых деревенских людей, которые автор раскрывает зримо, по-настоящему.

Я понимаю, насколько неуклюже выглядит попытка объяснять талантливые стихи, это, наверное, то же, что вести разговор о картине художника. Картину, чтобы понять, надо видеть и смотреть на неё, может, не один раз, а стихи, разумеется, читать. И, желательно, вслух – тогда ощущается их красота и гармония.

Всё это относится к сборнику «Небесные тетради».

С особой силой, на мой взгляд, написала «Неопалимая тетрадь», где оживает историческое прошлое России, её непростой нынешний день, укрепляется вера в её предназначение в мире.

Как терзали бедную Россию,
Правил бал то хан, а то тиран,
Только отчего же так красивы
Голубые очи россиян?

Как глумились над несчастной тати,
Как душили, выводили род,
Но откуда столько этой стати,
Этих плеч могучий разворот?

Как равняли храмы с чёрной пылью,
Как стирали светлые черты...
Но святая боль, сливаясь с былью,
Возрождала чудо красоты.

И назло всему лихому свету,
Недругу заклятому в ответ
Наливались девки – краше нету,
Молодцы росли – пригожей нет.

И кривились вороги бессильно,
Не сумевши русичей сломать.
Красота и дух вели Россию.
Нам бы их теперь не растерять.

Владимир Фёдоров – разнообразно одарённый человек. Его перу по силе такой сложный жанр, как роман, он создал несколько пьес, которые идут на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Якутии. По его сценариям снято несколько фильмов. Он любит путешествовать. Но во всех увлечениях Владимир Николаевич остаётся в первую очередь поэтом. Об этом ещё раз говорят разделы поэтического сборника «Походная тетрадь» и «Африканская тетрадь», где читатель откроет для себя много нового и необычного, как бы расширит своё представление о мире. Но даже и там, в далёкой Африке, поэт не расстаётся с родным – ощущает «тень» Николая Гумилёва, вздыхает «о снегах по пояс...».

Как и любой, истинно любящий Россию, Владимир Фёдоров ощущает противоречивость и даже некую трагичность существования нашего общества. И он, конечно, говорит об этом. Но без крика, без надрыва, без осуждения «виновных», а мудро, взвешенно, что свидетельствует о его духовной силе.



Бережок

Альбина Королёва

***Уважаемая Альбина Александровна! Примите поздравление с 55-летием!
Мы радуемся Вашей многогранной деятельности, Вашим организаторским
способностям при проведении литературных мероприятий!
Желаем неиссякаемой творческой энергии, добра и счастья!***



Родилась в городе Череповце 6 февраля 1963 года. Печаталась в журналах: «Наши современники» (2002 год), «Невский альманах» (2012, 2013, 2016 гг.). Автор книги стихов «Душа и характер», книги «Малая родина». Победитель и лауреат различных городских, районных и областных литературных конкурсов. Награждена медалью «Николай Рубцов» (2016 г.) Член Вологодского Союза писателей-краеведов, секретарь череповецкого отделения Союза. Член редколлегии краеведческого альманаха «Люди и дела»

Сестрички

Сказка

Розовая пяточка родилась ранним майским утром. И сразу же её поразило обилие яркого света, обилие всяких запахов: приятных и не очень. Но напрасно пяточка радовалась свету, через какое-то время стало совсем темно. И эта темнота длилась долгое время.

Потом вдруг Розовая Пяточка увидела свет: яркий, манящий. Чьи-то руки взяли Пяточку и отпустили её в тёплую водичку и стали мыть. О, какое это блаженство: мыться в прозрачной, тёплой водичке.

Розовую Пяточку купали раз в день, потом заворачивали в мохнатое, пушистое полотенце и укладывали спать. Какие это были замечательные времена! Быстро летели дни и месяцы. И вот Розовой Пяточке исполнился год. Всё это время она видела рядом с собой ещё одно розовое создание. Когда она научилась говорить, то спросила у этого розового комочка: «Кто ты? Почему всегда находишься рядом со мной, где бы я ни была?» «Я Розовая Пяточка – твоя сестра», – услышала Пяточка в ответ. Ну и ну! Теперь Розовых Пяточек стало две. Вот как здорово!

Просыпаясь утром, сёстры рассказывали друг дружке свои сны, разгадывали их. Жилось им хорошо: они могли попрыгать, побегать, постучать об пол. Но прошли годы. Розовые Пяточки подросли. Мыть их стали реже, только два раза в неделю. А спустя какое-то время, их хозяйка мыла их раз в две недели. И Розовые Пяточки стали не розовыми, а чёрными. Сёстры решили проучить хозяйку.

Однажды ночью они дождались, когда в доме все уснули. Встали. Потихоньку вышли за дверь, затем пробежали по коридору на крыльцо, от крыльца – к калитке и выбежали на улицу. Рядом был лес. Розовые Пяточки побежали туда. Они очень обиделись на девочку, которая так редко их мыла, и потому они стали такие некрасивые.

На лесной тропинке Розовые Пяточки увидели старую рваную калошу. Они залезли в калошу, прижались к друг дружке и уснули. Наутро, проснувшись, Пяточки первым делом решили побегать и сделать зарядку, чтобы немного согреться. За ночь они сильно замёрзли. После того, как Пяточки сделали гимнастику, они забрались в калошу, и чтобы было не скучно, рассказывали смешные истории. И тут Розовые Пяточки услышали плач. Вот он всё ближе и ближе. Вот уже совсем рядом кто-то плачет. «Кто это?» – подумали Пяточки и решили выйти из калоши и посмотреть, кто там плачет. Когда они оказались на земле, то увидели девочку, свою хозяйку. Девочка сразу перестала плакать. Она взяла на руки Розовые Пяточки и сказала им: «Я обещаю вам, что буду купать вас каждый день. Вы опять станете самыми красивыми, розовыми, какими родились».

Розовые Пяточки поверили девочке и вернулись к ней жить.

Говорят, что девочка своё слово держит.

Лауреаты журналы «БЕРЕГА»

за 2017 год

«ПРОЗА»

Николай Фёдорович ИВАНОВ, г. Москва
Татьяна Ивановна ГРИБАНОВА, г. Орёл
Сергей Прокофьевич ПЫЛЁВ, г. Воронеж

«ПОЗИЯ»

Анатолий Юрьевич АВРУТИН, г. Минск
Сергей Куприянович ЗУБАРЕВ, г. Анапа
Александр Борисович КЕРДАН, г. Екатеринбург

«ПУБЛИЦИСТИКА»

Сэда Константиновна ВЕРМИШЕВА, г. Ереван-Москва
Григорий Исаакович БЛЕХМАН, г. Москва
Геннадий Алексеевич САЗОНОВ, г. Вологда



Наши друзья

Советуем почитать:

Журнальный мир: <http://xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai/vse-zhurnaly>

Союз писателей России: <http://www.rospisatel.ru/>

Союз писателей Беларуси: www.oo-spb.by/

Дальневосточный журнал «Сихотэ-Алинь»: haos216@mail.ru Почтовый адрес: 690003, Владивосток, ул. Авраменко, д.17, кв. 65

Литературный журнал «Наш современник»: nash-sovremennik.ru

Журнал «Великоросс»: <http://www.velykoross.ru/>

Журнал «Экоград» Москва: <http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/zhurnal-berega-pobedil-v-konkurse-zhurnalistikogo-masterstva-slava-rossii>

Виртуальный салон искусств «Преголя-арт»: <http://pregolia-art.com>

Международный пресс-клуб: <http://www.pr-club.com/>

Русский народный дом: <http://rusnardom.ru/russkaya-literatura/poeziya/intervyu-yunnyi-morits/>

Журнал «Воин России»: voin-rossii.ru

Журнал «Новая Немига литературная»: <https://zapadrus.su/partnery/novaya-nemiga-literaturnaya>

Портал Переправа: <http://pereprava.org/>

Московский журнал [//www.mosjour.ru](http://www.mosjour.ru)

Общество Русско-Американской дружбы «Добрая Воля» в Вашингтоне www.raga.org

Русская народная линия <http://www.ruskline.ru>

Журнал «Подъем»: <http://www.podiem.vsi.ru>

Культура в Вологодской области: <http://cultinfo.ru>

О приобретении и подписке на журнал

Дорогие друзья!

Помощь журналу, приобретение и подписка на журнал «Берега» осуществляется перечислением на карточку Сбербанка Маэстро на счет: **63900220 9003003076**.

Стоимость одного журнала — 400 руб. Подписка на год — 2400 рублей.

Свой почтовый адрес после оплаты выслать Лидии Владимировне Довыденко: dovidenko_L@mail.ru